АРИНА РОДИОНОВНА

Михаил Филин

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Вниманию читателей предлагается научно-художественное жизнеописание Арины Родионовны Яковлевой (Матвеевой; 1758–1828) — прославленной «мамушки» и «подруги» Александра Пушкина. Эта крепостная старуха беззаветно любила своего «ангела Александра Сергеевича» — а поэт не только отвечал ей взаимностью, но и воспел няню во многих произведениях. Почитали Арину Родионовну и пушкинские знакомцы: князь П. А. Вяземский, барон А. А. Дельвиг, А. П. Керн, Н. М. Языков и другие. Её имя фигурирует и в ряде мемуаров того неповторимого времени. Позднее, уже в иные эпохи и при разных обстоятельствах, об удивительной женщине проникновенно отзывались А. А. Григорьев, И. С. Аксаков и Ф. М. Достоевский, Марина Цветаева, С. Л. Франк и прочие наши знаменитости. «Арина Родионовна была воплощением Русской Музы… И „доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит“, — будет живо о ней предание», — утверждал, например, поэт и пушкинист В. Ф. Ходасевич.

Достоверных материалов для биографии Арины Родионовны сохранилось очень мало. Однако историк и писатель М. Д. Филин, оперируя крупицами имеющихся документов и пушкинскими текстами, создал-таки книгу о жизни «голубки дряхлой» — книгу о «красоте души человеческой, души любящей».

- Михаил Филин
  - ○
  - ○ ПРЕДИСЛОВИЕ
  - ○ Глава 1
  - ○ Глава 2
  - ○ Глава 3
  - ○ Глава 4
  - ○ Глава 5
  - ○ Глава 6
  - ○ Глава 7
  - ○ Глава 8
  - ○ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  - ○ ПРИМЕЧАНИЯ
  - ○ ПРИЛОЖЕНИЯ
    - ■ I
    - ■ II

- ЛЕТОПИСЬ ЖИЗНИ АРИНЫ РОДИОНОВНЫ ЯКОВЛЕВОЙ (МАТВЕЕВОЙ)
- ИЛЛЮСТРАЦИИ
- БИБЛИОГРАФИЯ
- СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36
  - 37
  - 38

- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82

- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126

- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170

- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214

- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258

- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302

- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346

- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390

- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401
- ○ 402
- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407
- ○ 408
- ○ 409
- ○ 410
- ○ 411
- ○ 412
- ○ 413
- ○ 414
- ○ 415
- ○ 416
- ○ 417
- ○ 418
- ○ 419
- ○ 420
- ○ 421
- ○ 422
- ○ 423
- ○ 424
- ○ 425
- ○ 426
- ○ 427
- ○ 428
- ○ 429
- ○ 430
- ○ 431
- ○ 432
- ○ 433
- ○ 434

- ○ 435
- ○ 436
- ○ 437
- ○ 438
- ○ 439
- ○ 440
- ○ 441
- ○ 442
- ○ 443
- ○ 444
- ○ 445
- ○ 446
- ○ 447
- ○ 448
- ○ 449
- ○ 450
- ○ 451
- ○ 452
- ○ 453
- ○ 454
- ○ 455
- ○ 456
- ○ 457
- ○ 458
- ○ 459
- ○ 460
- ○ 461
- ○ 462
- ○ 463
- ○ 464
- ○ 465
- ○ 466
- ○ 467
- ○ 468
- ○ 469
- ○ 470
- ○ 471
- ○ 472
- ○ 473
- ○ 474
- ○ 475
- ○ 476
- ○ 477
- ○ 478

- ○ 479
- ○ 480
- ○ 481
- ○ 482
- ○ 483
- ○ 484
- ○ 485
- ○ 486
- ○ 487
- ○ 488
- ○ 489
- ○ 490
- ○ 491
- ○ 492
- ○ 493
- ○ 494
- ○ 495
- ○ 496
- ○ 497
- ○ 498
- ○ 499
- ○ 500
- ○ 501
- ○ 502
- ○ 503
- ○ 504
- ○ 505
- ○ 506
- ○ 507
- ○ 508
- ○ 509
- ○ 510
- ○ 511

Михаил Филин
Арина Родионовна

Арина Родионовна. Горельеф Я. П. Серякова. 1840-е гг.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Этим няням и дядькам должно быть отведено почётное место в истории русской словесности.

И. С. Аксаков

В начале октября 1828 года загостившийся в Москве поэт А. А. Дельвиг наконец-то собрался в обратную дорогу и отправился на невские берега. Накануне отъезда барон — в ту пору издатель «Северных цветов» — получил от другого поэта, Е. А. Боратынского, ряд рукописей, предназначенных для помещения в альманахе. Среди кипы вручённых бумаг была и поэма «Бал» («Бальный вечер»).

По приезде в Петербург А. А. Дельвиг сразу же ознакомил с доставленным произведением своего ближайшего друга, Александра Пушкина. Известно, что последний в октябре немало размышлял о творчестве Евгения Боратынского, поминал «элегического поэта» в беседах с приятелями и даже нарисовал на полях черновика его портрет[1]. А вскоре после этого Пушкин покинул Северную столицу — и двинулся в Тверскую губернию.

Уже оттуда, из Малинников (имения преданной П. А. Осиповой), он написал (где-то в конце октября — начале ноября) письмо Е. А. Боратынскому. Пушкинское послание не сохранилось, однако мы всё же знаем, что там, среди прочего, было выражено неудовольствие кое-какими строками недавно прочитанного «Бала». Вот что сообщил по этому поводу сам раздосадованный Е. А. Боратынский Антону Дельвигу в первых числах декабря 1828 года:

«Я получил письмо от Пушкина, в котором он мне говорит несколько слов о моём „Бале“. Ему, как тебе, не нравится речь мамушки. Не защищаю её; но желал бы знать, почему именно она не хороша, ибо, чтобы поправить её, надобно знать, чем грешит она»[2].

Итак, Пушкина (да и в чём-то солидарного с ним барона А. А. Дельвига) не устроили нравоучительные речи, с которыми обратилась к героине «Бала», княгине Нине (только что принявшей смертельный яд), её няня (или кормилица). Ничего не подозревавшая «мамушка седая» вещала во мраке «глухой ночи» буквально следующее:

«Ты ль это, дитятко моё,

Такою позднею порою?..
И не смыкаешь очи сном,
Горюя Бог знает о чём!
Вот так-то ты свой век проводишь,
Хоть от ума, да неумно;
Ну, право, ты себя уходишь,
А ведь грешно, куда грешно!

И что в судьбе твоей худого?
Как погляжу я, полон дом
Не перечесть каким добром;
Ты роду-звания большого;
Твой князь приятного лица,
Душа в нём кроткая такая, —
Всечасно Вышнего Творца
Благословляла бы другая!
Ты позабыла Бога… да,
Не ходишь в церковь никогда;
Поверь, кто Господа оставит,
Того оставит и Господь;
А Он-то духом нашим правит,
Он охраняет нашу плоть!

Не осердись, моя родная;
Ты знаешь, мало ли о чём
Мелю я старым языком,
Прости, дай ручку мне»…[3]

В наброске пушкинской статьи 1828 года о «Бале» (статьи, так и не завершённой и не напечатанной при жизни рецензента) читаем: «Сие блестящее произведение исполнено оригинальных красот и прелести необыкновенной. Поэт с удивительным искусством соединил в быстром рассказе тон шутливый и страстный, метафизику и поэзию» *(XI,* 75)[4]. Правда, далее Пушкин, покончив с искренними комплиментами, попенял-таки Е. А. Боратынскому за «строгий тон порицания, укоризны», взятый автором в отношении «бедной, страстной героини» *(XI, 76)* поэмы. Здесь, вероятно, подразумевались и ночные сентенции старой московской няни.

Конечно, кашляющая, тяжко вздыхающая, то и дело крестящаяся («сухой, дряхлой рукой») и творящая земные поклоны «мамушка» вышла у Евгения Боратынского излишне ригористичной, ходульной, если не карикатурной. Да и момент

для няниной проповеди был выбран автором неудачный: художник тут явно не совладал с «планом» произведения. Но Пушкин, уловив всё это, мог иметь и другие, причём весьма веские, основания для критической оценки данного художественного образа.

Нам надо учитывать, что ко всяческим мамушкам и нянькам, столичным и провинциальным, он, *и тогда особенно*, относился очень серьёзно, откровенно пристрастно.

Существовавшее на Руси крепостное право обычно описывается историками, писателями и публицистами посредством одной краски и ассоциируется в общественном сознании с бесконечно жутким злом, с «Барством диким, без чувства, без закона» (*II, 83)*. В определённой степени это, разумеется, верно: ведь значительная часть населения империи на протяжении веков неизбывно пребывала в юридически оформленном рабстве. Но нам стоит, осуждая бесчисленные мерзости барства, помнить и другое: российские законы редко исполнялись в точности, от сих до сих, зато они часто корректировались российскими же своеобычными *понятиями.*

Подобная их коррекция, сперва творимая в пределах какого-либо локуса в частном порядке, постепенно набирала силу, выходила за границы локуса и делалась общей традицией, которая смягчала или видоизменяла важные нормативные акты (или их параграфы) до парадоксальной неузнаваемости.

Упрямый многокрасочный быт, исподтишка редактирующий жёстко провозглашённое на гербовой бумаге официальное бытие, — одна из наших древнейших и характернейших национальных особенностей.

Посему-то следование неканоническим понятиям временами вело к появлению в усадьбах отъявленных самодуров, неуёмных салтычих — однако параллельно, по соседству, подрастали и их прекраснодушные и подозрительные антиподы, неотмирные чудаки («фармазоны»).

А вот другая бытовая поправка к тесному крепостному закону. По закону холопам надлежало быть пугливым и благонравным, томящимся в затворённом загоне стадом, довольствоваться разве что господскими гремушками, — но закон верноподданные втихую повернули так, что из бессловесного стада почему-то стали выдвигаться, наделяться достоинством и возвышаться *личности*, прославлявшие рабовладельческое государство.

Никак не регламентированным с высоты престола феноменом этой эпохи стало также формирование сравнительно небольшой

категории лиц, которых позднее один из историков удачно назвал *«столбовыми крепостными»*[5]. В мемуарных и иных источниках о них есть крайне любопытные сообщения.

«В старых домах наших многочисленность прислуги и дворовых людей, — писал, к примеру, князь П. А. Вяземский, — была не одним последствием тщеславного барства: тут было также и семейное начало. Наши отцы держали в доме своём, кормили и одевали старых слуг, которые служили отцам их, и вместе с тем пригревали и воспитывали детей этой прислуги. Вот корень и начало этой толпы более домочадцев, чем челядинцев»[6].

К таковым «домочадцам» принадлежали и дядьки барчуков, и конечно же няни и кормилицы-мамушки дворянских детей. «Нянька, которая вынянчила самого старого барина или барыню, или старинная наперсница девичьих шашней, не только сама пользовалась привилегией почти равенства с господами, но и всё её родство сближалось с молодым поколением господ», — утверждал В. В. Селиванов[7]. Да и в воспоминаниях Г. И. Филипсона фигурирует аналогичная крепостная. «Нянька моя была женщина очень неглупая, но, прежде всего, добрая и любящая, честная и совершенно бескорыстная, — отмечал автор. — Она ходила за мной шесть лет, а потом нянчила ещё брата и четырёх сестёр. Кротость и терпенье её были невероятны <…>. Впоследствии она сделалась почти членом нашего семейства. Мать дала ей отпускную, но она и не думала оставлять нас…»[8]

Отмена крепостного права 19 февраля 1861 года фактически ликвидировала и старый, в каком-то смысле добрый патриархальный быт. Корпорация «столбовых крепостных», «рыцарей без страха и упрёка, исполненных преданности к господам до самозабвения», довольно быстро сошла со сцены, тихо исчезла. На смену упокоившимся на «смиренных кладбищах» слугам-домочадцам почти повсеместно пришли юридически свободные, обычно охочие до барыша «новые слуги», уже не имевшие никаких понятий о «семейном начале»[9]. Но единичные «милейшие существа, которых нельзя не любить», обретя полный соблазнов статус наёмных работников, хранили и сохранили-таки верность этическим преданьям дворянской старины.

Трогательные, в прабабушкиных чепцах, тени минувшего изредка появлялись и приживались в российских семьях (а в итоге *роднились* с ними) даже после всесокрушающей революции. «Эти няни в отношении текущей жизни всегда выглядели как люди, заблудившиеся во времени», — отметил, к примеру, в 1953

году оказавшийся в эмиграции публицист Н. Н. Былов. И следом он, давнишний обитатель Буэнос-Айреса, добавил очень существенное: «Я, лично, видел одну такую няню»[10].

Немало подобных нянь запечатлено и в художественной литературе. Можно с ходу припомнить, допустим, добрую «мамку» из карамзинской «Натальи, боярской дочери» (1792) или не менее характерную «любимую няню» из повести А. А. Бестужева (Марлинского) «Роман и Ольга» (1823).

Ещё более популярна Наталья Савишна — «редкое, чудесное создание», персонаж повести Л. Н. Толстого «Детство», впервые напечатанной в «Современнике» в 1852 году (под названием «История моего детства»): «Она не только никогда не говорила, но и не думала, кажется, о себе: вся жизнь её была любовь и самопожертвование. Я так привык к её бескорыстной, нежной любви к нам, что и не воображал, чтобы это могло быть иначе, нисколько не был благодарен ей и никогда не задавал себе вопросов: а что, счастлива ли она? довольна ли?»

Весьма, кстати, показательно отношение этой «старушки» к пресловутой крепостной зависимости: «Когда maman вышла замуж, желая чем-нибудь отблагодарить Наталью Савишну за её двадцатилетние труды и привязанность, она позвала её к себе и, выразив в самых лестных словах всю свою к ней признательность и любовь, вручила ей лист гербовой бумаги, на котором была написана вольная Наталье Савишне, и сказала, что, несмотря на то, будет ли она или нет продолжать служить в нашем доме, она всегда будет получать ежегодную пенсию в триста рублей. Наталья Савишна молча выслушала всё это, потом, взяв в руки документ, злобно взглянула на него, пробормотала что-то сквозь зубы и выбежала из комнаты, хлопнув дверью. Не понимая причины такого странного поступка, maman немного погодя вошла в комнату Натальи Савишны. Она сидела с заплаканными глазами на сундуке, перебирая пальцами носовой платок, и пристально смотрела на валявшиеся на полу перед ней клочки изорванной вольной.

— Что с вами, голубушка Наталья Савишна? — спросила maman, взяв её за руку.

— Ничего, матушка, — отвечала она, — должно быть, я вам чем-нибудь противна, что вы меня со двора гоните… Что ж, я пойду.

Она вырвала свою руку и, едва удерживаясь от слёз, хотела уйти из комнаты. Maman удержала её, обняла, и они обе расплакались».

Незабываема и Агафья Власьевна, няня Лизы Калитиной из тургеневского «Дворянского гнезда» (1859): «Странно было видеть

их вдвоём. Бывало, Агафья, вся в чёрном, с тёмным платком на голове, с похудевшим, как воск прозрачным, но всё ещё прекрасным и выразительным лицом, сидит прямо и вяжет чулок; у ног её, на маленьком креслице, сидит Лиза и тоже трудится над какой-нибудь работой или, важно поднявши светлые глазки, слушает, что рассказывает ей Агафья; а Агафья рассказывает ей не сказки: мерным и ровным голосом рассказывает она житие Пречистой Девы, житие отшельников, угодников Божиих, святых мучениц; говорит она Лизе, как жили святые в пустынях, как спасались, голод терпели и нужду, — и царей не боялись, Христа исповедовали; как им птицы небесные корм носили и звери их слушались; как на тех местах, где кровь их падала, цветы вырастали. <…> Года три с небольшим ходила Агафья за Лизой; девица Моро её сменила; но легкомысленная француженка <…> не могла вытеснить из сердца Лизы её любимую няню: посеянные семена пустили слишком глубокие корни. Притом Агафья, хоть и перестала ходить за Лизой, оставалась в доме и часто видалась с своей воспитанницей, которая ей верила по-прежнему».

Повторим и подчеркнём: упомянутые (и неупомянутые) няни и мамушки, как реальные, так и литературные, только формально, в ревизских сказках и прочих делопроизводственных документах, числились дворовыми людьми. В обиходе же такие женщины имели иной статус и существовали в ином, вне- и надсословном, пространстве — в пространстве дворянского *дома,* христианской *семьи.* И в пределах данной заповедной («понятийной») иерархии они сплошь и рядом трактовались владельцами не как банальные крепостные души, но как домашние, от века близкие люди — словом, как натуральная, почти кровная *родня.* Да и мамушки считали господский дом своим родным домом, а радости и неурядицы хозяев и хозяйских отпрысков переживались ими как собственные душевные волнения.

Видный духовный писатель Е. Поселянин (Е. Н. Погожев) однажды заметил, что таким няням и дядькам, носителям «здорового русского бесшумного и безфразного идеализма», были «обязаны все те, кто в жизни не сбился душою с панталыка, не прожил врозь со своим народом, но дышал его верованиями и чаяниями». Завершая же очерк, он, не удержавшись, воскликнул: «Вечная вам память, земной вам поклон, тихо трудившиеся и тихо любившие люди, в рабстве явившие чудное зрелище свободной и благородной привязанности!»[11]

А вот для «мамушки», выведенной Евгением Боратынским в поэме «Бал», дом её любимой воспитанницы, похоже, был *чужим* жилищем. Чужим для неё человеком являлся и симпатичный муж

княгини Нины. Припомним строки:

«…И что в судьбе твоей худого?
Как погляжу я, полон дом
Не перечесть каким добром;
Ты роду-звания большого;
Твой князь приятного лица.
Душа в нём кроткая такая…»

Старуха вроде бы жительствовала под той же крышей, бок о бок с княжеской четой, неусыпно ходила за Ниной, однако смотрела на дом на Тверской и его обитателей как будто *извне* — не как заправская няня, приравненная к домочадцам, а более как пришелица: то ли странствующая монахиня, то ли богомольная наёмная прислуга.

И эта деталь в прорисовке образа няни тоже могла задеть Пушкина.

Однако первопричина пушкинского недовольства «мамушкой» Е. А. Боратынского была, видимо, совсем иного свойства.

Суть в том, что незадолго до прочтения «Бала» поэт в Петербурге навеки простился с собственной престарелой няней, Ариной Родионовной. А люди, близко его знавшие, уверяли, что «он никого истинно не любил, кроме няни своей и потом сестры»[12]. Боль утраты к октябрю 1828 года ещё не утихла, поэтому любое случайно обронённое слово о мамушках могло разбередить сердечную рану. «Мамушка» Е. А. Боратынского, некстати попавшаяся Пушкину на глаза, неминуемо вызывала соответствующие скорбному контексту ассоциации:

…Глаза его читали,
Но мысли были далеко… (*VI, 183)*.

К ней, няне из «Бала», Пушкин подошёл — а иначе тогда и быть не могло — с особой, сопоставительной меркой, и поэтическая, не слишком выразительная и нетипичная няня проиграла в сравнении с покойницей[13].

Евгений Боратынский, получив пушкинский отзыв, недоумевал, сердился, терялся в догадках. Оно и немудрено: в его жизни долго присутствовал «дядька-итальянец»[14], «нечуждый» ему «вожатый», который осуществлял «нерусский надзор» за одарённым отроком, — но *такой няни* у Е. А. Боратынского никогда не было.

«Есть великие красоты во внешнем мире, в синеве неба и моря, в высоких горах и глубоких долинах, в душистых цветах, в очертаниях человеческого лица; но ещё большие красоты скрываются в глубине души человеческой, души любящей, а такой была душа Арины Родионовны, души гения, а такой была душа Пушкина», — читаем на одной из страниц сугубо научного, суховатого трактата профессора Императорского Харьковского университета Н. Ф. Сумцова[15].

История отношений поэта и его крепостной нянюшки давно стала расхожей темой и, к сожалению, породила множество небылиц — благонамеренных и пошлых. Иные спекулятивные легенды даже материализовались в «рисунках беззаконных». Так, в коллекциях Государственного исторического музея с незапамятных времён хранится серебряная чайная ложечка с ситечком и надписью по краю: «Дорогому Саши на добрую память от Арины Родионовны». Под «Сашею» анонимный фальсификатор разумел, естественно, Пушкина[16].

Бог с ними, с подобными подделками и досужими выдумками. Они, как

> …краски чуждые, с летами,
> Спадают ветхой чушуёй;
> Созданье гения пред нами
> Выходит с прежней красотой *(II, 101)*.

О «красоте души человеческой, души любящей» мы и попытались, опираясь на скупые *достоверные* сведения, написать книгу.

Глава 1
НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все биографы, издатели и комментаторы Пушкина почтили должным вниманием память Арины Родионовны…

В. В. Майков

Ещё при жизни, в Александровскую и Николаевскую эпохи, пушкинская нянюшка стала лицом вполне «историческим»: в её честь слагались стихи, имя старушки мелькало в переписке весьма почтенных персон. Обо всём этом и многом другом будет подробно рассказано в последующих главах книги.

Настоящую же главу (назовём её вводной) автор намерен посвятить беглому обозрению *литературы* об Арине Родионовне, которая накопилась за истекшие с той поры полтора с лишком столетия. Жанр историографических замечаний позволит нам соблюсти желательный в научно-художественном исследовании этикет, а заодно и поведать читателю о серьёзных, явных или подспудных, коллизиях, издавна (если не изначально) свойственных данной — казалось бы, идиллической, не располагающей к дискуссиям — области пушкинистики.

С самого начала систематического изучения «трудов и дней» Александра Пушкина, то есть с середины XIX века, биографы между делом воздавали должное и няне поэта.

Одним из первых почтил память Арины Родионовны Пётр Иванович Бартенев (будущий редактор-издатель знаменитого «Русского архива»), который в 1853–1854 годах поместил в «Отечественных записках» и «Московских ведомостях» исследования: «Род и детство Пушкина» и «Александр Сергеевич Пушкин. Материалы для его биографии».

В петербургском журнале археограф вскользь сообщил, что няня «отлично знала песни, сказки, поверья и сыпала поговорками и пословицами», которые «заронились в душу будущего поэта и не пропали в ней, несмотря на то, что всё формальное образование его было вполне иностранное»[17].

С повторениями, однако более подробно, рассказано о «простой дворовой женщине, отпущенной на волю, но не

захотевшей покидать прежних господ своих», в московской газетной публикации. Здесь, среди прочего, П. И. Бартенев назвал Арину Родионовну «настоящею представительницею русских нянь» и добавил, что «Пушкин нежно к ней привязался», — а няня, в свою очередь, «имела большое влияние на своего питомца»[18].

(Примерно те же мысли можно обнаружить и в позднейших статьях и заметках П. И. Бартенева. Так, в 1899 году он, упомянув на страницах «Русского архива» о «чистоте русской речи» старушки, присовокупил к сказанному следующую сентенцию: «Значение прислуги мало оценивается в наших биографических разысканиях, а между тем несомненно, что иной раз прихожие и девичьи в отношении воспитательном бывают важнее гостиных и более прибранных комнат»[19].)

В «Материалах для биографии А. С. Пушкина», напечатанных в Петербурге в 1855 году и вызвавших преимущественно восторженные отклики публики, «первый пушкинист» Павел Васильевич Анненков тоже не обошёл вниманием Арину Родионовну. Он величал её (вслед за П. И. Бартеневым) «знаменитой» и удостоил такого пространного панегирика:

«Родионовна принадлежала к типическим и благороднейшим лицам русского мира. Соединение добродушия и ворчливости, нежного расположения к молодости с притворной строгостью, оставили в сердце Пушкина неизгладимое воспоминание. Он любил её родственной, неизменной любовью и в годы возмужалости и славы беседовал с нею по целым часам. Это объясняется ещё и другим важным достоинством Арины Родионовны: весь сказочный русский мир был ей известен как нельзя лучше, и передавала она его чрезвычайно оригинально. Поговорки, пословицы, присказки не сходили у неё с языка. Большую часть народных былин и песен, которых Пушкин так много знал, слышал он от Арины Родионовны. Можно сказать с уверенностью, что он обязан своей няне первым знакомством с источниками народной поэзии и впечатлениями, которые, однако ж, <…> были заметно ослаблены последующим воспитанием»[20].

К Арине Родионовне как «посреднице в сношениях Пушкина с русским сказочным миром» П. В. Анненков в «Материалах…» ещё вернулся — в ходе повествования о михайловской ссылке поэта. Тут биограф перечислил и вкратце разобрал сказки, записанные Пушкиным в деревенской глуши «со слов няни», «*бывалой* старушки»[21], и добавил к её и без того симпатичному портрету несколько лёгких и выразительных штрихов: «Он (Пушкин. — *М. Ф.)* посвящал почтенную старушку во все тайны своего гения. К

несчастью, мы ничего не знаем, что думала няня о стихотворных забавах своего питомцах <…> Александр Сергеевич отзывался о няне как о последнем своём наставнике и говорил, что этому учителю он много обязан исправлением недостатков своего первоначального французского воспитания»[22].

По пути, проложенному пионерами пушкинистики, охотно двинулись и некоторые другие представители отечественной словесности. Среди них были и, что называется, первостатейные.

В частности, Аполлон Григорьев, открывая свой критический цикл «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» (1859), восклицал не без полемического пафоса: «…О, сказки Ирины Родионовны, — пробивавшиеся в натуре нашего поэта сквозь все искусственные произрастания, — вы хранили такую свежую, чистую струю в душе молодого, воспитанного по-французски барича, — что отдалённое потомство помянет вас добрым словом и благословением, забывши разные принципы, сознательным проведением которых гг. NN, ZZ и иные стоят *якобы* выше Пушкина и Гоголя!»[23]

А в третьей статье того же цикла критик завёл речь о «святой связи пушкинской натуры с Ириной Родионовной, святой любви к почве, к преданиям, к родному быту», которые, по утверждению А. А. Григорьева, всегда являлись «нашей эгидой против сухой практичности и сурового методизма!»[24].

Не преминул высказаться на сей счёт и Ф. М. Достоевский. Коснувшись в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863) проблемы западного влияния на Россию, «нашей жизни по европейским складам», которые всё же не лишили русских их национальной самобытности, мыслитель писал: «Ведь не няньки ж и мамки наши уберегли нас от перерождения. Ведь грустно и смешно в самом деле подумать, что не было б Арины Родионовны, няньки Пушкина, так, может быть, и не было б у нас Пушкина. Ведь это вздор? Неужели же не вздор? А что, если и в самом деле не вздор?

Вот теперь много русских детей везут воспитываться во Францию; ну, что, если туда увезли какого-нибудь другого Пушкина и там у него не будет ни Арины Родионовны, ни русской речи с колыбели? А уж Пушкин ли не русский был человек!»[25]

(Стоит отметить, что в то время имя Арины Родионовны уже стало чуть-чуть известно и европейской публике — в частности, итальянской. Поэт и драматург Пьетро Косса (Cossa; 1834–1881) издал в 1870 году в Риме «историческую драму» «Puschkin. Drama Storico» и в сочинённом для произведения диалоге Пушкина с бароном А. А. Дельвигом вложил в уста заглавного персонажа следующие показательные слова: «Моим учителем был живой

язык народа, анонимного поэта, который вечно страдает и поёт. Это была моя няня, добрая Ирина, бедная старушка, рождённая в крестьянской среде; если грядущее поколение будет чтить моё имя, должна быть не забыта и эта бедная старушка»[26].)

Страстным почитателем Арины Родионовны являлся И. С. Аксаков. Видный славянофил вспомнил о ней, к примеру, в биографии Ф. И. Тютчева, где сравнил дядьку Фёдора Ивановича с пушкинской няней и отвел таковым слугам «почётное место в истории русской словесности». «В их нравственном воздействии на своих питомцев, — утверждал И. С. Аксаков, — следует, по крайней мере отчасти, искать объяснение: каким образом в конце прошлого и в первой половине нынешнего столетия в наше оторванное от народа общество — в эту среду, хвастливо отрекающуюся от русских исторических и духовных преданий, пробирались иногда, неслышно, незаметно, струи чистейшего народного духа?»[27]

Столь же вдохновенно И. С. Аксаков вещал об Арине Родионовне в речи на московских пушкинских торжествах 1880 года. Выступая 8 июня на заседании Общества любителей российской словесности (следом за произведшим неслыханный фурор Ф. М. Достоевским), он говорил о Пушкине как «русском человеке», художнике «с таким русским складом ума и души, с таким притом глубоким сочувствием к народной поэзии — в песне, в сказке и в жизни». А далее И. С. Аксаков произнёс с кафедры следующее:

«Внешнюю разгадку этого явления следует искать, прежде всего, в деревенских впечатлениях детства и в его отношениях к *няне*. Но и няня и детские впечатления деревни таились тогда в воспоминаниях почти каждого отъявленного отрицателя русской народности, так что такая русская бытовая черта в поэзии Пушкина является уже сама по себе нравственною его заслугою и оригинальною особенностью. В самом деле, от отрочества до самой могилы этот блистательный прославленный поэт, ревностный посетитель гусарских пиров и великосветских гостиных, „наш Байрон“ притом, как любили его называть многие, не стыдился всенародно, в чудных стихах, исповедовать свою нежную привязанность — не к матери (это было бы ещё не странно, так и многие поэты делали), а к „мамушке“, к „няне“, и с глубоко искренней благодарностью величать в ней первоначальную свою музу… Так вот кто первая вдохновительница, первая муза этого великого художника и первого истинно русского поэта, это — няня, это простая русская деревенская баба!.. Точно припав к груди матери-земли, жадно в её рассказах пил он чистую струю народной речи и духа! Да будет

же ей, этой няне, и от лица русского общества вечная благодарная память!»

Затем, анализируя обращённые к Арине Родионовне стихи Пушкина, И. С. Аксаков отметил их художественное своеобразие: «…В это (пушкинское. — *М. Ф.)* время в нашей литературе если и встречалось благосклонное упоминание о русской женщине из простонародья, то не иначе как о „простодушной поселянке“»[28].

Шедшая в те десятилетия усиленная археографическая работа по собиранию материалов о Пушкине способствовала попутному выявлению и осмыслению некоторых сведений о пушкинской няне. Упоминания о ней появились в «Москвитянине», «Журнале Министерства народного просвещения», «Русской старине» и других периодических изданиях, в пушкиноведческих книгах и статьях ряда авторитетных учёных. Так, Валериан Майков (сын писателя и издателя В. Н. Майкова) в очерке «„Сказка о рыбаке и рыбке“ Пушкина и её источники» (1892) утверждал, среди прочего: «Действительно, этот русский голос среди почти исключительного господства иноземных влияний, всецело охвативших тот слой общества, в котором развивался Пушкин, заслуживает особой признательности потомства»[29].

В конце XIX века имя няни поэта попало на полосы «Нивы», «Киевского слова», «Жизни и искусства», «Задушевного слова»[30], замечено в иных журналах и газетах империи. Пробудился интерес к милой старушке и у российских стихотворцев средней руки.

В 1899 году были напечатаны и первые *специальные* штудии об Арине Родионовне.

К юбилею Пушкина публицист И. Щеглов (И. Л. Леонтьев) попробовал установить точный адрес петербургского дома, в котором няня завершила свои дни, — и оповестил о результатах своих поисков читателей суворинского «Нового времени»[31]. Спустя месяц уже подписчики «Московских ведомостей» ознакомились с содержательной статьёй Е. Поселянина «Русская няня»[32][33]. А вскоре именно Е. Поселянину было суждено подвести итоги изучения данной темы за дореволюционный этап развития пушкинистики.

На исходе января 1917 года Е. Поселянин поместил в «Новом времени» пространный очерк «Пушкин и его няня. К Пушкинской годовщине»[34], где многие фразы, несомненно, шли от сердца, однако по мысли не отличались новизной. «Она была та чудная сила, — читаем в данном очерке, — что в этой манерной среде, при родителях, вертевшихся в шумихе светской полуиностранной жизни, сделала из него народного русского поэта, что невидимо

сберегла и выходила эту беспримесную русскую душу, вместившую в себя всю гамму родины, звучавшую всем разнообразием музыки русского чувства».

Хотя Е. Поселянин в газетных столбцах и твердил порою зады, некоторые высказывания публициста были всё-таки довольно интересными, неизбитыми. Сказанное относится прежде всего к описанию того периода жизни Пушкина, который наступил после кончины Арины Родионовны: «Он стал без неё сиротой, потому что никто так его не любил, как она, этою — самою нужною и самою редкою в жизни — любовью, всё дающею и ничего не требующею, любовью, к которой можно прильнуть и отдохнуть…» Пускай спорным, но логичным развитием такого тезиса стало допущение, как будто предвосхитившее построения нынешних адептов «альтернативной истории»: «И если б в те ужасные дни, когда назревала трагедия, была ещё жива Арина Родионовна и находилась при Пушкине, его судьба, быть может, сложилась бы иначе. Ему не перед кем было тогда открыться, некому было прикоснуться к его ранам опытною успокаивающею рукою».

В завершение очерка Е. Поселянин заявил, что в Петрограде или Москве «давным-давно пора воздвигнуть в лице Арины Родионовны прочный вещественный памятник этой светлой силе русского простонародья».

Другую, отнюдь не «светлую» и не заинтересованную в «литых из меди» монументах, силу, уже выводимую кое-кем на столичные улицы и сбивавшуюся там в ропщущие, звереющие с каждым часом толпы, увлечённый автор очерка, по всей видимости, упустил из виду.

Через несколько дней после появления этой публикации занавес опустился: в России произошла революция, началась Смута…

Пришедшие к власти, овладев перво-наперво почтой, телеграфом и прочим полагающимся имуществом, затем ничтоже сумняшеся взяли под свою жёсткую опеку и смиренную, добропорядочную пушкинистику. Определённые идеологические дивиденды сулила победителям всемерная эксплуатация имени и образа Арины Родионовны — как-никак простой крепостной женщины, верной соратницы поэта-декабриста. И няня Пушкина была без промедления внесена в «номенклатурные» списки угодных революционным прагматикам покойников («жертв царизма»). Стимулированные режимом сочинения на адаптированную тему, естественно, вскоре появились, а впоследствии они стали множиться как грибы после дождя. (Особенно преуспели на данном поприще представители

поэтического цеха.) Листать и читать эти публицистические заметки, очерки и статьи — типа размышлений чешского коммуниста Юлиуса Фучика «Няня поэта»[35] — ныне можно, пожалуй, токмо по историографической необходимости.

Абсолютное большинство работ об Арине Родионовне, созданных при советской власти и по советским прописям, отмечены неизгладимой печатью «социального заказа» и имеют все характерные признаки скудоумного конъюнктурного ремесленничества. «Модернизированный „наш современник“ Пушкин вёл себя в романах и пьесах, выходивших в 1930–1950-е годы, в полном согласии с требованиями, предъявляемыми положительному герою советской литературы», — пишет в наши дни исследователь. И продолжает: «Его главная вдохновительница — Арина Родионовна, которая не только подсказывает ему мотивы и образы стихотворений, но и обсуждает с ним политические события»[36]. Скорее всего, заслуженным уделом таких сочинений всевозможных жанров будут разве что скупые строки в библиографических справочниках. Но и в указанные справочники вряд ли удастся поместить подлинные перлы — скажем, информацию о вновь выведенном в СССР сорте картофеля, который умельцы окрестили… «Ариной»[37].

«Будем же беспристрастны и не станем преувеличивать влияния Арины Родионовны на Пушкина. Таких добрых старушек было много на Руси, и многим из наших писателей они рассказывали свои сказки, но только на одного Пушкина эти сказки повлияли так беспримерно»[38]. Прискорбно, но факт: подобные призывы лиц высокопрофессиональных и трезвых не встретили после революции должного понимания. Взамен него трудящимся на всяком шагу прививали слепую, бездумную любовь к пушкинской няне — и люди, как правило, послушно любили Арину Родионовну именно такой, профанированной любовью[39].

Лишь считанные исследования и заметки о няне поэта, напечатанные в советские годы, пережили долгую и трудную агитпроповскую эпоху, сохранив ту или иную степень ценности, и закрепились в анналах пушкинистики[40].

К таковым следует отнести скромную с виду книжечку маститого пушкиниста и историка литературы Н. О. Лернера «Няня Пушкина», которую выпустили в Ленинграде в 1924 году, аккурат к 125-летию со дня рождения поэта. На тридцати двух страницах малого формата тут были собраны и доступно изложены элементарные «начатки знаний» по данному вопросу, как то: имевшиеся тогда в распоряжении учёных факты

биографии Арины Родионовны, пушкинские стихи и фрагменты писем о «мамушке», свидетельства современников поэта и колоритные мнения известных пушкинистов. «Для Пушкина няня была не только нежной пестуньей и преданным другом: в ней он нашёл истинно-народный образ и исчерпал его в своём творчестве, — провозглашается в одном из лернеровских пассажей. — Её преданность и нежность так глубоко врезались в его сердце, жаждавшее любви и ласки, что он запечатлел даже отдельные проявления любви своей няни, умилявшие его своей трогательною непосредственностью, и эти черты отразил в своих произведениях»[41].

Иллюстрированная брошюра Н. О. Лернера оказалась первым в нашей науке *специальным книжным* изданием об Арине Родионовне — и в этом, как сейчас представляется, заключалось главное достоинство ленинградской штудии (давно ставшей библиографической редкостью).

Заметной вехой в изучении жизни Арины Родионовны стало фундаментальное исследование А. И. Ульянского «Няня Пушкина», изданное Академией наук СССР в 1940 году. «Значение Арины Родионовны для Пушкина исключительно велико и общеизвестно, но полностью ещё не охвачено, не подытожено; биографические же сведения о ней поражают своей скудостью, — заявлено в предисловии к книге. — О происхождении Арины Родионовны, её детстве, условиях личной жизни, жизни её семьи, её потомках почти ничего не известно. <…> Автор был уверен, что скудость имеющихся сведений о жизни Арины Родионовны не помешает осуществлению настоящего труда, в соответствии с замыслом, в надежде, что при настойчивых разысканиях удастся обнаружить ещё не тронутые и неизвестные материалы и документы»[42].

Такие редкостные материалы А. И. Ульянскому, действительно, посчастливилось найти — в метрических книгах и исповедных росписях суйдовской церкви Воскресения Христова, в ревизских сказках XVIII века и в иных труднодоступных исторических источниках. Благодаря обнаруженным документам объяснились или уточнились многие спорные, причём решающие, эпизоды биографии пушкинской няни. Попутно автором была составлена «Родословная» Арины Родионовны, в которой он сумел — прямо-таки «поколенно» — проследить судьбу крепостного рода «мамушки» с конца XVII и почти до середины XX столетия. Значение кропотливых разысканий А. И. Ульянского трудно переоценить: его книга сразу вошла (и поныне входит) в разряд настольных для любого подлинного учёного или писателя, вознамерившегося сказать что-либо существенное о няне поэта.

Едва ли подобный объективный писатель сможет обойтись и без эссе В. С. Непомнящего «Мама», впервые опубликованного (под названием «Мамушка») в 1981 году и спустя два года переизданного — в журнальном и книжном, расширенном, вариантах[43]. Оно преисполнено глубоким лирико-философским смыслом.

«Мы чаще всего говорим о няне Пушкина либо сентиментальными общими словами, либо с точки зрения фольклористической, в связи со сказками и песнями, записанными от неё, — пишет В. С. Непомнящий. — Но ведь это так мало и плоско; но ведь он провёл с нею бок о бок два года, и каких года; но ведь не будь её, он во многом был бы, может, другим. Кто из творцов культуры скажет, что его жизнь, личность, работу строили только большие события, идеи и тенденции, книги и коллеги; кто умолчит о том, с какою силой воздействуют мать и отец, сестра или брат, жена, ребёнок, друзья — те, чьё влияние так всепронизывающе, что его трудно ухватить и отвести ему место в комментариях?

Приезжали иногда — редко — друзья, бывал Алексей Вульф, в Тригорском жили милые барышни со своей милой матерью. Но друзья уезжали; Вульф был умён и занятен, тригорские соседки были чудные — но разве они могли *влиять на Пушкина?*

А она влияла. Я склонен думать, что это влияние было необычайно значительным <…>. Не зря она — один из устойчивейших обликов его музы. Рядом с ней определилось и окрепло слово зрелого Пушкина. Она ввела русскую песню и русскую сказку в его опыт и душу. <…> Его русская речь во многом воспитана ею. Мне всё кажется, что то неповторимое чувство, которое знакомо нам по стихотворению „Я вас любил…“, в чём-то сходно с любовью женщины и будто несёт отблеск беззаветной любви, которую питала к нему няня. Я думаю также: то, что мы называем художнической мудростью и объективностью Пушкина, его мужественное эпическое беспристрастие, его умение взглянуть на жизнь и на собственную судьбу „взглядом Шекспира“, оформилось в свою полную национальную меру именно в деревне, рядом с няней, когда творческий опыт его получил народный привой; ведь Шекспир и дорог был ему прежде всего как гений „народной трагедии“».

В заключение В. С. Непомнящий, как бы солидаризируясь с предшественниками, выразил надежду, что *«благодарная Россия»* рано или поздно соорудит памятник пушкинской няне — и поставит вожделенный памятник не где-либо, а непременно в Москве: «Я думаю, что это когда-нибудь будет; потому что это долг культуры перед *обыкновенным человеком*; потому что

Родионовна стоит у самого начала нашей, ещё детской, „народной тропы“ к Пушкину, и она же — у начала его „тропы“ к народу, к нам; она сказала своё тихое слово в культуре народа, и часть её души есть в „заветной лире“»[44].

Не забыли об Арине Родионовне и русские изгнанники, прежде всего представители «первой волны» эмиграции. На чужбине стойкий интерес к пушкинской няне проявляли миряне и клирики, поэты и прозаики, не отставали от них и критики, публицисты, историки литературы, философы.

Так, С. Л. Франк, размышляя в этюде «Религиозность Пушкина» (1933) о «глубокой, потаённой общей духовной умудрённости» поэта, счёл нужным заметить: «Не надо забывать, что этот строй мыслей и чувств питался в Пушкине навсегда запавшими ему в душу впечатлениями первых детских лет, осенённых духовной мудростью русского народа, простодушной верой Арины Родионовны»[45].

В 1937 году вся зарубежная Россия, все без исключения страны и регионы рассеяния отметили печальный пушкинский юбилей. Тогда же на страницах парижского журнала «Современные записки» (№ 64) появился «Мой Пушкин» Марины Цветаевой — объяснение поэта в любви к поэту, которое сопровождалось проникновенными словами об Арине Родионовне и пушкинских стихах «К няне»[46], запавших в цветаевскую душу с далёкого детства:

«Но любимое во всём стихотворении место было — „Горюешь будто на часах“, причём „на часах“, конечно, не вызывало во мне образа часового, которого я никогда не видела, а именно часов, которые всегда видела, везде видела… Соответствующих часовых видений — множество. Сидит няня и горюет, а над ней — часы. Либо горюет и вяжет и всё время смотрит на часы. Либо — так горюет, что даже часы остановились. *На часах* было и под часами, и на часы, — дети к падежам нетребовательны. Некая же, всё же, смутность этого *на часах* открывала все часовые возможности, вплоть до одного, уже совершенно туманного видения: есть часы зальные, в ящике, с маятником, есть часы над ларем — лунные, и есть в материнской спальне кукушка, с домиком, — с кукушкой, выглядывающей из домика. Кукушка, из окна выглядывающая, точно кого-то ждущая… А няня ведь с первой строки — голубка…

Так, на часах было и под часами, и на часы, и, в конце концов, немножко и в часах, и все эти часы ещё подтверждались последующей строкою, а именно — спицами, этими стальными близнецами стрелок. Этими спицами в наморщенных руках няни и кончалось моё хрестоматическое „К няне“.

Составитель хрестоматии, очевидно, усомнился в

доступности младшему возрасту понятий тоски, предчувствия, теснения и всечастности. Конечно, я, кроме *своей* тоски, из двух последних строк не поняла бы ничего. Не поняла бы, но — запомнила. И — запомнила. А так у меня до сих пор между наморщенными руками и забытыми воротами — секундная заминка, точно это пушкинский конец к этому хрестоматическому — приращён. Да, что знаешь в детстве — знаешь на всю жизнь, но и: чего не знаешь в детстве — не знаешь на всю жизнь.

Из знаемого же с детства: Пушкин из всех женщин на свете больше всего любил свою няню, которая была н***е*** женщина. Из „К няне“ Пушкина я на всю жизнь узнала, что старую женщину — потому что родная — можно любить больше, чем молодую — потому что молодая и даже потому что — любимая. Такой нежности слов у Пушкина не нашлось ни к одной.

Такой нежности слова к старухе нашлись только у недавно умчавшегося от нас гения — Марселя Пруста. Пушкин. Пруст. Два памятника сыновности»[47].

В корпусе специальной литературы о няне, созданной послереволюционными эмигрантами, особо следует выделить очерк поэта, критика и пушкиниста В. Ф. Ходасевича «Арина Родионовна (Скончалась в конце 1828 года)»[48]. Этот «подвал» из влиятельной парижской газеты «Возрождение» был, по нашему убеждению, самым впечатляющим достижением «философической» пушкинистики за весь межвоенный период. В этюде немало остроумных реплик и тонких наблюдений частного характера, — но наличествуют там и обобщающие (можно сказать, методологические) выводы. По меркам второй четверти прошлого столетия умозаключения В. Ф. Ходасевича «о той, которая любила его (Пушкина. — *М. Ф.)* так беззаветно и бескорыстно, о той, кому он столь многим обязан, кого сам любил верно и крепко, вернее возлюбленных, крепче матери», представлялись вполне оригинальными.

«В творчестве Пушкина образ Арины Родионовны движется по двум линиям, совпадающим лишь отчасти, — писал Владислав Фелицианович. — К первой из них относятся непосредственные обращения к няне и конкретные воспоминания о ней. <…> Вторая линия отражений Арины Родионовны в поэзии Пушкина сложнее и, может быть, глубже. <…> Арина Родионовна <…> была истинною водительницей многих пушкинских вдохновений. Замечательно, что сам Пушкин давно предчувствовал это. <…> Можно сказать буквально и не играя словами, что Арина Родионовна с давних пор в представлении Пушкина была лицом полу-реального, полу-мифического порядка, существом вечно юным, как Муза, и вечно древним, как няня. Понятия няни и

Музы в мечтании Пушкина были с младенчества связаны…»

«Арина Родионовна была воплощением Русской Музы. <…> И „доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит“ — будет живо о ней предание». Этими словами — к вящему *неудовольствию многих* — завершил в 1929 году свой парижский очерк «двух станов не боец», непредвзятый пушкинист Владислав Ходасевич.

Попробуем теперь разобраться, кому и чем могла не угодить *такая* пушкинская няня и «в краю чужом», и — шире — в самой «метрополии», то есть в России XIX–XX веков.

Из приведённых выше фрагментов и замечаний напрашивается вот какой вывод. В общественном сознании за няней поэта чуть ли не изначально, с первых шагов пушкинистики было закреплено видное и, как выясняется, далеко не всех устраивающее место. «Арина Родионовна <…> стала одним из самых знаменитых образов пушкинского окружения, если не вообще знаком русского начала при Пушкине, — пишет по этому поводу Н. Н. Скатов, — да и во всей нашей жизни сделалась как бы символом всех русских нянь»[49].

Иначе говоря, Арину Родионовну с порога приветили и всячески поднимали на щит преимущественно лица, принадлежавшие, выражаясь (в угоду традиции) очень условно, к *славянофильскому* направлению. Их идейные оппоненты, так называемые *западники*, не остались в долгу: они (опять-таки не без исключений) были в оценках пушкинской няни гораздо более сдержанны, а то и откровенно скептичны.

Надобно понимать, что дискуссия об Арине Родионовне возникла (и, не утихая, продолжается по сей день) как жёсткий, но всё же локальный спор в рамках значительно более масштабной, мировоззренческой полемики — полемики о месте и роли Пушкина в отечественной истории. Дабы не уклониться далеко в сторону от проблематики настоящей книги, сформулируем суть этой дискуссии по возможности лапидарно, посредством бинарной оппозиции, которую обозначим классическими цитатами.

Допустим, так: что есть Пушкин для нашего ушедшего и длящегося бытия — «русский национальный поэт», «явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа» (Н. В. Гоголь) или же *только* «наш первый[50] поэт-художник» (И. С. Тургенев)?

При «тургеневском», с подчёркнутой эстетической доминантой, ответе на основополагающий вопрос Арину Родионовну надлежало (так сказать, по определению)

разжаловать из *знаковых* и *символичных* фигур, входящих в ближайшее пушкинское окружение, — в очеловеченный задник сценического пространства, в онемелый и окаменелый *объект*. И за время существования пушкинистики означенную операцию, в той или иной форме, с разными степенями мастерства, откровенности и приязни к старушке, провела целая клака противников «русского начала».

Уже через несколько месяцев после выхода в свет анненковских «Материалов для биографии А. С. Пушкина» поэт и критик М. А. Дмитриев возмущался в письме к М. П. Погодину (тяготевшему к славянофилам): «Из новейшей биографии Пушкина <…> узнали мы, что, вероятно, обязан Пушкин народностью некоторых своих произведений — старухе своей нянюшке, о которой столько нынче пишут, что, я думаю, ей икается на том свете. Словом: Пушкина не выводят нынче перед публикою иначе, как со старухой нянькой. Карамзин и И. И. Дмитриев, я думаю, смеялись бы этому; а Пушкин краснел бы, представляя из себя эту группу. <…> Только и прославляете двух богов: Пушкина и Гоголя, да одну богиню: няньку Радивоновну!..»[51]

Есть основания думать, что за щедрые комплименты в адрес Арины Родионовны П. В. Анненкову тогда досталось не только от взбалмошного М. А. Дмитриева. Да и сам Павел Васильевич, человек вполне либеральной закваски, приверженец «европейских начал»[52], увидев однажды имя пушкинской няни на развевающихся славянофильских хоругвях, вероятно, понял, что погорячился и ненароком угодил в недружественный стан. К началу семидесятых годов XIX века взгляд «первого пушкиниста» на старушку был публично и довольно существенно скорректирован.

Переиздавая в 1873 году биографию поэта[53], П. В. Анненков не стал редактировать общеизвестный текст и сохранил все ранее им данные характеристики няни. Но спустя год он напечатал в Петербурге новый труд — «Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху», где фактически дезавуировал собственные высказывания 1855 года.

«…Довольно трудно представить себе, что биографы Пушкина, — впрочем, со слов самого поэта нашего, только понятых ими чересчур узко, — заставляют участвовать в развитии Пушкина и даже направлять это развитие няню его, Арину Родионовну, — писал поставивший себя в положение унтер-офицерской вдовы П. В. Анненков. — Это одно из тех недоразумений, которые отходят в область „биографических предрассудков“ <…>. По смыслу этого предания выходит так,

как будто добрая и ограниченная старушка, Арина Родионовна, играла нечто вроде роли бессознательного, мистического деятеля в жизни своего питомца и открывала ему область народного творчества, благодаря своему знанию русских сказок, песен и преданий. Арина Родионовна была действительно верным и усердным посредником в ознакомлении Пушкина с некоторыми примерами и мотивами народной фантазии, но, конечно, не её слабая и немощная рука указала поэту ту дорогу, на которой он <…> очутился: тут были указатели другого рода и порядка»[54].

Об «ограниченности» няни и ничтожности её влияния на поэта чуть позже заявил в записках и его племянник, сын пушкинской сестры Ольги Сергеевны, Л. Н. Павлищев. В его мемуарной эскападе, полной к тому же пренебрежения к русскому фольклору, сквозила и нескрываемая личная обида:

«До настоящего времени никто из биографов покойного моего дяди, — как это ни покажется странным, — не отвёл единственной родной сестре его, матери моей Ольги Сергеевне, подобающего ей места, между тем как, распространяясь о младшем брате поэта, господа эти толковали усердно и о няньке матери моей и его, Ирине Родионовне (нашедшей себе место и на картине Ге — „Пушкин, читающий свои стихи Пущину“), личности полуграмотной и ровно ничем не замечательной, в сущности, кроме сообщаемых ею россказней о богатыре Еруслане Лазаревиче, царе Салтане и прочих, в этом роде, народных басен»[55].

Текли годы — струилась и полемика…

Установка на механическое прославление няни, навязанная пишущему сословию «пушкиноведами в шинелях с наганами» (О. Э. Мандельштам) в советские времена, в какой-то мере сковала руки противникам «русского начала». Однако возможности, и немалые, для завуалированных возражений живучим (но тоже не жирующим) «славянофилам» у них всё же остались — и контроверза продолжилась.

Иногда дискуссия принимала обличье праведной борьбы с апологетическими крайностями коммунистического толка. Но порою полемисты одной-двумя фразами метили и в тех, кто некогда стоял у истоков нянииного «культа» («Некоторые критики, как, напр<имер>, Аполл<он> Григорьев, преувеличили её роль…»[56] и т. д.).

Чаще всего они действовали просто: сочувственно и в нужном контексте цитировали своих дореволюционных единомышленников. Так, поступили, положим, А. Л. Осповат и Н. Г. Охотин, которые напечатали в комментариях к факсимильному изданию анненковских «Материалов…»

вышеприведённое письмо М. А. Дмитриева к М. П. Погодину.

Трудно было придраться и к М. К. Азадовскому, почти дословно повторившему в статье «Сказки Арины Родионовны» (1938) мысли П. В. Анненкова: «Нельзя видеть в Арине Родионовне, — как это делают многие исследователи, — воплощение какой-то чуть ли не мистической силы, властно направившей Пушкина на новый путь. Неправильно видеть в ней основной и почти единственный источник и стимул фольклорных интересов Пушкина. Такие утверждения прежде всего необычайно снижают и обедняют смысл и значение пушкинского фольклоризма в целом, отрывая поэта от более сложных воздействий общественного порядка и вырывая его из общего процесса развития мировой литературы. А если бы не было Арины Родионовны, неужели в таком случае Пушкин прошёл бы мимо народных источников творчества или, может быть, он не сумел бы стать великим народным поэтом?»[57]

Применялись, впрочем, и более затейливые методы. Так, эссе В. С. Непомнящего «Мамушка» (или «Мама») в своё время вызвало не только озабоченность в кругах предрасположенной ко всяческим фобиям интеллигенции, но и самиздатовский пасквиль на пушкиниста (автором и распространителем текста был довольно известный московский литератор).

Эффективной формой умаления заслуг Арины Родионовны, отнюдь не всегда и далеко не всеми осознаваемой, была и стимуляция обывательского спроса на Наталью Николаевну Пушкину — как на *главную* (или *роковую)* женщину в жизни поэта. Порождённые ажиотажным спросом сочинения о жене Пушкина — иногда искренние, чаще лукавые, почти всегда малопристойные — приходились по вкусу невзыскательной публике, а заодно они теснили «пресные» сюжеты о крепостной старушке на историографическую периферию.

Долго хранил молчание, но в конце концов всё-таки молвил своё веское слово об Арине Родионовне и Владимир Набоков, для которого в послевоенные («лолитные») годы сами понятия «национальный поэт» или «поэт народный» звучали как нонсенс. В юности Владимир Владимирович (тогда ещё тосковавший по России В. Сирин) писал сентиментальные стихи о ждущей Пушкина няне и её «верной душе»[58]. Став же литературным олимпийцем и транснациональным мэтром, Набоков (вернее, уже Nabokow или, в иной транскрипции, Nabokov) и трактовал «мамушку» (равно как и полемику вокруг Арины Родионовны) по-олимпийски: свысока и космополитично.

В англоязычном Комментарии к «Евгению Онегину», опубликованном в 1964 году в Нью-Йорке, В. В. Набоков признал,

что Пушкин «и в самом деле душевно любил Арину и её сказки». Но тут же он добавил: «Русских комментаторов слишком опьяняет идея „простой русской женщины из народа“, которая рассказывает старые сказки (увы, почерпнутые из дешёвых итальянских брошюр) „нашему народному поэту“ (как будто истинный поэт может быть „народным“!)…» Так и не пояснив, какими путями старушка ознакомилась с «итальянскими брошюрами», В. В. Набоков снял проблему Арины Родионовны следующим образом:

«Народолюбцы-пушкинисты обожают её до слёз. Влияние её сказок на Пушкина усердно и нелепо раздувается. Вряд ли Пушкин когда-нибудь читал ей вслух ЕО („Евгения Онегина“. — *М. Ф.),* в чём уверены некоторые комментаторы и иллюстраторы. В 1820-е гг. она твёрдою рукою вела хозяйство, держала в страхе служанок и была очень не прочь приложиться к бутылочке. Пушкин, отзывавшийся на всякое модное литературное веяние своего времени, романтизировал её в стихах…»[59]

О том, что Арина Родионовна «пивала», автор «Лолиты» упомянул и в «Других берегах» (1954).

Вердикт авторитетного В. В. Набокова был повторен и заучен как эмигрантами, так и западными славистами. Полюбился он и некоторым российским исследователям, которые после краха советского режима наконец-то получили возможность свободно высказаться насчёт няни — и не мешкая сочинили вариации на тему: «Старушонка вздор!.. Не в ней и дело!».

Однако главным супостатом Арины Родионовны в «пост-набоковской» пушкинистике, как представляется, всё же стал представитель «третьей волны» эмиграции — профессор Калифорнийского университета, прозаик и специалист в жанре «литературного расследования» Ю. И. Дружников.

Из-под его пера вышло несколько сочинений о поэте, в частности, книга о «великом отказнике» — «Узник России. По следам неизвестного Пушкина», посвящённая чуть ли не всегдашнему пушкинскому «настойчивому желанию выбраться» из ненавистной империи. Логичным развитием профессорского «свежего, даже субъективного взгляда на биографию узаконенного символа национальной гордости» (В. Д. Свирский) была «демистификация» Арины Родионовны, осуществлённая Ю. И. Дружниковым в пространной работе под названием «Няня Пушкина в венчике из роз». Она была напечатана в нью-йоркском «Новом журнале» в 1996 году[60].

Кто-то из знатоков, открыв этот журнал, с первых же страниц уличит американского профессора в дилетантизме, подчас вопиющем; ещё кого-то могут покоробить блоковские

реминисценции или фрейдистские экзерсисы; третьему вздумается указать на библиографическую неопрятность работы и т. п. Но знатоки, полагаем, должны и поблагодарить автора за подкупающую откровенность его очередного «расследования». Нам не приходилось сталкиваться со столь прямодушными декларациями, разящими чохом и Арину Родионовну («историко-литературное явление»), и тех, кто водрузил на старушечье чело, по терминологии Ю. И. Дружникова, розовый венчик.

Довольно часто профессор бичевал, как может показаться, «перегибы» русских и советских пушкинистов, их нелепые и невежественные подставки — однако за близкими (и порою верно избранными) мишенями явственно просматриваются его главные, стратегические цели: их Ю. И. Дружников не терял из виду.

Изучив «толстую папку накопленных материалов» и установив, что Пушкин «любил няню» (но только в годы михайловской ссылки: «в Петербурге она была ему не нужна»), Ю. И. Дружников затем пришёл к выводу, что Арина Родионовна «обрела вторую жизнь в воображении и текстах» поэта, то есть была им идеализирована: «Она осталась в его произведениях романтизированным счастливым персонажем без личной жизни и вне социального контекста, столь важного для русской литературы». Такая ирреальная «литературная модель» (во всех произведениях функционирующая как «второстепенная»), с одной стороны, была любезна Пушкину и вдохновляла его на новые творческие свершения, с другой же — приносила сугубую пользу, укрепляла репутацию поэта в светском обществе: ведь «человеческое отношение к простому люду» считалось «хорошим стилем того времени и пушкинского круга».

Но пушкинистика, как сообщено читателям далее, «полюбила няню ещё больше Пушкина». Волю эмоциям дали и дореволюционные жрецы науки о поэте, и, естественно, славянофилы, которым Арина Родионовна «помогала <…> приближать поэта к своему лагерю», и представители «советской пушкинской школы». Все они, обращаясь к «литературному мифу об идеальной няне», словно сговорившись, «высказывали мысли, созвучные официальной национальной идеологии».

Через пару страниц профессор вновь взял на мушку раздражающую его цель и заострил мысль: «После октябрьского переворота миф о няне был использован для политической коррекции образа Пушкина как народного поэта. <…> Рассуждения о народности творчества стали неотъемлемой частью науки о Пушкине. Пригодились и некоторые соображения славянофилов». Пришлись же они ко двору потому, что «пушкинистика становится родом агиографии, каковой она

пребывает и сегодня. Темы „Пушкин и народ“, „Пушкин и Родина“, его патриотизм объявляются фундаментальными в литературоведении, а няня — основополагающим элементом построения таких моделей».

Поэзии и письмам Пушкина, свидетельствам современников няни и славянофильской выдумке Ю. И. Дружников противопоставил свою — сорную, не ведающую стыда, «правду». На поверку Арина Родионовна — «сублимированная мать поэта» — была совершенно другой. «…Невозможно выяснить, — утверждал профессор, — каков реальный вклад няни в воспитание поэта». Вклад той самой старушки, «которая не могла запомнить двух букв, чтобы написать слово „няня“» — но умела слушать воспитанника («талант, свойственный, правда, в ещё большей степени, чем людям, собакам и кошкам»); той крепостной женщины, которая «вряд ли понимала, что именно пишет барин», — но зато «была склонна к алкоголизму».

Исчерпав компрометирующие няню материалы и захлопнув досье, Ю. И. Дружников подвёл итоги «расследования»:

«…В целом сегодня миф об Арине Родионовне существенен для многих, он — часть воспитания человека в российской культуре и в определённом духе. Не разрушать, а понять его было нашей задачей. И всё же возникает простой, как глоток воды, вопрос, который автор обращает к самому себе, но он может вызвать негодование поклонников няни: нужно ли тратить быстротечное время, чтобы столь подробно её рассматривать? Мне кажется, если няня не играла такой важной роли в жизни поэта, писать о ней в его биографиях лучше короче и в скромных тонах».

В слегка отредактированном виде очерк Ю. И. Дружникова был быстро и не единожды переиздан в нашей стране, где его рекламировали как «остроумный вызов, брошенный писателем официозной пушкинистике, десятилетиями эксплуатирующей одни и те же штампы»[61]. Жаль, что ни американскому профессору, ни его российским лоббистам, похоже, так и не вспомнились слова Пушкина, сказанные по поводу подобных сочинений: «…Нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви» *(XII, 36)*.

Подходящей пушкинской ремаркой мы и завершим вводную главу.

Переходим к жизнеописанию Арины Родионовны.

Скоро сказка сказывается — да не скоро книга пишется…

Выпало нашей нянюшке два разных века узреть, жить-быть в российском царстве-государстве при двух сиятельных царицах и

четырёх владыках свирепых.

А явилась она на свет Божий в самый что ни на есть разгар Семилетней войны со всяческими басурманами, когда на прародительском престоле в граде Петровом восседала всё ещё величественная, но уже расстающаяся с былой красой и тужащая по сему случаю Елисавета Петровна…

Глава 2
КРЕСТЬЯНСКАЯ ДОЧЬ

Явилась из толщи народа русского…

В. Ф. Ходасевич

В тот год, оказавшийся 7266-м от Сотворения мира, весна в северной России началась «марта 9-го числа после полудни, в 6-м часу в 34-ой минуте, когда Солнце в знак Овна вступило и по всей земли первое в году равноденствие учинило». Люди разных сословий пробуждению природы радовались, — и всё же поглядывали на сумрачное небо с изрядной опаской: ждали оттуда появления кометы, предсказанной английским астрономом Эдмундом Галлеем. «Но понеже течение ея несколько переменно быть кажется, то он, взявши и переменность оную в рассуждение, полагает, что оной ожидать можно в исходе сего году или в начале будущего, 1759-го, году», — загодя успокаивал встревоженную публику петербургский месяцеслов[62].

Между тем продолжался Великий пост, текла его шестая неделя, близилась Пасха — и заодно подходила к концу первая декада апреля. Светало в Петербурге и его окрестностях уже рано, в начале второго, а тусклое солнце появилось на небосклоне в 4 часа 34 минуты. Накануне, в четверток 9 апреля, поутру, река Нева «совершенно вскрылась, после чего в 8 часу выпалено из 3 пушек с крепости»[63].

Чинно шёл сорок девятый год от рождения императрицы Елизаветы Петровны и семнадцатый — от вступления её на Всероссийский престол. Ровно через две недели двор, свет и весь город готовились высокоторжественно отметить день священного коронования дочери Петра.

В пятницу на Вербной столичная газета извещала читателей: «Ея Императорское Величество всемилостивейше соизволила определить губернаторами: в Ревель, генерала аншефа принца Голштейн-Бека; в Ригу, генерала порутчика, князь Володимера Петровича Долгорукова; да генералу порутчику и действительному камергеру, Николаю Андреевичу Корфу, указала быть губернатором же в Кёнигсберге»[64].

О военных же действиях против наглой коалиции в этом нумере «Санкт-Петербургских ведомостей» не было сказано ни полслова: они разворачивались тогда столь вяло, что для обозрения нерегулярных ратных происшествий вполне хватало

страницы-другой в ежемесячных «Прибавлениях» к газете.

Зато в «Петербурге неугомонном» и на прилегающих к нему землях жизнь в преддверии величайшего из двунадесятых праздников била ключом.

Академия наук, к примеру, желала приобрести «несколько сот сажен дров берёзовых однополеняных», а кто-то выставил на продажу «до 30 цуговых и верьховых меренов вороных большого росту»; одни горожане остро нуждались в «ивовых обручах», другим же были надобны «дубовые леса разных пропорций»; торговцы сулили невиданные скидки и зазывали из пригородов поставщиков «масла постного», «потребного числа ветчины, сусла, молока и протчего». Законопослушные иностранцы, покидавшие Петербург, заблаговременно уведомляли о том своих кредиторов и должников; а никуда не отъезжающая французская повивальная бабка Дюваль, «которая прежде сего жила в доме Георга Енкеллера», сообщала заинтересованным в её услугах лицам, что «ныне жительство имеет на перспективе у Собакина в деревянном доме, внутрь двора находящемся»[65].

Кроме того, в указанную пятницу в храмах поминали священномученика Терентия, убиенного в Сирии много веков назад, ещё при императоре Декии, всеми давно и прочно позабытом.

Таким, судя по говорливым «Ведомостям», выдался великопостный день 10 апреля 1758 года от Рождества Христова.

Именно в этот весенний день в деревне Суйде, лежащей примерно в 55 верстах от Петербурга, у крестьянина Родиона Яковлева родилась дочь, в крещении наречённая Ириной.

Отметим то, что наверняка не отметили её родители: доставшееся крестьянской дочери имя восходило к греческому слову *мир*.

Согласно административному делению елизаветинского времени, село Суйда, Воскресенское тож, числилось по Копорскому уезду Петербургской губернии. В былинную старину оно и прочие селения того малолюдного и бедного региона, контролировавшиеся новгородскими князьями, составляли так называемые Ижорские земли. Они были заселены вперемешку и русскими, и представителями угро-финских народов. Однако в начале XVII столетия Россия в ходе военных конфликтов не сумела удержать их, и по Столбовскому договору 1617 года земли отошли к шведам, став Ингерманландией. Лишь при Петре Великом, закрепившемся на берегах Балтийского моря, империя вновь обрела утраченные было территории и стала постепенно осваивать стылый край, водворяя сюда на жительство крестьян из

великорусских губерний.

По предположению А. И. Ульянского, царь Пётр презентовал Суйду, Воскресенское тож, прилегающие угодья, а также расположенное поблизости сельцо Коприно (или Кобрино) своему сподвижнику — графу Петру Матвеевичу Апраксину, который в начале 1700-х годов одержал ряд важных викторий над шведами. Чертежей этих мест учёные пока не нашли[66], но из записей в метрической книге церкви Воскресения Христова, что в Суйдовской мызе, явствует: в 1722 году указанные владения точно принадлежали президенту Юстиц-коллегии П. М. Апраксину[67]. А после кончины графа (случившейся где-то между 1726 и 1728 годами) они перешли не к его сыну Алексею Петровичу, а к невестке, графине Елене Михайловне Апраксиной (урождённой Голицыной; 1712–1747)[68]. В исповедном реестре местной церкви за 1737 год она-то и поименована «госпожою» «в селе Воскресенском, что была мыза Суйдовская»[69].

Ранняя смерть графини Елены Михайловны сделала хозяевами мызы Суйда двух её сыновей — сержантов лейб-гвардейского Семёновского полка Петра и Фёдора Алексеевичей Апраксиных. Они фигурируют в качестве совладельцев вотчины в исповедной росписи за 1749 год. Однако граф Пётр Апраксин, адъютант Семёновского полка, преставился в ноябре 1757 года, и посему в аналогичном документе, составленном в начале 1759 года, уже было сказано, что Суйда числится только за отставным капитан-поручиком того же полка Ф. А. Апраксиным.

Подпоручик граф Фёдор Алексеевич Апраксин (1733–1789) и стал первым господином малютки Ирины (Ириньи), дочери крепостного крестьянина Родиона Яковлева.

В 1930-е годы исследователю удалось разыскать в Ленинградском областном историческом архиве (ЛОИА) метрическую книгу, имевшую длинное и витиеватое название: «Книги области епархии преосвященнаго Селивестра епископа санкт петербургскаго и шлюшенбургского, архимандрита свято троицкого александроневского, Копорского уезду, церкви Воскресения Христова, что в Суйдовской мызе, священника Димитрия Ефимова с причетником записная о приходских тоя церкве людей, рождающихся, бракосочетающия и умирающия, разделяемая на три части 1758 году с генваря с 1 числа». В этой ветхой книге (в её «Части первой о рождающихся», под № 4) значилось, что 10 апреля 1758 года в «вотчине лейб гвардии Семёновского полку подпорутчика графа Фёдора Алексеевича Апраксина Суйдовской мызе» появилась на свет «деревни Суйды крестьянина Родиона Яковлева дочь Ирина», которую крестили спустя неделю, 17-го числа. Восприемниками младенца указаны

«тоя ж деревни Суйды крестьянин Ларион Кирилин да крестьяньская дочь девица Евфимия Лукина»[70].

«Новорожденную назвали именем её тётки Ирины Кирилловой», — пишет А. И. Ульянский[71]. Небесными же покровительницами девочки стали две святые мученицы Ирины (одна из них была сожжена вместе с сёстрами при императоре Диоклетиане в начале IV века по Р. Х., другая пострадала в Коринфе).

Ирина была третьим ребёнком в этой крестьянской семье (ранее, в 1751 и 1755 годах, у Яковлевых родились Евдокия и Семион[72]). Изучение исповедных ведомостей, ревизских сказок и метрических записей, предпринятое биографом, позволило прояснить некоторые аспекты Ирининой родословной — впрочем, крайне скудные.

Точных данных о происхождении отца Ирины так и не обнаружилось. Нам известно, что Родион Яковлев родился в 1728 году; предположительно в тридцатых годах он очутился в доме Петра Полуектова (между 1692 и 1696–1772), крепостного крестьянина графов Апраксиных, переселённого в Суйду из какой-то центральной губернии. В бездетной семье приёмыш фактически стал родным сыном. Из других документов можно вывести, что в 1749 или в 1750 году «приимыш» Родион, которому было около двадцати двух лет, женился на Лукерье Кирилловой (1730–1796 или 1797), числящейся «старинной того села»[73].

Таким образом, к моменту рождения Ирины её матери было двадцать восемь лет, а отцу — круглых тридцать. По тогдашним меркам, Родион и Лукерья Яковлевы уже миновали середину земной жизни и вплотную приблизились к возрасту дедов и бабок[74].

Вышло так, что семейство Яковлевых принадлежало Фёдору Алексеевичу Апраксину совсем недолго.

Двадцатипятилетний граф побаивался, что вдова его брата Петра (правда, разведённая, но имевшая хорошие связи в «сферах» особа) заявит свои — как на грех обоснованные — претензии на апраксинские земли[75]. А делиться с хваткой невесткой отставному капитан-поручику никак не хотелось и, едва вступив в единоличное владение вотчиной, Ф. А. Апраксин решил сорвать банк, то бишь опередить соперницу и побыстрее избавиться от Суйды и прочих окрестных селений.

Вскоре он преуспел в этом хлопотном деле и выгодно сбыл вотчину.

Покупателем оказался не кто иной, как генерал-аншеф и кавалер многих орденов, начальник Ладожского канала и

кронштадтских строений Абрам Петрович Ганнибал (1696–1781), прославленный «арап Петра Великого».

Судя по сохранившимся метрическим записям, уже 1 мая 1759 года Суйда законно принадлежала ему[76]. Помимо Суйды, генерал приобрёл также Мельницу, Коприно (Кобрино) и иные апраксинские земли. В последующие годы он расширил свои владения за счёт покупки близлежащих имений других помещиков. Кроме того, неподалёку от Кобрина генерал попутно построил Руновскую мызу. В итоге общая площадь его поместий в Петербургской губернии составила 9476 десятин[77].

Так Ирина (Иринья) Яковлева, которой не исполнилось и года, сменила господина и превратилась в крепостную диковинного, отродясь не виданного в тех краях барина с чёрной «арапской рожей».

Возможно, удивлённая девочка впервые увидела его, давно разменявшего седьмой десяток, лишь во второй половине 1762 года или даже позднее. После кончины императрицы Елизаветы Петровны (та почила в Бозе в декабре 1761 года) придворные недруги сумели настроить оказавшегося на престоле Петра III против генерала. В июне 1762 года Абрам Петрович был отправлен в отставку «за старостию»[78], причём сделали, это без полагающихся пожалований и повышений в чине. Вскоре после оскорбительного изгнания со службы А. П. Ганнибал гордо удалился в Суйду, «где с редкими отлучками и провёл последние девятнадцать лет своей богатой событиями жизни»[79].

В исповедной росписи суйдовской церкви Воскресения Христова за 1765 год, среди «дворовых людей господина генерал аншефа и ковалера Аврама Петровича Ганибала», есть и уже знакомые нам имена Петра Полуектова, его «приимыша» Родиона Яковлева с женой Лукерьей и детьми. Указана (среди «людей женска полу», под № 62) и Иринья, шести лет. В графах «Кто были у исповеди и святого причастия» и «Которые у исповеди не были» против её имени ничего не написано[80].

В эти годы Яковлевы по-прежнему жили вместе с Полуектовыми, душа в душу, под единой кровлей. Семейство Родиона Яковлева разрасталось: вслед за Ириной родилось, по всей вероятности, ещё четверо детей. Такая большая семья, состоящая преимущественно из малолетних, была обречена на существование в условиях крайней нужды.

Небезызвестный Василий Львович Пушкин (дядюшка поэта), побывавший в Суйде в конце XVIII столетия, воспел благолепие тамошней натуры в звучных сентиментальных стихах:

Души чувствительной отрада, утешенье,

Прелестна тишина, покой, уединенье,
Желаний всех моих единственный предмет!
Недолго вами я, к несчастью, наслаждался;
Природы красотой недолго любовался;
……
С каким весельем я взирал,
Как ты, о солнце, восходило,
В восторг все чувства приводило!
Там запах ландышей весь воздух наполнял,
Там пели соловьи, там ручеёк журчал;
И Хлоя тут была; чего ж недоставало?
Что в мире я любил, что мысль обворожало,
Кем сердце нежное дышало,
Всё было там со мной!..[81]

Крестьяне ганнибаловских владений не были горазды на подобное восприятие красот местной природы. Они находились на барщине (никаких сведений о её размерах нет), то есть трудились (в обществе своих хлой) в полях и на мельнице, временами заготавливали лес и дрова, занимались рыболовством на журчащей Кобринке и сбором мёда.

Отставной генерал жил не только «в тишине и покое», как сказано в «Немецкой биографии А. П. Ганнибала» А. К. Роткирха *(XVII, 48)*. Он был хозяином рачительным, вникавшим во всякие хозяйственные подробности, охочим до усовершенствований, но, видимо, не слишком заботливым по отношению к собственным холопам. В преданиях сообщается о его суровом нраве и крайней скупости. Показателен эпизод, имевший место в январе 1766 года: когда ватага крепостных одного из помещиков Петербургской губернии пустилась в бега, к ней незамедлительно присоединилось и «множество беглых Господина Ганнибала Суйдовской мызы крестьяне». Вооружившись «разбойничскими инструментами», ослушники, ничуть не горюя о покинутых соловьях и ландышах, «поехали в Польшу». Дело об этом возмутительном происшествии было заслушано в Сенате[82].

А спустя год или два после описанного волнения крестьян умер отец Ирины, Родион Яковлев, не доживший и до сорока лет. Семеро его детей, в возрасте от двух до шестнадцати лет, остались сиротами.

Очевидно, уже тогда, в конце 1760-х годов, Ирине Яковлевой пришлось не только помогать матери по хозяйству, но и работать вне дома наравне со взрослыми.

Положение Яковлевых стало особенно бедственным после

кончины Петра Полуектова, их милостивца, случившейся в 1772 году. Тем не менее дети Лукерьи пережили эту мрачную пору, выросли и обзавелись семьями.

Выросла, терпеливо перенося лишения, и Ирина, обернулась невестой хоть куда. Каких-либо сведений о её житье-бытье с конца 1760-х и до начала 1780-х годов нет. Только в очередной исповедной росписи 1767 года искоркой мелькает имя крепостной девки (получившей 156-й номер), да и то возраст её указан грамотеем неверно[83].

А девка, трудившаяся до умопомрачения, всё ж таки не сникла, не зачерствела душою, не утратила интереса к жизни и её чудесам. Она была прекрасной певуньей, заводилой на деревенских посиделках, гуляньях и разудалых игрищах, которые проходили в парке, под сенью «вековых дубов и лип в два обхвата», или подле суйдовского пруда. Характерно: на одном из пушкинских рисунков 1828 года наша героиня запечатлена молодой, статной, круглолицей и весёлой, в сарафане и кокошнике[84], с пышной *косой,* покоящейся на девичьем плече. Думается, что этот графический профильный образ был навеян рассказами самой няни о былых временах. Свою юность неуимчивая[85] крестьянка и спустя полвека вспоминала с тёплым чувством; это отмечено, в частности, поэтом Николаем Языковым, который, познакомившись с Родионовной, писал о ней:

К своей весне переносилась Разгорячённою мечтой…

Уместно привести тут и слова самого Пушкина из письма к жене от 25 сентября 1835 года: «…Могу я сказать вместе с покойной няней моей: хорош никогда не был, а молод был» *(XVI, 51)*. В няниной поговорке (ассоциирующейся с крылатым латинским *Fuimus,* что означает *Мы были)* слышится не только тоска по минувшему, но и довольство теми дарованными и невозвратными днями.

Грамоте она так и не обучилась — зато постигла иную, более высокую, науку: прониклась духом своего народа. От матери и стариков-соседей узнавала и запоминала Ирина сказки, былины, песни, поговорки и пословицы, «повести сказочно-бытового и демонологического характера: о разбойниках, привидениях, домовых, русалках и т. д.»[86]. Узнав же, начинала пересказывать или петь сама: сперва младшим братьям и сёстрам, потом кобринской детворе, подружкам. «…Весь сказочный русский мир был ей известен как нельзя лучше, — утверждал впоследствии пушкинист, — и передавала она его чрезвычайно оригинально»[87].

…Мастерица ведь была

И откуда что брала.
А куды разумны шутки,
Приговорки, прибаутки,
Небылицы, былины
Православной старины!.. *(III, 308)*.

Где-то царствовала мудрая Екатерина, во дворцах заседали созванные Фелицею комиссии, шли войны с врагами внешними и ворами внутренними — в Суйде же самодержавно правил, принимал уложения, казнил и миловал рабов чёрный барин. И его генеральское слово, невзначай брошенное во время прогулки по тенистой липовой аллее, бывало для крепостных душ весомее, нежели длинные столичные манифесты, которые иногда оглашались с паперти.

А стоявший в парке каменный диван Абрама Петровича, высеченный из огромного валуна, крестьяне принимали за некоего зловредного лешака и, загодя крестясь, обходили стороной.

Генерал А. П. Ганнибал, увы, старел и всё больше сдавал: терял зрение, мучился от жестокой подагры. Подступали сроки — и наконец он, восьмидесятилетний, решил составить завещание. Оно было учинено в суйдовской церкви Воскресения Христова 13 июля 1776 года, в присутствии необходимых свидетелей, домочадцев старика и его духовного отца (иерея Сергия Романова), и не мешкая передано в Юстиц-коллегию. Согласно этому документу, движимое и недвижимое имение Абрама Петровича разделялось между его сыновьями — Иваном, Петром, Иосифом и Исааком Ганнибалами, которые, правда, могли вступить во владение наследством лишь после смерти жены генерала, Христины Матвеевны (Христины-Регины). Дочерям же (Софье, Елизавете и Анне) по данной духовной в земельных владениях было полностью отказано («совсем дела нет»)[88].

Из текста завещания следовало, что господином Ирины Яковлевой в недалёком будущем мог стать Иван Абрамович Ганнибал, так как именно к нему, по воле завещателя, отходила Суйда «со всеми ж ко оной мызе принадлежащими деревнями, что в них имеется мужеска и женска пола душ»[89].

По неясным причинам принявшие участие в процедуре составления Ганнибалова завещания не указали Ибрагиму на то, что подписанная им бумага вряд ли будет иметь юридическую силу: ведь она следовала нормам Петровской эпохи (в частности, установлению 1714 года о майорате), столь любезным арапу, которые были, однако, отменены высочайшим указом 1731 года.

Оттого и раздел ингерманландского имущества между наследниками Абрама Петровича произошёл спустя несколько лет совсем не гладко, не по сценарию упорствующего генерала.

Христина Матвеевна Ганнибал скончалась в феврале или марте 1781 года[90]. А 14 мая того же года завершил свои дни (вследствие «главной» болезни) и восьмидесятипятилетний Абрам Петрович[91]. Супруги, прожившие бок о бок сорок восемь лет, были, по-видимому, и похоронены рядом, в суйдовском храме или подле него.

Тогда же произошли важные события в жизни Ирины Яковлевой: она была засватана и обрела мужа, а вместе с мужем, как потом выяснилось, — своеобычную линию судьбы.

В конце зимы Ирину, которой шёл двадцать третий год, выдали замуж за крестьянина из Кобрина Фёдора Матвеева. Вероятно, жених был старше невесты на два года[92].

Венчались они всё в той суйдовской церкви Воскресения Христова, о чём в метрической книге храма за 1781 год (в части второй — «О бракосочетавающихся» <*sic*>) была сделана 5 февраля соответствующая запись (под № 5). В графе «Кто имяны венчаны» указано следующее: «Деревни Кобрина крестьянской сын отрок Фёдор Матфеев, деревни Суйды с крестьянскою дочерью, девкою Ириньею Родионовой, оба первым браком». А из другой записи становится ясно, что при совершении обряда поручителями выступили («кто по ним поруки подписались») крестьяне «деревни Таиц Кузма Никитин, Ефим Петров, Семён Родионов, Ларион Кирилин»[93].

Других достоверных сведений о замужестве Ирины как будто нет. Но существует стихотворный текст Пушкина, который можно использовать в качестве комментария к суйдовскому браку 1781 года.

В декабрьском письме 1824 года, адресованном одесскому чиновнику Д. М. Шварцу, Пушкин мимоходом сообщил, что его собственная няня является «оригиналом няни Татьяны» *(XIII, 129, 404)* из «Евгения Онегина». А романная няня Филипьевна (Фадеевна в черновиках и беловиках произведения, Филатьевна в издании 1837 года), как известно, поведала Татьяне Лариной невесёлую историю своего замужества. Впрочем, далеко идущих выводов отсюда делать не стоит: описывая бракосочетание Филипьевны, поэт, вероятно, исходил из общих, *типологических* представлений о крестьянских союзах той поры:

> XVIII.
> — И, полно, Таня! В эти лета

Мы не слыхали про любовь;
А то бы согнала со света
Меня покойница свекровь. —
«Да как же ты венчалась, няня?»
— Так, видно, Бог велел. Мой Ваня
Моложе был меня, мой свет,
А было мне тринадцать лет.
Недели две ходила сваха
К моей родне, и наконец
Благословил меня отец.
Я горько плакала со страха,
Мне с плачем косу расплели,
Да с пеньем в церковь повели.
XIX.
И вот ввели в семью чужую… *(VI, 59)*.

В пушкинском беловике имеется лишь одно существенное отличие от приведённого канонического текста: там невесте начислено «15 лет» *(VI, 579)*.

Легко убедиться, что реальные факты биографии Родионовны плохо уживаются с романными: к моменту бракосочетания Ирины Яковлевой её отца уже давно не было в живых, «отрок» Фёдор Матвеев превосходил суженую годами, да и возраст венчавшихся в Суйде заметно отличался от указанного в «Евгении Онегине» возраста крестьянской пары. Частности «правды» и «поэзии» зримо разнятся — однако определенного сходства этих двух замужеств все же нельзя исключить.

Мы допускаем, к примеру, что шедшая под венец Ирина разделила участь многих холопок и, действительно, ничего «не слыхала про любовь»: сговориться и принять решение за девушку могли, скажем, мать Лукерья и родственники жениха. Могли выдать её замуж и, что называется, «по страсти»[94]. Ещё более вероятно, что у храма Воскресения Христова подружки (или сватья) плачущей невесты расплели её пышную *косу* и затем связали освобождённые волосы лентою на затылке. Таков был обычай: замужние женщины носили уже две косы, причём за пределами своего дома или в присутствии чужих людей им предписывалось держать голову покрытой[95].

О горе, горе!
То невестино!
О горе, горе!
Ты невестушка,
О горе, горе!

Ты ластушка!
О горе, горе!
Оглянись-ко ты назад,
О горе, горе!
Что подружек-то стоят!
О горе, горе!
Что подружки говорят,
О горе, горе!
Что наказывают,
О горе, горе!.. *(XVII, 376)*.

Сразу после венчания Фёдор Матвеев забрал Ирину из Суйды и перевёз в Кобрино, «в семью чужую». Своих хором у молодых супругов не было и не предвиделось, и они «поселились вместе с семьёй Онисья Галактионова и Ефросиньи Андреевой, имевших четырёх детей»[96].

Отныне молодке Ирине надлежало трудиться пуще прежнего и — сверх того — всячески доказывать, что «и крестьянки любить умеют».

Летом 1782 года власти произвели раздел имущества, принадлежавшего усопшему «арапу Петра Великого». В нарушение его воли две тысячи крепостных душ в Петербургской и Псковской губерниях, каменный дом в Северной столице и 60 тысяч рублей наличных денег были распределены между четырьмя генеральскими сыновьями и тремя дочерьми (покойником обделёнными).

Мыза Суйда вкупе с селом Воскресенским, а также деревни Мельницы и Пижни отошли к Ивану Абрамовичу Ганнибалу, старшему из братьев. Таким образом, родные Ирины Матвеевой (в девичестве Яковлевой) стали его собственностью. По ревизской сказке 1795 года, в Софийском уезде Санкт-Петербургской губернии, в «вотчине господина генерал порутчика и разных ординов ковалера Ивана Абрамовича Ганнибала» дворовых людей и крестьян числилось («с прибылыми и вновь рождёнными») 350 душ мужского и 342 женского пола[97].

Сама же Ирина формально тогда оказалась крепостной третьего сына чёрного генерала, тридцативосьмилетнего Осипа (или Яннуария, как звали его в семье) Абрамовича Ганнибала (1744–1806), которому при разделе достались (в числе прочего) деревня Кобрино и мыза Руново. По данным ревизии 1782 года, там в общей сложности проживало 215 крестьян и дворовых[98].

К указанной поре дед поэта, дослужившийся до чина морской

артиллерии капитана второго ранга, успел побывать и заседателем псковского Совестного суда, и советником Псковского наместнического правления (1778), и советником Петербургского губернского правления (1780). Попутно он весьма преуспел и на иных поприщах. Осьмнадцатый век был богат на чудаков и оригиналов всякого рода — и «дюжий» Осип Абрамович занимал в этой когорте место на правом фланге. Недаром Пушкин писал (уже в 1830-е годы) о его «невоздержанной жизни» и со вздохом констатировал: «Африканский характер моего деда, пылкие страсти, соединённые с ужасным легкомыслием, вовлекли его в удивительные заблуждения» *(XII, 314)*.

В 1773 году он, проигнорировав волю отца, женился в Липецке (куда приехал для осмотра казённых чугунных заводов) на Марии Алексеевне Пушкиной, двадцативосьмилетней девице, дочери отставного капитана и тамбовского помещика. Спустя два года у Ганнибалов родилась дочь Надежда. Однако согласия в семью она не принесла: «Ревность жены и непостоянство мужа были причиною неудовольствий и ссор…» *(XII, 314)*. В 1776 году Яннуарий Абрамович, забрав младенца, покинул жену. Ребёнка он сдал в Красном Селе «приятелю господину маэору и управителю Александр Осиповичу Мазу»[99], а сам предался занятиям романтическим и довольно рискованным.

Вскоре О. А. Ганнибал сошёлся с жительницей Пскова, вдовой капитана и новоржевской помещицей У. Е. Толстой (урождённой Шишкиной), и женился на ней, «представя фальшивое свидетельство о смерти первой» *(XII, 314)* супруги. Но обман открылся, псковский архиерей разлучил горе-любовников, — и об амурном подвиге «сорвиголовы» (П. В. Анненков), а также об обострившихся имущественных разногласиях между Осипом Абрамовичем и Марией Алексеевной в 1784 году стало известно императрице Екатерине II.

Та рассудила дело, как водится, по справедливости, вернула дочь матери, объявила второй брак любвеобильного моряка незаконным и отправила двоежёнца на корабль российского флота: «дабы он службою погрешения свои наградить мог». По высочайшему указу Руново и Кобрино были переданы малолетней Надежде Осиповне Ганнибал и взяты под опеку. Попечительницей объявили соломенную вдову Марию Алексеевну Ганнибал, а опекунами — Петра Абрамовича Ганнибала и Михаила Алексеевича Пушкина (брата М. А. Ганнибал).

Вернувшись со службы, Осип Абрамович вынужден был поселиться в псковском сельце Михайловском, которое также перешло к нему по семейному разделу 1782 года. Он не смирился с потерей владений в Софийском уезде Петербургской губернии и

в течение многих лет тщился вернуть себе Кобрино и Руново. (Достойно внимания, что в ревизской сказке 1795 года, завизированной «служителем Фирсом Лукьяновым сыном Вороновым», деревня и мыза с приписанными к ней 208 крестьянами и дворовыми по-прежнему считались его вотчиной[100].) Однако все его обращения к императрице и прочие юридические манёвры и хитрости так и не принесли никаких результатов.

Завершая мемуарный рассказ о семейных неурядицах О. А. и М. А. Ганнибалов, Пушкин писал: «30 лет они жили [розно.] <… > Смерть соединила их. Они покоятся друг подле друга в Святогорском монастыре» *(XII, 314)*. Добавим к этим словам мнение А. И. Ульянского, изучившего в XX веке архивные документы: «В споре обоих супругов крестьяне Кобрина были на стороне Марьи Алексеевны и очень усердно и дружно отстаивали интересы „малолетной Надежды Осиповны“, чем навлекали на себя жалобы со стороны Осипа Абрамовича»[101].

Впрочем, и распалявшегося Осипа Абрамовича простолюдины иногда аттестовали «добрым барином». Так говорила о нём, в частности, одна из крестьянок в беседе с поэтом и переводчиком Н. В. Бергом[102]. И что особенно любопытно, эта крестьянка была дочерью той самой крепостной бабы, чьё имя восходило к греческому слову *мир*.

Через год после замужества, в марте 1782 года, Ирина произвела на свет сына Егора. Спустя ещё несколько лет, в 1788 и 1789 годах, в семействе Фёдора Матвеева появились две дочери, погодки: сперва родилась Надежда, следом Марья[103].

Теперь Матвеевы вынуждены были покинуть тесное прежнее пристанище и обосновались в кобринском доме стариков Давида Варфоломеева и Ксеньи Григорьевой (с которыми под одним кровом жительствовал их женатый сын).

Матвеевские дети потихоньку росли — а где-то далеко, за горизонтом, подрастала и Наденька Ганнибал. Она обосновалась с Марией Алексеевной в огромном Петербурге, обучалась там наукам и изящным манерам, но летом матушка и дочь часто наведывались в Руново. Заглядывали они проездом и в Кобрино. Возможно, Ирине Матвеевой довелось не только видеть своих благовоспитанных хозяев, но и познакомиться с ними поближе уже в восьмидесятые годы.

Рутинными делами в вотчине долгое время ведал староста, не обученный грамоте Филипп Трофимов. Он подчинялся полковнику и статскому советнику М. А. Пушкину, который подолгу пребывал в Кобрине и посему почитался в округе за

главного опекуна. Правда, помещиком Михаил Алексеевич был никудышным, в хозяйстве толком не разбирался, и вверенное его призору поместье в 600 десятин на глазах приходило в упадок.

Хотя барщина, существовавшая тут со времён «чёрного генерала», и была заменена опекуном на прогрессивный «оброк лёгкий», доходы от имения неизменно падали («оставались в недоборе»). Очевидно, О. А. Ганнибал не очень-то и кривил душой, когда доносил императрице Екатерине Алексеевне в Петербург: «Михайло Пушкин <…> не радит о пашне и тем доводит крестьян до сущей бедности, о чём в дворянскую опеку и губернскому правлению прошения неоднократно были подаваны»[104]. В годы правления М. А. Пушкина смертность среди крепостных заметно превысила рождаемость, случались и бегства дворовых людей.

Ирина Матвеева не роптала, она была сызмальства привычна к беспросветной нужде — но тогда, в конце восьмидесятых и самом начале девяностых годов, ей и её малолетним детям пришлось, похоже, тяжко.

В 1791 году Михаил Алексеевич задумал жениться и 15 сентября обвенчался в суйдовском храме Воскресения Христова с девицей Анной Андреевной Мишуковой. Супруги поселились тут же, в Кобрине. Но помещичье счастье их было недолгим: по весне благоверный занемог, слёг и вскоре, 18 апреля 1792 года, скончался от «горячки»[105]. А через полтора месяца безутешная новоиспечённая вдова разрешилась от бремени сыном, которого окрестили Алексеем[106].

Эта драма коренным образом изменила дальнейшую жизнь Ирины Матвеевой.

По распоряжению Марии Алексеевны Ганнибал она была определена в дом надевшей траур А. А. Пушкиной — скорее всего, в качестве няньки[107]. За младенцем требовался уход, за домом тоже, а крепостная баба, видимо, давно уже приглянулась барыне, да и кобринские крестьяне в один голос отзывались о Матвеевых с одобрением.

Отрядив Ирину в услужение к А. А. Пушкиной, Мария Алексеевна не прогадала. Та работала на совесть, ребёнок был окружён постоянной заботой, рос жизнерадостным и болел нечасто. И мать Алексея Пушкина, и сама М. А. Ганнибал не имели повода усомниться в преданности крестьянки.

В награду за труды Ирину и её семью переселили из дома Варфоломеева (где негде было и яблоку упасть) в отдельную избу. Из ревизской сказки, составленной в мае 1795 года, мы узнаём, что «деревни Кобриной крестьяня» Матвеевы жили уже собственным двором. Согласно этому же документу, главе

семейства Фёдору стукнуло тридцать девять лет, его детям Егору, Надежде и Марье было соответственно тринадцать с половиной, семь и четыре года[108].

А жене Фёдора в ревизию начислили 37 лет[109] — и здесь неграмотный староста не оплошал: Ирине Матвеевой и впрямь шёл тогда тридцать восьмой год.

Лишь на исходе четвёртого десятка у неё появился-таки свой угол — да и тот обжить, обустроить как следует Ирине не довелось.

В 1796 году в столице взошёл на престол император Павел Петрович, сын Екатерины, с ходу попытавшийся круто изменить государственные порядки. В народе шёпотом заговорили, что человеколюбивый царь ополчился на бояр и сильно печалуется о низших классах населения. Толика истины в подобных слухах присутствовала, — однако будущее Ирины определил не «романтический император», а совсем другие лица и связанные с этими лицами события.

Необыкновенно похорошевшей Наденьке Ганнибал исполнился двадцать один год — и она в одночасье стала невестой. Жениха подыскали тут же, в Петербурге: счастливцем оказался капитан-поручик лейб-гвардии Егерского полка Сергей Львович Пушкин, давний знакомый Ганнибалов и, сверх того, их родственник (Надежда Осиповна приходилась ему внучатой племянницей). И. А. Ганнибал, благословляя сияющую девицу, удовлетворённо отмечал, что означенный офицер «не очень богат, но весьма образован»[110].

Венчались молодые в подгородном имении, в памятной и для нашей героини церкви Воскресения Христова. Это случилось 28 сентября 1796 года.

В метрической книге суйдовского храма была сделана соответствующая запись (под № 2; по обыкновению, с огрехами). В графе «Кто имены венчаны» там начертано: «Лейб гварди Измаиловсъкаго полку порутчик отрок Сергей Львович сын Пушкин, артилерии морской „2“-го ранга капитана Осифа Абрамовича Генибала з дочерью ево девицей Надеждой Осиповой, оба первым браком». В графе же «Кто порукам подписывались» фигурируют такие солидные имена: «Генерал порутчик и ковалер Иван Абрамович Генибал, пример майор Павел Фёдоров сын Малиновскин»[111].

Вполне возможно, что Ирина наблюдала эту знакомую и всегда волнительную церемонию, а потом прислуживала почётным гостям за шумным праздничным столом в усадьбе. Ведь ганнибаловские дамы уже фактически держали её за «столбовую»

крепостную и, видимо, даже порою величали чудно — Ариной. (Имена дворовых тогда переиначивались на иностранный манер чуть ли не в каждой дворянской семье. Вспомним в этой связи, что даже у простецких помещиков Лариных девка Акулька по прихоти бригадирши в один прекрасный день стала Селиной. — *VI, 46.)*

На исходе того же 1796 (или в начале 1797-го) года в Суйде скончалась Лукерья Яковлева, которая провела свои последние годы в доме старшего сына Семёна. Нам неведомо, удалось ли дочери Ирине попрощаться с матерью или побывать на её свежей могиле. Зато из исповедной росписи суйдовской церкви за 1797 год (тут, заметим, крестьяне Кобрина записаны за «вотчиной господина порутчика Сергея Львовича Пушкина»[112]) выясняется другая важная биографическая подробность.

В списке прихожан храма Воскресения Христова, где священником тогда был Симеон Трофимов, указаны все члены семьи Матвеевых. Но Фёдор и трое его детей «исповедались токмо», а «у святаго причастия» не были «за нерачением» — иначе говоря, по лености или небрежению. Ирина же Родионова, «38 лет»[113], *была* — она, скорее всего, исповедовалась и причастилась, как и полагалось, «во Святую Великую Четыредесятницу»[114], то есть во время Великого поста[115]. Таким образом, мы узнаём, что в конце зимы и начале весны 1797 года Ирина Матвеева ещё находилась в Кобрине.

А летом стало окончательно ясно, что в семье С. Л. и Н. О. Пушкиных должен вскорости появиться первенец. Начались положенные суетливые приготовления, пошли разговоры о кормилице и нянюшках. Всем верховодившая Мария Алексеевна выразила уверенность, что наиболее подходящей кандидатурой на роль няньки была бы Ирина из Кобрина, вернее, Арина — и дети, тоже запомнившие прилежную кобринскую бабу, вполне с матушкою соглашались. На том семейный совет и порешил: вытребовать «опытную и усердную» крестьянку в Петербург.

Через нарочного Ирине Матвеевой было приказано собираться в город — и она кротко подчинилась барской воле. Возможно, в ту пору Ирина Родионовна была брюхатой.

Дорога в столицу была тяжёлой и грустной. В Кобрине остались неприкаянный супружник и трое её детей, в Суйде — братья и сёстры Ирины. С некоторыми из них ей уже никогда не довелось увидеться.

Середина тернистого Ирининого пути давно была пройдена — и приближались сумеречные предзакатные годы.

В эти годы многие устают жить и покорно доживают — а она обрела ненаглядных «пушкинят».

Шла ли, ехала ли крестьянская дочь «из толщи народа русского» в град Петров — сие разве что Богу ведомо. Только вся она истомилась дорогой, тряпицу с денежкой насилу уберегла, котомкою спину зело натрудила. По пути могилки родные поминала, о кровинках сиротствующих слезу украдкою роняла.

А как явилась в град великий и хмурый — так в ножки старой и молодой барыням и пала. Барыни-княгинюшки странницу враз приветили, с колен подняли да и приголубили.

И стала наша нянюшка Арина с той поры в доме каменном жить-поживать, господ своих трудами ублажать, оберегом для хозяйских крох быть…

Глава 3
«ПУШКИНЯТА»

…Она сделалась общею нянею.

О. С. Павлищева

Незадолго до Рождества, 20 декабря 1797 года, Надежда Осиповна Пушкина благополучно разрешилась от бремени дочерью Ольгой. Арина же Родионовна к тому времени уже обжилась в небольшом петербургском домике Марии Алексеевны Ганнибал (притулившемся в Измайловском полку[116]) и радовалась событию вместе с родителями и бабушкой. Однако мы так и не знаем доподлинно, *кем* стала наша героиня для новорожденного ребёнка.

Спустя много лет её дочь Марья Фёдорова сказала уже упоминавшемуся Н. В. Бергу, что именно Арина Родионовна «выкормила Ольгу Сергеевну»[117]. Данное сообщение А. И. Ульянский принял всерьёз и выдвинул довольно спорную, но всё-таки достаточно аргументированную гипотезу.

В ходе изучения и сопоставления различных исповедных ведомостей и ревизских сказок рубежа XVIII и XIX столетий он установил, что Ирина Родионова Матвеева, по всей видимости, в самом конце 1797-го или в начале 1798 года произвела на свет сына Стефана[118]. Так как соответствующей записи о рождении крестьянского отпрыска в метрической книге суйдовской церкви Воскресения Христова сделано не было, то биограф резонно предположил: младенец родился вовсе не в Кобрине, а вдали от мужа и семьи Ирины, то есть уже «в Петербурге, в доме Пушкиных»[119]. В таком случае вызванная из деревни Ирина, действительно, могла стать кормилицей, «мамушкой» Оленьки Пушкиной.

Стоит напомнить читателю, что крестьянской дочери Ирине-Арине вот-вот должно было исполниться ни много ни мало сорок лет.

Прочие исторические источники вроде бы никак не подтверждают версию биографа. Сама Ольга Сергеевна и через полвека величала Арину Родионовну только «нянею»[120]; то же самое говорили её сын Л. Н. Павлищев[121] и А. Ю. Пушкин (двоюродный дядя поэта, назвавший Ирину Матвееву «опытной и усердной нянькой»[122]).

Ещё более весомым кажется свидетельство Н. О. Пушкиной. В письме (на французском языке) от 4 января 1835 года к дочери

Ольге (ставшей тогда матерью) Надежда Осиповна, беспокоясь о здоровье внука Леона, вспомнила к месту и давнишний собственный опыт. «…Благодаря заботам и предосторожностям, которые ты приняла, — писала Н. О. Пушкина, — он наверняка не будет косить, а это часто случается с маленькими детьми; зрение у них ещё слабое, взгляд не может быть таким, как у взрослого, и, кормя, надо закрывать им глаза, что я всегда делала, и нянька твоя звала тебя *Занавесная Барыня*»[123]. Иными словами, Надежда Осиповна однозначно заявила, что она *сама* выкормила свою старшую дочь, а Арина была лишь «приставленной» к Ольге няней, ухаживавшей («ходившей») за младенцем.

Кстати, меткое шутливое прозвище девочки — «Занавесная Барыня» — надо, вероятно, считать самыми ранними из дошедших до нас слов Арины Родионовны.

Итак, версия А. И. Ульянского не подкрепляется сведениями из пушкинского семейного кружка — но версия и не опровергается ими. Суть в том, что в дворянских семьях, ожидавших прибавления, зачастую перестраховывались и загодя обзаводились кормилицей (или даже кормилицами) — так сказать, «на всякий случай». Скорее всего, подыскивали таковую бабу и Пушкины с Марией Алексеевной Ганнибал — и известие о беременности Арины Матвеевой, хорошо себя зарекомендовавшей крестьянки из близкого Кобрина, подоспело в Петербург как нельзя кстати. После же рождения Ольги Пушкиной Арина вполне могла быть при Надежде Осиповне временной («про запас») кормилицей, а потом уже превратилась в безоговорочную няньку.

Более точных данных об *изначальном* статусе Арины Матвеевой в доме Пушкиных мы, по всей видимости, уже не получим. Ничего не знаем мы и о том, когда её сын Стефан был отправлен из Петербурга в Кобрино, к отцу[124]. Зато хорошо известно, что Арина сразу и навсегда, как родную, полюбила малютку Олю, свою «голубушку» *(XIII, 209)*. Собственных детей крестьянка могла голубить разве что в мыслях, тоскливых и неотступных…

Чета С. Л. и Н. О. Пушкиных отличалась какой-то повышенной, прямо-таки безудержной непоседливостью, причём особенной егозой, по мнению современников, была Надежда Осиповна. «Она терпеть не могла заживаться на одном и том же месте и любила менять квартиры, — вспоминал внук, — если переезжать, паче чаянья, было нельзя, то она превращала, не спрашивая Сергея Львовича, снисходившего к её причудам, кабинет его в гостиную, спальню в столовую и обратно, меняя обои, переставляя мебель и прочее»[125]. Сергей Львович не только потакал начинаниям суетной супруги, но порою и сам был не

прочь инициировать какое-либо подновляющее быт предприятие. Поэтому немудрено, что в ещё не устоявшейся жизни родственных душ вскоре после венчания и рождения дочери начались пертурбации.

Эти перемены напрямую коснулись и Арины Матвеевой, которая по прихоти господ не единожды меняла в конце XVIII — начале XIX века своё местопребывание. Но если маршруты и адреса Пушкиных и попечительной М. А. Ганнибал в общем-то прослеживаются и по большей части датируются, то детальная реконструкция вынужденных странствий крепостной бабы сопряжена со значительными трудностями. Некоторые эпизоды её биографии, как будет показано далее, поддаются лишь приблизительному толкованию.

Ещё весной 1797 года капитан-поручик С. Л. Пушкин оказался со своим «лейб-гвардии Егерским баталионом» в Москве, где переведённая из Северной столицы гвардия принимала участие в апрельских торжествах по случаю коронования императора Павла I Петровича. Тогда же Сергей Львович свиделся с обширной московской роднёй и обсудил с нею ряд имущественных дел и своё собственное будущее. Пушкины договорились о продаже принадлежащего им крупного городского владения на Божедомке и приобретении взамен него более скромной усадьбы в Москве. Они также решили, что Сергей Львович, тяготившийся неспокойной военной службой, незамедлительно выйдет в отставку и переберётся на жительство в Первопрестольную.

С тем удовлетворённый С. Л. Пушкин и отбыл в Петербург.

Высочайший указ о его увольнении от службы и причислении «к Герольдии для определения к статским делам» был подписан уже 16 сентября 1797 года[126]. Через три месяца у Пушкиных родилась Ольга. Когда же она чуть окрепла, родители заторопились в Москву.

С ними туда отправилась и Арина Матвеева.

По предположению С. К. Романюка, Пушкины сначала поселились у Ольги Васильевны Пушкиной, матери Сергея Львовича, в Малом Харитоньевском переулке[127]. Уже ближе к осени 1798 года беспокойные супруги наняли собственную квартиру — на Малой Почтовой улице, в доме И. В. Скворцова.

Тут, в Немецкой слободе, в один прекрасный день и появился на свет младенец Александр Пушкин, впоследствии прославивший и себя, и Арину Матвееву.

Надежда Осиповна родила его 26 мая 1799 года, в двунадесятый праздник Вознесения Господня. Над Москвой тогда вовсю гудели колокола. А спустя несколько дней в метрической

книге церкви Богоявления в Елохове была сделана следующая запись: «Во дворе колежскаго регистратора Ивана Васильева Скварцова у жилца ево Моэора Сергия Львовича Пушкина родился сын *Александр* крещён июня 8 дня восприемник Граф Артемий Иванович Воронцов кума мать означеннаго Сергия Пушкина вдова Олга Васильевна Пушкина»[128].

Арина Матвеева «ходила» тогда за полуторагодовалой Оленькой — а в няньки к новорожденному определили другую крепостную Пушкиных — тридцатидвухлетнюю вдову Улиану (Ульяну) Яковлеву.

И здесь, во избежание путаницы в повествовании об Арине Родионовне, мы должны сделать небольшое отступление о *няньках* будущего поэта.

Подчеркнём: речь пойдёт именно о *няньках*. Их у Александра, как выяснилось, было несколько — и всякая выполняла *свои* обязанности при ребёнке. Лишь определив в точности функции каждой из этих нянюшек, мы сможем получить более или менее верное представление о *формальном* статусе Арины Родионовны в доме и (что особенно важно) о её *фактической* роли при маленьком Пушкине.

Родившаяся в 1767 (или в 1768-м) году Ульяна Яковлева стала, как уже сказано, самой первой нянькой Александра. Она мельком упоминается в мемуарах пушкинской сестры Ольги Сергеевны Павлищевой. Сверх того, занесена «вдова Ульяна Яковлева», «35 лет» (позднее — «37 лет»), и в исповедные росписи московских храмов за 1803–1808 годы[129]. А совсем недавно С. К. Романюку удалось установить, что крестьянка скончалась на Большой Молчановке, в очередном доме («доме священника»), который снимали С. Л. и Н. О. Пушкины. Это случилось 15 мая 1811 года[130]. Выходит, что баба до последнего вздоха исправно служила своим господам и их деткам, и тут в кои-то веки надлежит согласиться с В. В. Набоковым, который писал: «Итак, давайте помнить Арину, но не забудем при этом и добрую Ульяну»[131].

Помянем добрым словом и её товарку. В конце 1860-х годов в печати вдруг появились сообщения о том, что у Александра Пушкина была в Москве и «вторая няня», или «помощница няни», по имени Екатерина Николаевна. С небольшими заметками на данную тему выступили во «Всеобщей газете» сразу два автора — писатель и переводчик Ф. Б. Миллер и некий Д. Они рассказали, что эта «очень ветхая старушка», большая охотница до сказок, ещё жива и нашла себе приют в московской Набилковской богадельне. Память тогда уже не повиновалась «нянюшке», и о детстве поэта она мало что могла поведать (хотя кое-что в итоге всё-таки

вспомнила). Выглядела почти ослепшая Екатерина Николаевна лет этак на девяносто; словом, была лет на двадцать моложе Арины Родионовны и примерно на десять — Ульяны[132].

Указанные газетные публикации не в почёте у пушкинистов и цитируются ими нечасто и неохотно, однако сам факт существования у «Александра Сергеича маленького» официальной «второй няни» так и не был, кажется, никем оспорен. Тем самым её наличие у ребёнка можно, по-видимому, считать доказанным.

Но если у недавно родившегося Александра Пушкина имелось целых две няньки, то была ли *няней* при нём — *третьей* няней — и Арина Матвеева? На этот вопрос мы ответим отрицательно и отошлём сомневающегося читателя к воспоминаниям О. С. Павлищевой, которая определила *формальный* и *фактический* статус нашей героини в доме Пушкиных в период между 1797 и 1805 годами кратко и весьма точно.

Для самой Ольги Сергеевны Арина Родионовна — безусловная, во всех смыслах этого слова, «няня»; точно такая же, какой была Фадеевна для Ольги (или, в переделанном варианте беловика, для Татьяны) Лариной. В черновых и беловых рукописях второй главы «Евгения Онегина» красочно и довольно полно изложены обыденные нянины функции:

> Фадеевна рукою хилой
> Её качала колыбель
> Она же ей стлала постель
> Она ж за Ольгою ходила
> Бову рассказывала ей
> Чесала шёлк её кудрей
> Читать — *помилуй мя* — учила
> Поутру наливала чай
> И баловала невзначай *(VI, 566; выделено Пушкиным)*.

Нянькой стала крестьянка Ирина и для явившегося в мир в 1805 году пушкинского братца Льва: «Арине Родионовне поручено было *ходить* за ним». Но за Александром-то *«ходила* другая, по имени Улиана». То есть предписанных *няньке* обязанностей по *уходу* за барчуком Арина Родионовна не выполняла — и, значит, формально *нянькою Александра Пушкина она не была.*

Зато несколько позже крепостная баба, по выражению О. С. Павлищевой, *«сделалась* нянею для брата», хотя по-прежнему (тут мы вынуждены повториться) «за ним *ходила* другая»[133][134].

Так что в «официальных», выбранных родителями, няньках Александра Пушкина Арина Родионовна не состояла. Не её сделали — она «сделалась» нянею для мальчика, да не простою, а *душевною.* Умела Арина Матвеева «ходить» за душою человеческой, особливо детской, — вот и потянулась к ней пробуждавшаяся пушкинская душа.

О. С. Павлищева писала, что Александр Сергеевич любил Арину Родионовну «с детства»[135]. По всей вероятности, уже в изначальной картине мира, постепенно проступавшей в сознании ребёнка, та присутствовала в качестве *няни.* Так, в <«Программе автобиографии»> (1830 или 1833), составленной в хронологической последовательности, читаем: «Первые впечатления. Юсупов сад[136]. — Землетрясение[137]. — Няня. <…>. — Рожд<ение> Льва…» *(XII, 308)*. Отсюда вытекает, что Александр Пушкин уже задолго до рождения Лёвушки, приблизительно в три-четыре года, записал Арину Родионовну в *свои* няни.

Возможно, он, набрасывая в начале тридцатых годов план мемуаров, был не совсем справедлив по отношению к Ульяне Яковлевой: ведь назначенная-то старшими нянька на заре XIX века никуда не делась, жила в доме и продолжала исправно «ходить» за ним, тогда тучным и молчаливым малышом. Но чуть позже поэт, как нам думается, всё же исправился и обмолвился о своей давно почившей первой няньке.

В доме на Малой Почтовой Пушкины прожили, скорее всего, до осени 1799 года. Сергей Львович сибаритствовал, флиртовал с музами и идти в ту или иную службу покуда не собирался. А осенью, когда во владениях И. В. Скворцова начался капитальный ремонт[138], Пушкины в одночасье подхватились — и двинулись на север, в Опочецкий уезд Псковской губернии. Отправились туда всем домом, вместе с детьми и дворовыми людьми. «В конце того же года, — вспоминал А. Ю. Пушкин, — возвратись из похода в Москву, я уже Сергея Львовича с семейством не застал; они уехали к отцу своему Осипу Абрамовичу в Псковскую губернию, в сельцо Михайловское…»[139]

Из Михайловского Пушкины поехали в Петербург, где их поджидала М. А. Ганнибал, снявшая для детей и внуков квартиру в «Литейной части в доме под № 70»[140]. В тот период Мария Алексеевна хлопотала о продаже Кобрина и Рунова и, столкнувшись с бюрократическими сложностями, настоятельно нуждалась в помощи и моральной поддержке дочери и зятя.

Арина же Матвеева была отпущена хозяевами на родину, в Суйду и Кобрино, для свидания с детьми, мужем и

родственниками. Её имя фигурирует в исповедной ведомости суйдовской церкви Воскресения Христова за 1799 год, где крестьянка показана бывшей на исповеди, но не причащавшейся «за нерачением»[141]. По-видимому, Арина Родионовна исповедовалась уже в филипповки, то есть во время Рождественского поста, начинавшегося 14 ноября.

При Александре Пушкине, которому едва исполнилось полгода, в Петербурге находилась, как и полагалось, Ульяна Яковлева. Никаких особенных тревог за здоровье младенца ни у неё, ни у родителей с бабушкой не было. Зато спустя несколько месяцев, предположительно в конце весны или в начале лета 1800 года, когда Пушкин стал «годовым ребёнком»[142], с «дитятей» произошло нечто экстраординарное[143].

«Была ли при этом случае с маленьким Александром Арина Родионовна или Ульяна Яковлева, трудно сказать», — признался А. И. Ульянский[144].

В принципе мы согласны с учёным — и всё же попробуем уточнить детали случившегося.

В 1874 году П. В. Анненков, почерпнувший немало сведений от родственников поэта, в книге «Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху» впервые поведал публике о встрече малыша Пушкина с грозным императором Павлом I:

«Няня его встретилась на прогулке с государем Павлом Петровичем и не успела снять шапочку или картуз с дитяти. Государь подошёл к няне, разбранил за нерасторопность и сам снял картуз с ребёнка, что и заставило говорить Пушкина впоследствии, что сношения его со двором начались ещё при императоре Павле»[145].

Спустя четыре года И. С. Тургенев напечатал в петербургском журнале[146] письмо Пушкина к жене Наталье Николаевне от 20–22 апреля 1834 года, где поэт изложил собственную (а точнее, семейную) версию давнего эпизода. По Пушкину, дело обстояло несколько иначе: «Видел я трёх царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку…» *(XV, 129–130)*. Получалось, что Павел I не собственноручно лишил ребёнка головного убора, а только распорядился на сей счёт.

Но анненковский и пушкинский рассказы единодушны в том, что сопровождавшей малыша прислуге крепко досталось от разгневанного императора. Проблема только в том, *кто* подвернулся под руку Павлу Петровичу.

Уже в наши дни петербургский пушкинист В. П. Старк достаточно логично обосновал, что памятное рандеву произошло, похоже, в Летнем саду[147]. Однако он, упомянув в своей заметке

об Арине Родионовне, всё-таки уклонился от обсуждения вопроса о её роли в этой истории. Да и предшественники В. П. Старка если и называли «мамушку» участницей рассматриваемой сцены, то скорее, как говорится, по инерции: дескать, кому же как не Арине Родионовне быть свидетельницей пусть неприятной, но, безусловно, исторической минуты?

Такой эпизод, само собой разумеется, украсил бы жизнеописание любого человека, а уж крепостной бабы и подавно. Но, как ни велик соблазн пополнить летопись жизни Арины Матвеевой анекдотом о её петербургском свидании с императором Павлом Петровичем, мы от этого воздержимся.

Во-первых, автор настоящей книги не знает, вернулась ли к лету 1800 года крестьянка из Кобрина в Петербург. Настораживает его и то, что осведомлённый П. В. Анненков, обычно называвший Арину Матвееву по имени, на сей раз этого почему-то не сделал. Но есть, по нашему мнению, ещё одно, куда более серьёзное, основание думать, что в истории с пушкинским картузом была замешана не Арина Родионовна, а бедняжка Ульяна Яковлева.

Обратим внимание: поэт в письме к жене нарёк сопровождавшую его на прогулке женщину *«нянькой»*. Мы полагаем, что Пушкин воспользовался именно этим словом отнюдь не случайно.

Слово «нянька» (чаще всего без какого бы то ни было уничижительного оттенка) неоднократно встречается в его разнохарактерных текстах[148] — однако оно *ни разу* (!) не употреблено по отношению к Арине Родионовне. Та — в художественных произведениях и переписке, в черновиках и беловиках — *всегда и всюду «няня»*. Выявленную закономерность можно легко проиллюстрировать множеством примеров. (Кстати, «няней» величается Арина Родионовна в ином пушкинском письме к жене, от 25 сентября 1835 года; *XVI, 50–51.)*

Показательно, что и сестра Ольга, и приятели Александра Сергеевича, не сговариваясь и не оговариваясь (по крайней мере, в письмах к поэту), называли её точно так же. Рискнём даже сказать, что, благодаря постоянству Пушкина, за Ариной Родионовной мало-помалу закрепилось, в придачу к собственному, и другое, отсутствующее в святцах, имя — *Няня*. И её, вполне конкретную Няню, посвящённые уже не путали со всяческими няньками, кои были у всех (да и у самого Пушкина).

Данное ономастическое наблюдение и позволяет нам увериться в том, что при случайной встрече в Петербурге будущего поэта с императором Павлом I присутствовала всё же Ульяна Яковлева.

От неё (или в чьём-нибудь вольном, с живописными прибавлениями, пересказе) узнала и Арина Матвеева про царя, призраком бродящего по городу и карающего даже младенцев. Няня навек запомнила эту историю — и её ужас и отчаяние осенью 1826 года (о чём мы ещё, конечно, потолкуем) в значительной мере были обусловлены кошмарным и неотступным воспоминанием о безжалостном петербургском владыке.

Согласно местным преданиям, бытующим и в наши дни, летом 1800 года Пушкины нанесли прощальный визит в Руново и Кобрино[149]. Затем они вернулись в Петербург, где Марии Алексеевне Ганнибал наконец-то удалось оформить сделку по продаже указанных владений. Мыза и деревня достались разным хозяевам, однако вся семья Матвеевых «была исключена из списков запродажной»[150], то есть сохранилась за прежними владельцами (но покуда временно оставлена на прежнем месте). Позже О. С. Павлищева и П. В. Анненков почему-то утверждали, что «при продаже петербургского имения <…> Арина Родионовна, записанная по Кобрину, получила отпускную — вместе с двумя сыновьями и двумя дочерьми»[151], однако этот факт никак не подтверждается другими историческими источниками.

Удовлетворённые исходом трудоёмкого и нервического дела Пушкины засобирались в Москву. Да супруги и не могли беспричинно задерживаться в Петербурге: Надежда Осиповна вновь была в тягости[152]. Уже к началу декабря они очутились в московских краях и поселились на углу проезда Белого города и Большого Харитоньевского переулка, в доме подпоручика П. М. Волкова[153].

Следом за дочерью и зятем двинулась в Москву (в сопровождении шестерых дворовых людей) и Мария Алексеевна: о ней упоминается в списке отъезжающих из Северной столицы, который помещён в номере «Санкт-Петербургских ведомостей» от 18 декабря 1800 года[154]. По прибытии под стены Кремля М. А. Ганнибал сняла дом неподалёку от Пушкиных, в Огородной слободе[155].

Начало 1800-х годов — весьма сложный для биографа период жизни Арины Матвеевой. Она, видимо, всё же вернулась в Москву на исходе 1800 года вместе с кем-то из господ. Документальных подтверждений тому нет, но и в исповедных ведомостях суйдовской церкви за 1801–1802 и 1805–1806 годы крестьянка тоже не упомянута. Зато в 1803 году наша героиня вновь даёт о себе знать: в росписи московского храма Святого Харитония Исповедника, что в Огородниках, Арина Родионовна, «вдова 45

лет», состоящая «при Марье Алексеевне Ганнибаловой», помечена (под № 324) как исповедовавшаяся. «Она показана как-то особняком, — сообщает обнаруживший документ Л. А. Виноградов, — после 8 других дворовых, принадлежащих Ганнибаловой, из чего можно предположить, что проживала она вне её квартиры, а вероятно, у её дочери»[156].

А семья Арины Родионовны, судя опять же по суйдовским церковным бумагам, оставалась в Кобрине до 1807 года. Двор разраставшегося семейства в 1802 году насчитывал пятнадцать человек. Но попутно Матвеевы несли и невосполнимые потери: по правдоподобной версии А. И. Ульянского, на следующий год после отъезда крестьянки в Москву, в 1801 году, умер её муж Фёдор Матвеев[157]. Приблизительные подсчёты показывают, что ему в смертный час было около сорока пяти лет.

Видимо, во второй половине 1803 года Арине Матвеевой удалось отпроситься у Марии Алексеевны Ганнибал и Пушкиных и навестить своих детей и родственников. В исповедной росписи храма Воскресения Христова указано, что «Ирина Родионова, 43 лет»[158] была у исповеди, однако не причащалась «за нерачением»[159]. В течение какого-то времени она оставалась в Кобрине и в 1804 году, а потом собрала нехитрые пожитки, простилась с родными и тронулась в Москву, в хорошо ей знакомый Большой Харитоньевский переулок.

Там, в доме графа Л. Ф. Санти, её поджидали и взрослые Пушкины, и старая барыня, и соскучившиеся «пушкинята». Поступивший ещё в 1802 году на службу в «комиссию Московского комиссариатского депо для разных поручений» глава фамилии Сергей Львович и его жена уже наметили Арину Родионовну в няньки ожидаемого ими ребёнка. Мария Алексеевна снова обрела верную безропотную помощницу, а дети, шестилетняя Оленька и пятилетний Саша, — добрую и заботливую (хотя подчас и напускавшую на себя строгость) дозорницу, удивительную, вещавшую по-гатчински, нараспев («певком») рассказчицу и певунью. Особенно они любили слушать

Старушки чудное преданье… (*II, 290)*.

Авторитетный фольклорист М. К. Азадовский, предпринявший в тридцатые годы прошлого века попытку «воссоздать образ» Арины Родионовны как сказительницы, «установить в какой-то мере объём и характер её репертуара, основные характерные черты её сказительной манеры и её индивидуального стиля», пришёл в итоге к однозначному выводу: «Арина Родионовна была не просто няней-рассказчицей, но

выдающимся мастером-художником, одной из замечательнейших представительниц русского сказочного искусства»[160]. «Арина Родионовна была для поэта важнейшим источником ознакомления с русскими сказками», — читаем у другого учёного[161]. Потому-то Пушкин и хранил всю жизнь верность

> …её рассказам, затверж<ённым>
> От малых лет… *(Ill, 1005–1006)*.

В ноябре 1804 года пребывавшая несколько лет «безземельной» Мария Алексеевна Ганнибал стала московской помещицей: она приобрела у вдовы надворного советника Е. А. Тиньковой и её дочерей сельцо Захарово (или Захарьево) в Звенигородской округе, близ Смоленского тракта, в 40 верстах от столицы. По генеральному межеванию, в сельце числилось 910 десятин земли, и за 28 тысяч рублей бабушке Ольги и Александра досталось целых «шездесят душ с жёнами их и со вновь рождёнными после пятой ревизии абоего пола детьми и с приимаши с умершими беглыми и отданными в рекруты пожилыми годами и заработными за них деньгами, и со взятыми из посторонних селениев в вышеписанное сельцо Захарово в замужество девками и вдовами»[162].

Когда же в конце 1806 года скончался непутёвый Осип Абрамович Ганнибал, появилось какое-никакое имение и у Надежды Осиповны Пушкиной: к ней (и к матери) по наследству перешло сельцо Михайловское в Опочецком уезде Псковской губернии.

В эти-то владения (преимущественно в Захарово) и были постепенно, в 1806-м и последующих годах, перемещены члены кобринской семьи Арины Матвеевой. Некоторые из них время от времени (в частности, дочь, Надежда Фёдорова, в 1808 году) вызывались из деревни, проживали в Москве, прислуживая по дому, и в исповедных ведомостях (допустим, церкви Святых Бориса и Глеба на Поварской) именовались дворовыми людьми Пушкиных[163].

9 апреля 1805 года в доме графа Л. Ф. Санти в Большом Харитоньевском переулке родился Лёвушка Пушкин. Как и договорились родители заранее, Арине Родионовне «поручено было ходить за ним»[164]. Словом, крестьянка сделалась его типичною *нянькою,* а для всей троицы «пушкинят» с тех пор и навсегда превратилась в «общую няню».

Обосновавшись в Москве и заимев подгородную, Пушкины и М. А. Ганнибал задержались здесь надолго: лишь драматические военные события 1812 года заставили их покинуть город. За

одиннадцать с лишком лет калейдоскопической московской жизни Пушкины сменили одиннадцать или даже двенадцать квартир. Словно в подражание детям, несколько переездов совершила и Мария Алексеевна, а потом она стала жить вместе с Пушкиными.

Немало горя хлебнула тогда семья комиссионера 8-го (позднее 7-го) класса. Супруги не всегда ладили между собой, ссорились из-за вечной нехватки денег и по иным поводам, и их «нервические выходки», размолвки будоражили всех обитателей дома. В этот период, уже после рождения Льва Сергеевича, Надежда Осиповна выносила и произвела на свет ещё двух сыновей, Павла и Михаила, и дочь Софью, но все они умерли в младенчестве. Скончался, как уже сказано, и родившийся ранее Николаша Пушкин (перед смертью внезапно показавший язык брату Александру). Завершила свои земные дни и мать Сергея Львовича, полковница О. В. Пушкина.

Случались, впрочем, и события приятные, умиротворявшие супругов. Так, С. Л. Пушкин в 1810 году получил право ношения «мундира с нашивками, установленного для чиновников Военной коллегии»[165]. А на следующий год по высочайшему указу он был произведён в чин военного советника и награждён орденом Святого Владимира 4-й степени. Их обществом не гнушались почтенные персоны: жилище Сергея Львовича и Надежды Осиповны запросто посещали изысканные Н. М. Карамзин, И. И. Дмитриев, В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков и даже иноземные знаменитости. Льстило супругам и то, что Надежду Осиповну величали в столичных салонах «la belle créole» («прекрасной креолкой»)[166]. Так что современники (например, Е. П. Янькова) не очень-то и обманывались, когда утверждали, что «Пушкины жили весело и открыто»[167].

Матерью властная и блажная Надежда Осиповна оказалась неплохой, в меру заботливой, однако Александру не было суждено стать её любимчиком. К Ольге же и особенно к Лёвушке она благоволила. Сергей Львович, столь сентиментальный в литературных беседах, предпочитал выказывать отцовские чувства куда более сдержанно.

Господские беды и праздники не оставляли Арину Родионовну равнодушной. Трудясь, она вместе с родителями и бабушкой кручинилась по так и не пожившим малюткам, купно с Пушкиными и возвеселялась при получении добрых вестей. «Нет никаких оснований думать, что маленького Сашу она как-нибудь особливо любила или выделяла из числа прочих своих питомцев», — заметил однажды В. Ф. Ходасевич[168], и, видимо, пушкинист был прав.

Каких-либо интересов *вне* пушкинского дома у стареющей крестьянки не было да и быть не могло, разве что тосковала она по своим собственным чадам. Возможно, что Арине Матвеевой, некогда избежавшей встречи с суровым государем Павлом Петровичем, довелось издали, из толпы зевак, лицезреть его августейшего сына, императора Александра I. В начале века царь не раз посещал Москву и пребывал там, в частности, в декабре 1809 года[169]. Тогда в народе о молодом властителе поговаривали всякое, по преимуществу хорошее, но удостовериться в том, что благолепный Александр Павлович более милостив, нежели его убиенный батюшка, Арине Родионовне так и не довелось.

Летние месяцы Пушкины и М. А. Ганнибал обычно проводили в Захарове. Позднее поэт и переводчик А. А. Венкстерн, посетивший усадьбу, описал её в «Биографическом очерке А. С. Пушкина» (1899) довольно-таки меланхолично: «Унылая, плоская местность, с тёмною зеленью елового леса и печальными ветвями берёз, старинный барский дом с флигелями и службами на берегу пруда, обросшего вековыми липами — таков был общий характер Захарова…»[170]

Несколько по-иному характеризовал Захарово издатель «Русского архива» П. И. Бартенев: «Оно не отличается особенно хорошим местоположением, но в нём можно иметь все удовольствия деревенской жизни. Недалеко от усадьбы берёзовая роща, в которой обыкновенно при хорошей погоде обедывали и пили чай. Дальше сад и пруд с огромною липою, у которой любил играть Пушкин. В сельце раздавались русские песни; Пушкин имел случай видеть народные праздники, хороводы»[171].

Сам Пушкин предавался (в «Послании к Юдину», 1815) радужным воспоминаниям о деревне:

> Мне видится моё селенье,
> Моё Захарово; оно
> С заборами в реке волнистой,
> С мостом и рощею тенистой
> Зерцалом вод отражено.
> На холме домик мой; с балкона
> Могу сойти в весёлый сад,
> Где вместе Флора и Помона
> Цветы с плодами мне дарят.
> Где старых клёнов тёмный ряд
> Возносится до небосклона,
> И глухо тополы шумят —
> ……

Вблизи ручей шумит и скачет,
И мчится в влажных берегах,
И светлый ток с досадой прячет
В соседних рощах и лугах… (*I, 129)*.

Впоследствии, уже в XX веке, сельцо Захарово назвали «„детской“ пушкинского Дома»[172].

По завершении летнего сезона Сергей Львович обычно возвращался в Москву, на службу, а кто-то из дам, вместе с детьми и прислугою, нередко оставался тут и на зиму. «Предположение о проживании Марии Алексеевны, Надежды Осиповны и её детей в Захарове не только летом вполне вероятно, — пишет А. И. Ульянский. — К Арине Родионовне это относится ещё в большей мере, что видно из <…> записей исповедных ведомостей по Москве»[173]. И действительно, в названных документах крестьянка после 1803 года не была упомянута ни разу.

Находясь подолгу в Захарове, наша героиня, вероятно, имела — как «столбовая крепостная» — постоянное пристанище в одном из благоустроенных усадебных флигелей, подле детей. От такого соседства выигрывали все: и они, и она. Надо ли говорить о том, что в особой цене у Ольги и Александра (а потом и у Льва) были предсонные, *сказочные* минуты и часы. В эти часы и минуты, полные захватывающей таинственности, Арина Родионовна, морщинистая, со щербатым ртом, чудесным образом превращалась в подлинную царицу их детского царства.

Тогда толпой с лазурной высоты
На ложе роз крылатые мечты,
Волшебники, волшебницы слетали,
Обманами мой сон обворожали.
Терялся я в порыве сладких дум;
В глуши лесной, средь муромских пустыней
Встречал лихих Полканов и Добрыней,
И в вымыслах носился юный ум… (I, *146–147)*.

А «пушкинята» между тем росли, всё чаще гляделись в зеркала, меняли платьица, костюмчики и игрушки. У Оленьки появились гувернантки; большую роль стал играть состоявший при Саше почти тридцатилетний дядька Никита Козлов (тот, как известно, не покинул своего питомца до самой святогорской могилы). Мальчик с «африканскими чертами физиономии» (М. Н. Макаров) развивался особенно быстро: он внимательно

вслушивался в литературные разговоры именитых гостей, выказывал «охоту к чтению» *(XII, 308)* и протоптал тайную дорожку в библиотеку отца; пытался заниматься сочинительством и смешил сверстников французскими эпиграммами и баснями; выезжал на детские балы и уже деловито влюблялся. «Он стал резов и шаловлив», — вспоминала пушкинская сестра[174].

Да и избалованный Надеждой Осиповной Лёвушка Пушкин. «родному брату брат», едва выйдя из пелёнок, торопился догнать старших, и бдительный нянькин дозор порою докучал ему.

Дети начали учиться. Первой их наставницей в русской грамоте и чтении была бабушка Мария Алексеевна. «Женщина замечательная, столько же по приключениям своей жизни, сколько по здравому смыслу и опытности, — писал о М. А. Ганнибал П. В. Анненков. — Барон Дельвиг ещё в Лицее приходил в восторг от её письменного слога, от её сильной, простой русской речи. К несчастью, мы не могли отыскать ни малейшего образчика того безыскусного и мужественного выражения, которым отличались её письма и разговоры»[175]. Как и Арина Родионовна, бабушка взяла за правило регулярно рассказывать детям сказки и семейные легенды.

Затем наступил черёд учителей и гувернанток «приватных», сиречь приглашаемых: русских, французов, немки и англичанки. Попадались среди этой публики и «дельные» лица, кое-чему сестра с братом от них, безусловно, научились, однако при оценке деятельности педагогов не будем забывать и позднейших пушкинских высказываний относительно «недостатков» полученного им «проклятого» образования *(XIII, 121)*. Впоследствии Л. С. Пушкин, говоря об Александре, подчёркивал: «Вообще воспитание его мало заключало в себе *русского*; он слышал один французский язык…»[176]

Первоначальные привязанности нередко забываются детьми, вытесняются из их сердец иными, более зрелыми, увлечениями. В доме Пушкиных такого, к счастью, не случилось. «Пушкинята» взрослели, обретали новые интересы и круги общения — но при этом не отдалялись от «общей няни», не разжаловали её в едва замечаемую, завершившую свою миссию, прислугу. Они, быть может и незаметно для себя, *сроднились* с Ариной Родионовной[177]. А крепостная баба, души не чаявшая в Ольге и Александре, в неразлучных «голубушке» и «дружочке», верно, и мечтать не могла о подобной планиде.

«Так праведнику воздаётся на земле…» (Притч., 11, 31).

Возможно, уже тогда, в Москве и Захарове, Александр Пушкин, недополучивший толики материнской любви от Надежды Осиповны, стал tête-à-tête называть «мамушкой» или

даже «мамой» свою няню[178]. А потом, на протяжении всей творческой жизни, то есть целых двадцать лет, поэт не уставал повторять, что Арина Родионовна *с самого начала* (а вовсе не со времён ссылки в Михайловское или лишь там, как заявляют некоторые) была для него существом очень дорогим; была любящей, никем не заменимой наставницей и врачевательницей «ран сердца» *(III, 1007)*. Подтверждение сказанному мы находим в отрывке «Сон» (1816), в «Евгении Онегине», в черновиках стихотворения «…Вновь я посетил…» (1835) и в иных произведениях.

Что бы ни утверждали отдельные авторы, а детство у поэта всё ж таки *было:*

> С подругой обнимуся
> Весны моей златой… *(I, 32)*.
>
> Но детских лет люблю воспоминанье… (*I, 146)*.
>
> С какою тихою красою
> Минуты детства протекли… *(I, 190)*.

«Тихая краса» — это и неброское очарованье родной природы, и завораживающие шёпотные рассказы при лунном свете, и безыскусная, лишённая патетики, жертвенная любовь ближнего…

«Тихой красе» своего младенчества и ранней юности Александр Пушкин в значительной степени был обязан Арине Родионовне.

Предвоенный 1811 год отмечен рядом важных для Арины Матвеевой событий.

Она наконец-то выдала замуж младшую дочь Марью — за Алексея, сына Никитина Андреева (1791–1841), зажиточного захаровского крестьянина. Невесте тогда шёл двадцать второй год, а жениху исполнилось двадцать[179].

В первые месяцы того же года стеснённая в средствах Мария Алексеевна Ганнибал взяла да и продала Захарово (ранее бабушка уже заложила сельцо в Московском опекунском совете). Почти все приписанные к имению крепостные крестьяне перешли к новой владелице, полковнице Х. И. Козловой. Лишь немногие, в их числе родственники няни, были сохранены за М. А. Ганнибал («проданы г-же Ганнибаловой») и переведены в Псковскую губернию, в сельцо Михайловское. Не попала в этот список только замужняя Марья, дочь Арины Родионовны.

О. С. Павлищева вспоминала про няню: «Она и слышать не хотела, когда Марья Алексеевна, продавая в 1811 году Захарово, предлагала выкупить всё семейство Марьи. „На что вольная, матушка; я сама была крестьянкой“, — повторяла она»[180].

Так Марья Фёдорова насовсем осталась в Захарове — и, оставшись, навсегда запомнила юного отрока, в начале столетия привозимого в сельцо из Москвы: «Смирный был, тихий такой, что Господи! Всё с книжками бывало… Нешто с братцами когда поиграют, а то нет, с крестьянскими не баловал… Тихие были, уваженье были дети»[181].

Ей, Марье, ещё довелось свидеться с Пушкиным через много лет.

Арина же Родионовна, в ту пору встретившая свою пятьдесят третью весну, похоже, уже считала жизнь завершающейся: недаром она говорила о себе в прошедшем времени («была крестьянкой»). Вязать чулки, иногда готовить лакомства детям, толковать с ними про «стародавних бар» (Н. М. Языков) да *ждать* — чем не достойное занятие?

В конце зимы Сергей Львович и Надежда Осиповна вдруг куда-то надолго отлучились из московской квартиры на Большой Молчановке. А когда Пушкины вернулись, то няня узнала, что ездили барин с барыней в Петербург, где высокие покровители помогли им пристроить старшего сына в очень солидное учебное заведение: Александр будет воспитываться в только что созданном Императорском Царскосельском лицее. Там ему, сообразно с монаршей волей, предстоит осваивать «предметы учения, важным частям государственной службы приличные и для благовоспитанного юноши необходимо нужные»[182].

Хоть и богат был 1811 год на происшествия[183] — но эта новость стала для Арины Родионовны особенной. Было от чего загрустить няне: «пушкинята» начинали оперяться и покидать родимое гнездо, *её* гнёздышко.

Уехал мальчик в северную даль до обидного скоро: во второй декаде июля, на самой макушке лета. Сопровождал его в поездке дядюшка — поэт, велеречивый фразёр и масон Василий Львович Пушкин, которого наша героиня, возможно, знала ещё со времён Суйды.

После проводов школяра Арина Родионовна наверняка зашла, тяжеловато ступая, в расположенный по соседству с их домом храм Николы Чудотворца, что на Курьих ножках, и поставила свечку, помолилась за раба Божия Александра. Воздушных замков она не строила и о встрече едва ли просила: по слухам, её «ангелу» *(XIII, 323)* предстояло жить в Петербурге взаперти и он мог выбраться из клетки разве что к концу десятилетия[184] —

через целую вечность…

Миновал червень, за ним и зарев канул, и ревун… А к зиме волки по деревням под жильём возьми да и завой — и селяне зашептались: знать, быть большой войне. Нянюшка же во снах ребёнка с кормилицею стала видеть, что также беду предвещало.

Тут-то окаянный француз в гости и пожаловал, насилу выпроводили восвояси короля ихнего. Родионовна была рада-радёшенька, что ангел её из Села Царского по малолетству своему в ратники не угодил. Стороною говорили тогда о нём всякое, нет-нет да и наговаривали. Вестимо: у людей добрых языки без костей.

Дождалась-таки нянюшка своего дружочка, не улеглась допрежь в землю. Воротился однажды он, к сердцу юному и горячему Родионовну прижал, отогнал бабьи сны дурные — да и ускакал сызнова…

Глава 4
ГОРОДА И ВЕСИ

Катит по прежнему телега;
Под вечер мы привыкли к ней
И дремля едем до ночлега —
А время гонит лошадей.

А. С. Пушкин

Густой мглистый дым грандиозного московского пожара 1812 года на долгое время сокрыл от нас дряхлеющую нянюшку. К тому же и недоросль Александр Пушкин в ту пору находился от неё далече — а значит, и большинство пушкинистов последовали в своих штудиях за поэтом и на десятилетие с гаком потеряли крепостную крестьянку из виду. Так что в распоряжении прищурившегося биографа Арины Родионовны имеются только немногие разрозненные факты — случайные лазоревые просветы в кромешном мраке клубящихся небес…

Осенью 1811 года, 19 октября, в присутствии императора Александра Павловича, его августейшего семейства и многих знатнейших светских и духовных особ, состоялось торжественное открытие Лицея в Екатерининском дворце Царского Села. Лицеист первого курса Александр Пушкин, юноша в синем сюртуке с красным воротником, приступил к занятиям.

А его родители, находившиеся в Москве, в те же сроки переехали в дом А. Я. Булгакова. Там спустя несколько дней, 28 октября, Надежда Осиповна и родила сына Михаила, который вскоре умер.

Между тем в стране шли военные приготовления. Императорские полки, гвардейские и армейские, проводили передислокацию и постепенно направлялись к западным рубежам России. Все понимали, что решительная схватка с Бонапартом, «брань племён» (*I, 110),* неминуема.

С 1811 года Сергей Львович Пушкин входил в состав дирекции Московской комиссариатской комиссии, где контролировал дела «по денежному отделению, бухгалтерии о деньгах и по казначейству»[185]. Важными интендантскими вопросами ему довелось заниматься и в ходе Отечественной войны, и позднее, во время заграничных походов русской армии.

В ночь с 11 на 12 июня 1812 года французы и их союзники

форсировали Неман и вторглись в пределы Российской империи.

И быстрым понеслись потоком
Враги на русские поля… *(I, 61)*.

Россы отступили и долго молча отступали.

Уже в конце августа Московская комиссариатская комиссия руководила работами по вывозу из столицы воинского имущества. Благодаря «всем действиям чиновников» на исходе лета удалось спасти огромные запасы: в Нижний Новгород было отправлено 1700 подвод и 23 барки «нужнейших вещей»[186]. Вместе с «вверенными им вещениями» эвакуировались в город на Волге и члены дирекции. Среди них находился и Сергей Львович Пушкин с семейством и дворовыми людьми.

Туда же, в Нижний Новгород, прибыли летом и М. А. Ганнибал, и В. Л. Пушкин, и другие пушкинские родственники.

Из документов, недавно введённых в научный оборот С. К. Романюком, явствует, что осенью 1812 года военный советник С. Л. Пушкин занимался поставками вооружений и обмундирования для резервов армии, которые сосредоточивались в Муроме, Арзамасе и Лукоянове. В декабре того же года он был назначен «управляющим комиссариатскою комиссиею, учреждаемою в Орле». Спустя месяц-другой эта комиссия перебралась в город Белицу Могилёвской губернии, а потом — в Белосток и далее, в местечко Венгрово под Варшавой.

В Царстве Польском и завершилась для Сергея Львовича война с Наполеоном Бонапартом. Военный советник и кавалер не поладил с начальством, был снят с должности и получил приказ явиться в Петербург «для ответственности»[187]. В феврале 1814 года С. Л. Пушкин сдал дела, но уезжать из Варшавы не торопился. Лишь осенью он очутился в Северной столице, где его с нетерпением поджидало семейство.

Надежда Осиповна с детьми Ольгой и Львом, а также М. А. Ганнибал, изрядно пространствовавшие во время войны, уже весною того года точно находились в Петербурге[188]. (В пушкинской <«Программе автобиографии»> есть относящаяся к 1814 году фраза: «Приезд матери»; *XII, 308.)* В апреле девятилетний Лёвушка выдержал экзамены и был принят в Царскосельский Благородный пансион, недавно открытый при Лицее. Отныне он обучался по соседству с братом Александром и периодически общался с ним[189]. Из «Ведомостей Лицея» следует, что Н. О. Пушкина и сестра Ольга часто навещали обоих. С октября 1814 года в списке посетителей воспитанников начал

фигурировать и Сергей Львович. Порою на свидания в Царское Село в 1815–1816 годах приезжала вся пушкинская «фамилия».

Где находилась все эти годы Арина Родионовна, мы не знаем.

Владислав Ходасевич, по-видимому, всё же упростил биографию няни, написав: «После продажи Захарова перебралась она в новое пушкинское гнездо, в ставшее знаменитым село Михайловское, Псковской губ<ернии> Опочецкого уезда»[190]. Предполагаем, что крестьянка покинула Москву в августе 1812 года, перед оставлением города неприятелю, однако попала она в Михайловское далеко не сразу. Арина Родионовна, вероятно, разделила с Пушкиными и М. А. Ганнибал тяготы сурового времени и последовала за ними в Нижний Новгород, а потом и в другие населённые пункты: едва ли она в такой момент покинула своих воспитанников, Ольгу и в особенности маленького Льва. И только когда Лёвушку Пушкина определили в царскосельский пансион, няня могла вздохнуть чуть свободнее и наконец-то подумать о себе и своих собственных детях.

Тогда-то, думается, Арину Родионовну и отпустили в Михайловское. Как показано в ревизской сказке 1816 года, наша героиня числилась по этому сельцу среди дворовых. Рядом с Ириньей Матвеевой были записаны её сыновья Егор и Стефан Фёдоровы, а также жена Егора Аграфена и их дочь Катерина[191]. (Дочерей Арины Родионовны в упомянутом документе вовсе не значилось: Надежда Фёдорова, видимо, жила у Пушкиных в Петербурге, а Мария, как известно, осталась в подмосковном Захарове.)

В ревизской сказке о пятидесятивосьмилетней старухе было сказано всего лишь несколько казённых слов. Зато в иных бумагах примерно в ту же пору появилось множество *других* слов о ней.

Пришло время, когда щедро рассыпанные Ариной Родионовной зёрна дали первые всходы.

Как подсчитали в XX веке дотошные исследователи, в лицейские годы Александр Пушкин создал свыше 130 произведений, а несколько десятков стихотворных пьес он даже опубликовал. Хватало среди них опытов вполне ученических, подражательных, «грехов отрочества» — тех, что, по словам П. В. Анненкова, «были только продолжением того рода домашней поэзии, с которой он познакомился у себя в семействе»[192]. В другом биографическом очерке подытоживается: «За шесть лицейских лет он опробовал различные литературные традиции и маски, писал стихи в антологическом духе, в духе французской лёгкой поэзии, стихи оссианического толка, официально-патриотические оды, унылые элегии, дружеские

послания, эпиграммы — и через эти традиционные жанры и заимствованные стили всё сильнее пробивался собственный поэтический голос»[193].

О некоторых характеристических чертах становления пушкинского «собственного голоса» стоит упомянуть и в нашей книге.

Отметим, во-первых, *изначальный* и довольно стойкий интерес юного поэта к фольклорным и сказочным сюжетам. Например, в 1814 году Пушкин сочинял поэму «Бова» (которую так и не завершил и в итоге «уступил» К. Н. Батюшкову). Фольклорные мотивы есть и в других его произведениях царскосельского периода (в «Монахе», «Козаке», «Романсе» и т. д.). По уверению Пушкина, ещё в Лицее была им начата и поэма «Руслан и Людмила» *(IV, 280)*[194]. Разумеется, поэт отдавал дань литературной традиции эпохи, усердно копировал российских и европейских мэтров, однако в его поисках на указанном направлении при определённом желании можно увидеть и подспудное влияние двух воспитательниц — М. А. Ганнибал и Арины Родионовны. Так, В. Ф. Ходасевич не сомневался, что «Пролог „Руслана и Людмилы“ <…> заимствован у Арины Родионовны»[195].

В Лицее же Александром Пушкиным были созданы поэтические образы, «идеалом» которых, по мнению ряда исследователей, была наша героиня.

Уже в послании «Городок (К ***)», наполненном «живыми бытовыми подробностями»[196] и напечатанном в «Российском музеуме» (1815), перед читателем появляется «добренькая старушка» — литературный персонаж, который *напоминает* пушкинскую нянюшку:

…Для развлеченья,
Оставя книг ученье,
В досужный мне часок
У добренькой старушки
Душистый пью чаёк;
Не подхожу я к ручке,
Не шаркаю пред ней;
Она не приседает,
Но тотчас и вестей
Мне пропасть наболтает.
Газеты[197] собирает
Со всех она сторон,
Всё сведает, узнает:
Кто умер, кто влюблён,

Кого жена по моде
Рогами убрала,
В котором огороде
Капуста цвет дала,
Фома свою хозяйку
Не за что наказал,
Антошка балалайку
Играя разломал, —
Старушка всё расскажет;
Меж тем как юбку вяжет[198].
Болтает всё своё… (*I, 79–80)*.

Касательно этих строк профессор Н. Ф. Сумцов писал ещё в 1900 году: «Всё это идёт к словоохотливой старушке из дворовых людей и подтверждается другими свидетельствами Пушкина и его друзей о характере Арины Родионовны»[199]. Харьковскому учёному вторит и наш современник, анализирующий «Городок» и прямо указывающий на прототип «старушки» — няню поэта: «Как осторожно ни подходить к прямым биографическим деталям в творчестве Пушкина, смысл некоторых ранних его стихов не вызывает сомнений»[200].

В 1816 году лицеистом было написано стихотворение «Сон (Отрывок)», где, как обычно считается, его «бабушка и няня слились в едином образе»[201]:

Я сам не рад болтливости своей,
Но детских лет люблю воспоминанье.
Ах! умолчу ль о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей,
Когда в чепце, в старинном одеянье,
Она, дух***о***в молитвой уклоня,
С усердием перекрестит меня
И шопотом рассказывать мне станет
О мертвецах, о подвигах Бовы…
От ужаса не шелохнусь бывало,
Едва дыша, прижмусь под одеяло,
Не чувствуя ни ног, ни головы.
Под образом простой ночник из глины
Чуть освещал глубокие морщины.
Драгой антик, прабабушкин чепец
И длинный рот, где зуба два стучало, —
Всё в душу страх невольный поселяло.
Я трепетал — и тихо наконец
Томленье сна на очи упадало… *(I, 146)*.

Отдельные пушкинисты (допустим, П. И. Бартенев[202] или В. Ф. Ходасевич), однако, думали, что в «Сне» говорилось *лишь* об Арине Родионовне. Наиболее же взвешенным и убедительным нам представляется мнение В. С. Непомнящего: «Прообраз двоится: вспоминается и бабушка, простая и добрая Мария Алексеевна Ганнибал, и няня; образ же тяготеет к няне (да бабок и не называли „мамушками“)»[203].

К этому можно добавить, что не только «мамушка», но и иные упомянутые в пушкинском тексте *реалии* скорее свидетельствуют в пользу Арины Родионовны, нежели намекают на Марию Алексеевну. Это и «старинное одеянье», и беззубый рот, и «прабабушкин чепец»[204]; на долю же бабушки однозначно остаётся разве что «драгой антик» — не очень-то и гармонирующее с перечисленными подробностями создание ювелира.

Выходит, в компании тогдашних *спутников* устремившегося в поэзию Александра Пушкина — подле Эротов, меж красавиц, пирующих студентов, певцов и воинов — сразу же нашлось место и для Арины Родионовны. Расставшись с «мамушкой» в 1811 году, Сверчок не забыл её. Вполне возможно, что и в многочисленных посланиях к любимой сестре, отосланных из Лицея, Пушкин расспрашивал про няню[205]. Известно, что «он писал к ней письма»[206], французские, — но ни они, ни ответы Ольги Сергеевны, к сожалению, до нас не дошли.

Шестилетнее «заточенье» царскосельских юношей подошло к концу, и 9 июня 1817 года в Лицее состоялся выпускной акт. Александр Пушкин получил свидетельство об окончании учебного заведения и чин коллежского секретаря. Спустя несколько дней он, назначенный на службу в Коллегию иностранных дел, принёс присягу.

А уже в начале июля всё семейство Пушкиных — родители, Ольга, Александр и Лев — покинули семикомнатную квартиру на Фонтанке близ Калинкина моста в доме вице-адмирала А. Ф. Клокачёва (в 5-м квартале 4-й Адмиралтейской части) и отправились на отдых в сельцо Михайловское. С ними была и «отставного полковника *Сергея Пушкина* служащая женщина Ирина Родионовна», недавно возвратившаяся в Петербург.

«Вышед из Лицея я почти тотчас уехал в псковскую деревню моей матери. Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике и проч<ему>…» — написал Пушкин в автобиографических записках *(XII, 304)*. Счастлива была и Арина Родионовна.

В разны годы
Под вашу сень, Михайловские рощи,
Являлся я — когда вы в первый раз
Увидели меня, тогда я был —
Весёлым юношей, беспечно, жадно
Я приступал лишь только к жизни… *(III, 996)*.

В течение полутора месяцев няня имела возможность каждодневно общаться с «ангелом» и прочими «пушкинятами».

В Петербург Пушкины уехали приблизительно 20 августа: у Александра подходил к концу испрошенный в Коллегии иностранных дел отпуск, Льву надо было поступать в очередной пансион, а сорокадвухлетняя Надежда Осиповна сызнова готовилась рожать.

Простите, верные дубравы!
Прости, беспечный мир полей,
И легкокрылые забавы
Столь быстро улетевших дней! *(II, 34)*.

Родила Надежда Осиповна 14 ноября[207]. Восприемниками при крещении младенца в храме у Покрова в Коломне были его брат Лёвушка Пушкин и «вдова капитанша Марья Алексеева Гонимбал». (Учитывая это, А. И. Ульянский предположил, что «осенью 1817 года Арина Родионовна вместе с Марьей Алексеевной <…> приезжала из Михайловского в Петербург»[208]. Такая версия и нам представляется вполне правдоподобной.)

В 1818–1820 годах наша героиня, видимо, проживала в псковской деревне безвыездно: в исповедных ведомостях петербургской Покровской Больше-Коломенской церкви за этот период она не упоминается. Очевидно, Арина Родионовна присутствовала при последних минутах жизни своей барыни, Марии Алексеевны Ганнибал, которая умерла в Михайловском 27 июня 1818 года и была похоронена в Святогорском монастыре, рядом со своим легкомысленным супругом О. А. Ганнибалом. Можно не сомневаться, что крестьянка приняла самое деятельное участие в траурных церемониях.

А накануне кончины Марии Алексеевны в сельцо приехали С. Л. и Н. О. Пушкины с дочерью Ольгой — они успели повидаться с умиравшей. Василий Львович Пушкин сообщал 2 августа князю П. А. Вяземскому в Варшаву: «Надежда Осиповна и Оленька в большом огорчении. Покойница была со всячинкой, и мне её

вовсе не жаль, но здоровье Оленьки очень худо, и я о том сокрушаюсь. Александр остался в Петербурге; теперь, узнав о кончине бабушки своей, он, может быть, поедет к отцу»[209].

Девятнадцатилетний Александр Пушкин, ведший жизнь весьма беспорядочную, «рассеянную», тогда так и не выбрался в сельцо Михайловское. «Удовольствия столичной жизни» (П. В. Анненков), поэтические и прочие дела увлекли его. «С ненасытностью африканской природы своей предавался он пылу страстей»[210], а потом поэт опасно и надолго заболел. Только к лету 1819 года ему стало лучше, и в начале июля, испросив в Коллегии иностранных дел отпуск «на 28 дней», Пушкин уехал вслед за семейством в Псковскую губернию — как выразился его дядюшка, «очиститься в деревне от городских грехов, которых он, сказывают, накопил множество»[211].

Но не успел Александр преклонить колена у святогорской могилы Марии Алексеевны Ганнибал, как тут же всем Пушкиным пришлось встать возле свежего холмика: умер их маленький сын и брат Платон.

Арине Родионовне Матвеевой, выпестовавшей троих «пушкинят», так и не было суждено заиметь на старости лет четвёртого.

В самом начале второй декады августа Пушкин, проведя в сельце ровно месяц и кое-что там сочинив («Деревню», пятую песнь «Руслана и Людмилы», etc.), покинул печальное Михайловское. Никаких конкретных сведений о его общении с няней нет. Конечно, она тревожилась за здоровье юноши, который явился в деревню бледным, похудевшим и обритым, в парике, и почему-то с необычайно длинными ногтями. Ясно и то, что их расставание было грустным. Может быть, и поэт, и Арина Родионовна предчувствовали, что разлука вновь окажется продолжительной.

Вернувшись в Петербург, Александр Пушкин продолжил повесничать, заполнял между картами, дамами полусвета и дуэлями свою «красную тетрадь» (Н. А. Маркевич), упрямо дразнил полицию и правительство шумными выходками в публичных местах. Кроме того, в обществе обсуждали (и осуждали) его «антидеспотические» высказывания, а по рукам ходили пушкинские стихи весьма сомнительного политического свойства.

До поры до времени власти терпели эти «шалости», но уже в апреле 1820 года случилась беда: о поведении молодого дипломатического чиновника доложили императору Александру Павловичу.

Государь был рассержен и склонялся к тому, чтобы наказать

«беспутную голову» самым строгим образом: «Пушкина надобно сослать в Сибирь: он наводнил Россию возмутительными стихами; вся молодёжь их читает»[212]. Однако благодаря заступничеству ряда влиятельных персон (таких, как Н. М. Карамзин или директор Лицея Е. А. Энгельгардт) гроза всё-таки миновала. Как сообщил вскоре А. И. Тургенев князю П. А. Вяземскому в Варшаву, с проштрафившимся поэтом поступили по-царски «в хорошем смысле этого слова»[213]. Коллежский секретарь Пушкин был «в целях воспитания» переведён по службе в полуденные земли империи, под начало главного попечителя колонистов южного края России генерал-лейтенанта И. Н. Инзова, добрейшего старика.

Высочайшее распоряжение на этот счёт воспоследовало 4 мая 1820 года — и спустя два дня Александр Пушкин, именованный в официальных бумагах «курьером», покинул Петербург.

Осень и зима принесли в семейство Пушкиных новые неприятности.

На сей раз отличился Лёвушка, который вместе с некоторыми другими воспитанниками Благородного пансиона слишком бурно протестовал против удаления их любимого учителя и гувернёра В. К. Кюхельбекера (лицейского товарища Александра Пушкина). Пансионеры не только отказывались слушать преемника Кюхли и гасили свечи на лекциях, но заодно и «побили одного из учителей»[214] или надзирателей, причём Л. С. Пушкин был в числе инициаторов скандального рукоприкладства. 26 февраля 1821 года брата поэта исключили из третьего класса пансиона.

Шестнадцатилетний барич опять оказался не у дел — однако идти в службу не торопился. По утверждению С. А. Соболевского, Лев Сергеевич иногда промышлял тем, что «ходил из дома в дом, читая наизусть какие-нибудь новые стихи брата. За это он вознаграждал себя хорошими ужинами, к которым его приглашали»[215]. «Боюсь за его молодость, боюсь воспитания, которое дано будет ему обстоятельствами его жизни и им самим…» — признавался Александр Пушкин барону А. А. Дельвигу в письме от 23 марта из Кишинёва *(XIII, 26)*.

Волновалась и Арина Родионовна, которая с 1821 года жила в Петербурге у Пушкиных, в доме А. Ф. Клокачёва (она упомянута среди пушкинской дворни в исповедной книге храма у Покрова в Коломне[216]). Старушке было от чего сокрушаться: судьба явно не благоволила к её питомцам. И то сказать: Оленьке шёл двадцать четвёртый год, а она всё томилась в светлице и никак не могла найти своего князя[217]; Лев рос каким-то забубённым, зряшным; об Александре же няне и вовсе думалось со страхом: уже другой

царь невзлюбил «ангела». И если первый властитель, давнишний, лишь попенял за картуз да потопал августейшими ножками, то нынешний осерчал куда шибче: вон в какую даль спровадил безобидного юнца.

Что-то ждёт его, незадачливого, впереди?

Какие-то сведения о Пушкине до Арины Родионовны доходили. Александр, «огорчая отца язвительным от него отступничеством»[218], иногда писал братцу и сестрице, иногда петербургским знакомым — от них удавалось поживиться новостями и нянюшке. В дом Надежды Осиповны и Сергея Львовича на Фонтанке порою наведывались и приезжавшие с Юга путешественники. Они передавали приветы, поклоны и рассказывали про пушкинские будни и праздники в Екатеринославе, Кишинёве, Одессе, в иных городах и усадьбах.

В таких сообщениях было немало радостного для старухи, но мелькало и тревожное: поэт чуть поумнел, малость остепенился, однако по-прежнему вёл себя неосторожно, погуливал, сочинял всяческую чепуху, ссорился с окружающими, ставил жизнь *на карту*. Кто-то видел его обритым, другой — с длинными курчавыми волосами и «ногтями длиннее ногтей китайских учёных» (А. Ф. Вельтман); все в один голос повторяли, что он «находится в очень стеснённых обстоятельствах» (В. Ф. Вяземская), а иные, с умыслом или по недоразумению, даже распускали слухи о смерти Александра Пушкина. Однако такие зловещие сплетни, к счастью, быстро опровергались.

В зиму с 1821 на 1822 год старшие Пушкины, следуя семейственной традиции, сменили квартиру и перебрались в Климов переулок, в дом иностранца Гронмана. Их новое жилище располагалось неподалёку от дома А. Ф. Клокачёва и относилось к тому же церковному приходу. В исповедную книгу Покровской Больше-Коломенской церкви за 1822 год Арину Родионовну записали (под № 1479) как бывшую на исповеди дворовую «бригадира» и «статского советника» С. Л. Пушкина. С возрастом крестьянки храмовые грамотеи вновь напутали: ей начислили «70 лет» (вместо положенных шестидесяти четырёх)[219].

В конце февраля или в начале марта 1822 года сюда, в Климов переулок, прибыл подполковник И. П. Липранди, «добрый приятель» (*XIII 34)* Пушкина по Бессарабии и Одессе. Иван Петрович (между прочим, вероятный прототип Сильвио из пушкинской повести «Выстрел»), странствовавший по служебным надобностям, привёз в Петербург из Кишинёва письма поэта к Льву Сергеевичу и другим лицам, а также новые пушкинские стихи, предназначенные для печати *(XIII, 35–36)*. Спустя много лет И. П. Липранди описал свой визит в Коломну в

воспоминаниях — и мы должны быть признательны мемуаристу за его строки об Арине Родионовне:

«При выезде моём из Кишинёва 4 февраля 1822 года в Петербург, Александр Сергеевич дал мне довольно большой пакет, включавший в себе несколько писем, чтобы передать оный не иначе, как лично брату его Льву Сергеевичу, а если, по какому-либо случаю, его на это время не будет в Петербурге, то его сестре (так пакет и был написан). <…> На другой день приезда в Петербург, исполнив обязанности службы, я прямо отправился к Сергею Львовичу, жившему по правой стороне Фонтанки, между Измайловским и Калинкиным мостами, в одноэтажном каменном с балконом доме, кажется, одним семейством Пушкина занимавшемся. Я никого не застал дома. Встретивший меня лакей, узнав, что я имею письмо от Александра Сергеевича, позвал какую-то старушку; от неё я узнал, что Александр Сергеевич предупредил уже обо мне. Само собой разумеется, что на все просьбы старушки оставить пакет я не согласился, обещая приехать вечером или на другой день. Расспросы об Александре Сергеевиче сопровождались слезами»[220].

Записки И. П. Липранди, созданные на основе его дневника, «вмещавшего в себя все впечатления дня до мельчайших и самых разных подробностей», считаются у пушкинистов «исключительно ценным»[221] и надёжным историческим источником. Так что и к словам мемуариста о «старушке» — то есть о нашей героине — можно относиться с полным доверием. Это важно для биографа: ведь скрупулёзный И. П. Липранди в двух-трёх фразах сообщил об Арине Родионовне существенные сведения.

Из процитированного мемуарного фрагмента становится, например, ясно, что Арина Родионовна Матвеева занимала тогда в доме Пушкиных весьма привилегированное положение. В отсутствие барина и барыни она чуть ли не *на правах хозяйки* принимала визитёров довольно высокого уровня — господ, да и домашние лакеи видели в ней не только старейшую прислугу, но и *старшую*.

Показательно и то, что няня была в курсе хозяйских дел и имела детальное представление о пушкинской переписке. Разговор с бравым офицером она вела запросто, и отнюдь не по-хамски[222]: задавала гостю вопросы, предлагала свои услуги — одним словом, старушка непринуждённо *беседовала*.

Ну а слёзы Арины Родионовны при упоминании о её «ангеле» отметим конечно же особо. Эти рыдания крестьянки в присутствии незнакомого господина, рыдания непритворные и неудержимые, если угодно — «слишком человеческие», вряд ли требуют пространных комментариев.

Как же она тосковала по *нему*!

В том же 1822 году няню видел в Петербурге, возможно, и двоюродный дядя поэта — коллежский советник Александр Юрьевич Пушкин, судья Костромского совестного суда[223].

Спустя полтора года после памятной встречи с подполковником И. П. Липранди Арина Родионовна, вероятно, столкнулась с другим посланцем из далёкого пушкинского мира. У нас есть основания думать, что в начале осени 1823 года петербургский дом на Фонтанке посетил одесский чиновник Дмитрий, Максимович Шварц. Позже, в декабре 1824-го, Пушкин в письме напомнил ему о нянюшке: «…Вы кажется раз её видели…» *(XIII, 129)*[224]. Однако никаких подробностей визита Д. М. Шварца в Климов переулок отыскать не удалось.

(Кстати, в то время Александр Пушкин уже жительство-вал у моря, в Одессе, рассказывал княгине В. Ф. Вяземской, среди прочего, про «несправедливости его родителей»[225], а начальником поэта по необременительной службе был новороссийский генерал-губернатор граф М. С. Воронцов.)

Летние месяцы в начале двадцатых годов Сергей Львович, Надежда Осиповна, Ольга, Лев и Арина Родионовна, судя по южным письмам поэта *(XIII, 31, 42, 523),* регулярно проводили в сельце Михайловском. Жили они, как и встарь, скромно, денег зачастую было в обрез, и в официальных бумагах о материальном положении семьи писалось почти оскорбительно: «Это фамилия мало состоятельная…»[226] Барон М. А. Корф, лицейский товарищ поэта, сосед по Коломне и довольно тенденциозный мемуарист, обрисовал петербургскую квартиру Пушкиных посредством таких красок: «Дом их был всегда наизнанку: в одной комнате богатая старинная мебель, в другой — пустые стены или соломенный стул; многочисленная, но оборванная и пьяная дворня, с баснословною неопрятностью; ветхие рыдваны с тощими клячами и вечный недостаток во всём, начиная от денег до последнего стакана»[227].

От подобной унылой, близкой к истине прозы мы охотно перейдём к *поэтическим* материалам для биографии Арины Родионовны, которые появлялись тогда же на Юге России.

За годы пребывания вне имперских столиц Александру Пушкину удалось совершить необычайный творческий рывок и выдвинуться в первый ряд российских поэтов. Он отдал в начале двадцатых годов положенную дань царившему тогда романтизму, прилежно учился у европейских и отечественных кумиров и одновременно преодолевал их влияние, открывал и расширял собственные творческие горизонты. В южный период Пушкиным

были созданы, в частности, поэмы «Кавказский пленник», «Братья разбойники», «Бахчисарайский фонтан», стихотворения «Погасло дневное светило…», «Чёрная шаль», «Редеет облаков летучая гряда…», «Наполеон» и многое другое — лирическое и историософское, светлое и (иногда) мрачноватое, сомнительное…

К нему пришла шумная повсеместная слава. Пушкинские творения ждали, переписывали и с восторгом заучивали, вокруг них закипали жаркие баталии в журналах и альманахах, в салонах и офицерских собраниях, в письмах дам и кавалеров. Даже император Александр Павлович, беседуя с приближёнными, аттестовал Пушкина как «повесу с большим талантом»[228] и, кажется, подумывал о том, чтобы «помириться с ним»[229].

Кое-что из написанного на Юге поэт при помощи петербургских приятелей и брата Лёвушки издал почти сразу же, какие-то тексты попали в печать через несколько лет, но были и стихи, которые (в силу самых разных причин) не публиковались при жизни Пушкина.

Из помянутых подспудных произведений повышенный интерес для нас представляет сохранившееся в виде беловика с авторской правкой стихотворение 1822 года:

Наперсница волшебной старины,
Друг вымыслов игривых и печальных,
Тебя я знал во дни моей весны,
Во дни утех и снов первоначальных.
Я ждал тебя; в вечерней тишине
Являлась ты весёлою старушкой,
И надо мной сидела в шушуне,
В больших очках и с резвою гремушкой.
Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный слух напевами пленила
И меж пелён оставила свирель,
Которую сама заворожила.
Младенчество прошло, как лёгкой сон.
Ты отрока беспечного любила,
Средь важных Муз тебя лишь помнил он,
И ты его тихонько посетила;
Но тот ли был твой образ, твой убор?
Как мило ты, как быстро изменилась!
Каким огнём улыбка оживилась!
Каким огнём блеснул приветный взор!
Покров, клубясь волною непослушной,
Чуть осенял твой стан полу-воздушный;
Вся в локонах, обвитая венком,

Прелестницы глава благоухала;
Грудь белая под жёлтым жемчугом
Румянилась и тихо трепетала… (*II, 241)*.

Со времён П. В. Анненкова и его «Материалов…» в науке доминирует мнение, что в этих стихах Александр Пушкин дал «портрет бабушки, Марьи Алексеевны, занимавшей его ребяческие лета»[230].(Подкрепляется же указанная точка зрения, если разобраться, разве что авторитетом «первого пушкиниста».) Однако некоторые пушкинисты XIX–XX веков, прибегнув к различной аргументации, связали «Наперсницу волшебной старины…», с оговорками или без оных, не с М. А. Ганнибал, а с няней поэта.

К такому же выводу склоняется и автор настоящей книги.

На наш взгляд, и пленительные «напевы», и «большие очки», и «шушун», и особенно, конечно, само *таинство предсонья* — всё это гораздо более подходит Арине Родионовне, нежели её пожилой барыне[231]. К тому же поэтический образ «старушки» из стихотворения 1822 года вполне согласуется с образом «мамушки» из пушкинского «Сна» (1816) и, более того, развивает его. А тот образ, запечатлённый в лицейском Отрывке, как сказано, всё же «тяготеет к няне» (В. С. Непомнящий).

«Стихотворение „Наперсница волшебной старины“ совершенно исключительно тем, — утверждал В. Ф. Ходасевич, — что в нём старушка-няня и прелестная дева-Муза являются как *два воплощения одного и того же лица*. <…> Понятия няни и Музы в мечтании Пушкина были с младенчества связаны…»[232] А в более раннем своём очерке, «Явления Музы» (1925), Владислав Ходасевич писал по этому поводу так: «…Традиционный образ Музы, обычно изображаемой в виде прелестной девы, на сей раз расширен и усложнён: Муза Пушкина является в двух образах, соответствующих разным биографическим моментам и разным характерам его вдохновений»[233].

Проще говоря, Арина Родионовна воспринималась взрослеющим и становящимся большим художником Пушкиным как *первый, изначальный* образ его Музы, явившийся поэту задолго до Музы хрестоматийной, то бишь лицейской:

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
……
В те дни, в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,

Являться Муза стала мне… *(VI, 165)*.

Тут, в «Евгении Онегине», для публики всё более или менее понятно и приемлемо; там, в «Наперснице волшебной старины…», — тоже как будто ясно, однако *та* (1822 года) ясность значительную часть публики шокирует.

Неграмотная крепостная баба, находившаяся у поэтической «колыбели» и вручившая младенцу магическую «свирель» — декларация не только принципиальная, но и неслыханно дерзкая, бросающая вызов общественному мнению, *ненормативная* для сословного сознания и литературы первой четверти XIX столетия. Может быть, именно поэтому стихи и не были Пушкиным никогда опубликованы? «Поэт, слишком ещё помнивший поэтический канон XVIII века, вероятно, был несколько озадачен: в начале двадцатых годов такая модернизация могла показаться ему рискованной», — предположил В. Ф. Ходасевич[234].

Верна или нет догадка эмигранта, судить не берёмся. Да и проблема пушкинского «портфеля» (или «письменного стола»), по сути своей проблема очень важная, всё-таки не слишком актуальна в контексте жизнеописания Арины Родионовны. Поэтому здесь мы вполне удовольствуемся фиксацией факта — поразительного признания поэта, гордившегося своим шестисотлетним дворянством и не чуждого аристократическим замашкам из арсенала *la fine de la société*[235]*;* того творческого признания, которое он доверил бумаге в 1822 году.

Минуло несколько месяцев после создания «Наперсницы волшебной старины…» — и Александр Пушкин «с упоеньем» *(XIII, 382)* приступил к многолетней и многотрудной работе над романом в стихах «Евгений Онегин».

К началу декабря 1823 года он завершил в целом две первые песни *(VI, 299)* «свободного романа» и с февраля следующего года *(VI, 303)* сочинял третью главу. (Долгое время считалось за аксиому, что уже к июню 1824 года «глава <была> дописана до письма Татьяны включительно»[236], однако новейшие текстологические исследования существенно скорректировали представления пушкинистов касательно хронологии и последовательности работы поэта.) Ямбические строфы «большого стихотворения» писались Пушкиным в Одессе и Кишинёве (*VI, 532)* — и на одной из строф, предназначавшейся для *второй* песни «Онегина», нам надлежит остановиться.

Во второй главе романа перед читателем впервые предстала Ольга Ларина[237].

В XX веке В. В. Набоков и И. М. Дьяконов[238] подметили, что

Пушкин изначально отводил ей вовсе не ту роль «второго плана», которую она в конце концов получила, а роль самую что ни на есть главную. Скорее всего, на долю миловидной девушки из усадьбы должно было выпасть жестокое испытание: впереди бедную Ольгу поджидала мучительная, неразделённая любовная страсть. «В те дни, — пишет уже С. А. Фомичёв относительно работы Александра Пушкина над черновиком соответствующих стихов об Ольге в тетради ПД № 834, — автору грезилась её трагическая судьба»[239]. Сестры (то есть знаменитой Татьяны), при таком замысле, у Ольги Лариной не предвиделось: она оставалась, как выразился В. В. Набоков, «единственной дочерью, которую (с неизбежными литературными последствиями) должен был совратить негодяй Онегин»[240].

А «опорным образцом» для *той* романной Ольги, для «ландыша потаённого» *(VI, 287),* по остроумной догадке И. М. Дьяконова, была родная сестра поэта, Ольга Сергеевна Пушкина (выше указывалось, что она некогда тоже принесла жертву на алтарь несчастной любви).

Данное предположение должно быть особенно любезно тем, кто видит в романе «Евгений Онегин» не только художественный текст, но и своеобразные *поэтические мемуары* Пушкина[241]. Среди доводов же в пользу версии И. М. Дьяконова мы выделим один: следом за Ольгой Лариной — причём почти сразу, через несколько стихов — в черновике второй главы (а именно — в строфе XXIIб, по нумерации Большого академического собрания сочинений поэта) появилась её няня Фадеевна, в которой угадываются черты Арины Родионовны:

Ни дура Английской породы
Ни своенравная Мамзель
(В России по уставам [моды]
Необходимые досель)
Не баловали Ольги милой
Фадеевна рукою — хилой
Её качала колыбель
Стлала ей детскую постель
Помилуй мя читать учила
Гуляла с нею, средь ночей
Бову рассказывала <ей>
Она ж за Ольгою ходила
По утру наливала чай
И баловала невзначай (*VI, 287–288)*[242].

В черновых наслоениях пушкинской рукописи сходство

Фадеевны с означенным прототипом также не ставится под сомнение:

Не портили её природы

Наставница её…

И сказку говорила ей…

И всё ж за Ольгою ходила… *(VI, 288)*.

Позже, после ряда событий в жизни Пушкина, фабула романа «вдруг» и кардинально изменилась, и по воле автора у Ольги Лариной появилась сестра Татьяна, возведённая (вместо Ольги) в главные героини «Евгения Онегина»[243]. Попутно подверглась переделке и помянутая строфа: в беловике второй главы имя Ольги было заменено именем Татьяны, а Фадеевна стала няней обеих девиц Лариных (*VI, 566–567)*.

Далее мы увидим, что однажды показавшаяся на страницах пушкинского романа нянюшка — «бесподобное лицо в русской литературе по эпической простоте и красоте типа»[244] — присутствовала там вплоть до самой последней песни.

Мораль главы, которая вместила в себя около тринадцати лет жизни нашей героини (с лета 1811-го до лета 1824 года), примерно такова.

Годы разлуки не расторгли душевного союза Арины Родионовны и её воспитанника — напротив, в тот период родство их душ и окрепло, и наполнилось качественно новыми, глубинными смыслами. Для няни где-то странствующий и всеми гонимый Александр Сергеевич не превратился в отрезанный ломоть — нет, он продолжал оставаться незабываемым «ангелом», по которому в городах и весях сохло её *материнское* сердце, лились её старушечьи слёзы и которого она жаждала увидеть.

Человеку добропорядочному просто грешно не отозваться на подобную беззаветную любовь — отозваться равновеликой (или хотя бы посильной) благодарной привязанностью. Но для такого, в некотором роде обыденного и чем-то напоминающего эхо, жеста необходимы, если вдуматься, сущие пустяки быта: нужны всего-навсего *встреча* и *сожительство,* располагающий к напряжённому диалогу чувств *хронотоп.*

Находившийся в отдалении, ничего не знавший о своём будущем Александр Пушкин откликнулся на плач Родионовны

чем только мог — высшим встречным признанием *поэта*: любимая с раннего детства няня стала предметом его поэзии. «Эти воспоминания (поэтические. — *М.* Ф.), быть может, важнее привязанности, но они всецело остаются в области поэзии», — заметил и В. Ф. Ходасевич[245].

Свой обыденный, *человеческий* ответ старушке Пушкин поневоле приберёг до лучших времён.

Или — как посмотреть — до худших?

Весною 1824 года поэт сочинял в Кишинёве лирические фрагменты третьей главы «Евгения Онегина» — и не ведал, что такие времена вот-вот наступят.

Совсем к вечеру склонилась жизнь нашей нянюшки, уже и ночлег вечный где-то приуготовлен был ей. У домика у ветхого примостила о ту пору старушка телегу: пора, дескать, и тележке верной на покой, наскрипелась, древняя, вдоволь, отслужила своё.

Взошла нянюшка в домик, села в горнице к малому оконцу, стала смертный час поджидать. Ждёт-пождёт — а всё понапрасну. Вдруг в зорничник земля за голубою рекою загудела, пыль над дорогою столбом поднялась, где-то топот конский разнёсся: видать, вот оно, от мук избавленье споро движется. И всё ближе, громче сей перегуд — вот уже и на самом дворе тёмном, под домиком, ржание саврасок бабушке чудится.

Очнулась от долгой дремоты тогда нянюшка, привстала, перекрестилась напоследок, поковыляла дверь неотвратимому гостю отворять. А как распахнула створ — так и ахнула, чуть оземь не грохнулась.

Вовсе не тот гость к старухе пожаловал, не провожатый. На пороге ангел её, целый и невредимый, стоял, руки к ней, будто дитятко, тянул…

Глава 5
ПОДРУГА ПОЭТА

В детстве она ласкала и баюкала его; теперь она защитила его от гонения и тоски. Защитила как могла: рассказами о старине, песнями, сказками, неторопливыми разговорами… Она защитила его своею любовью.

В. С. Непомнящий

И худшие — не «кюхельбекерные», а прямо-таки отчаянные — времена настали…

Отношения Александра Пушкина с новороссийским генерал-губернатором М. С. Воронцовым давно были натянутыми, причём *оба* антагониста имели веские основания для неприязни. Поэт и граф, общаясь между собой сугубо официально («говоря не более четырёх слов в две недели»), на стороне выражали накопившееся недовольство в достаточно резких, подчас даже оскорбительных для чести недруга, формах. К тому же чиновник Пушкин исправно получал (по «третям») причитающееся ему казённое жалованье, но столь же исправно игнорировал службу.

В конце концов выведенный из себя аристократ М. С. Воронцов несколько раз пожаловался на Пушкина в Петербург и потребовал убрать из Одессы строптивого и злоречивого подчинённого. «…Избавьте меня от Пушкина, — писал граф Михаил Семёнович К. В. Нессельроде 2 мая 1824 года, — это, может быть, превосходный малый и хороший поэт, но мне бы не хотелось иметь его дольше ни в Одессе, ни в Кишинёве»[246].

Пожелание раздражённого генерал-губернатора было быстро доведено до сведения императора Александра Павловича.

«Какая голова и какой сумбур в этой бедной голове!» — удивлялась сблизившаяся тогда с Пушкиным княгиня В. Ф. Вяземская[247]. Она знала, что самолюбивый Александр Пушкин (называвший графа М. С. Воронцова «вандалом, придворным хамом и мелким эгоистом»; *XIII, 103)* сгоряча написал прошение на высочайшее имя об отставке «по слабости здоровья». Однако княгиня и не подозревала, что в те же сроки полиции стало известно содержание его частного письма, где поэт довольно рискованно высказался на духовные темы («…Беру

уроки чистого афеизма…» и т. п.; *XIII, 92)*. И жёсткая реакция властей на пушкинские проделки, видимо, была обусловлена прежде всего этим обстоятельством — «строчкой глупого письма» *(XIII, 124)*.

Уже 8 июля 1824 года воспоследовало императорское повеление: «Находящегося в ведомстве Государственной Коллегии иностранных дел коллежского секретаря Пушкина уволить вовсе от службы». А спустя три дня Александр I распорядился перевести поэта на жительство в Псковскую губернию с тем, чтобы он «находился под надзором местного начальства»[248].

Тогда же управляющий Коллегией иностранных дел граф К. В. Нессельроде в записке к М. С. Воронцову разъяснил, что Александр Пушкин «слишком проникся вредными началами»; что он наказан «за дурное поведение» и посему удаляется «в имение родителей»[249]. Псковскому же гражданскому губернатору Б. А. фон Адеркасу было отправлено (через прибалтийского генерал-губернатора маркиза Ф. О. Паулуччи) предписание «снестись с предводителем дворянства о избрании им одного из благонадёжных дворян для наблюдения за поступками и поведением Пушкина»[250].

«Полу-милорд, полу-купец» одержал верх, — и общественное мнение *в целом* было на его стороне.

«Виноват один П<ушкин>, — сокрушался А. И. Тургенев в переписке с князем П. А. Вяземским. — Графиня[251] его отличала, отличает, как заслуживает талант его, но он рвётся в беду свою. Больно и досадно! Куда с ним деваться?»[252] Чиновник по особым поручениям при московском генерал-губернаторе А. Я. Булгаков трактовал одесское происшествие так: «Кажется, Воронцов и добр, и снисходителен, а с ним не ужился этот повеса»[253]. А историограф Н. М. Карамзин, выручивший Пушкина в 1820 году, гневался едва ли не пуще всех: «Он не сдержал слова, им мне данного в тот час, когда мысль о крепости ужасала его воображение: не переставал врать словесно и на бумаге, не мог ужиться даже с графом Воронцовым, который совсем не деспот!»[254]

С предписанием об изгнании из романтического приморского города ошеломлённый Пушкин ознакомился 29 июля.

Княгиня В. Ф. Вяземская вспоминала: «Когда решена была его высылка из Одессы, он прибежал впопыхах с дачи Воронцовых, весь растерянный, без шляпы и перчаток, так что за ними посылали человека от княгини Вяземской»[255].

Поэта отлучали от «европейского образа жизни» *(XIII, 67)* и отправляли — как злоумышленника — в форменную ссылку.

Через день, поутру 1 августа 1824 года, Александр Пушкин, накануне получивший 389 рублей 4 копейки прогонных денег «на три лошади», покинул Одессу — «летом песочницу, зимой чернильницу» — и направился в скучную и пустынную. Богом забытую Псковскую губернию.

Он пребывал в бешенстве и отчаянии одновременно.

В двадцать пять лет всё ему разом опостылело, — и поэт покорно ехал хоронить в глуши собственную душу. Мыслей о «грустных заблужденьях», о «строгом заслужённом осужденьи» *(III, 999)* у него, кажется, пока не мелькало: такие думы посетили Пушкина значительно позже.

9-го числа путник узрел знакомые с юности Михайловские рощи:

……годы
Промчалися — и вы во мне прияли
Усталого пришельца — я ещё
Был молод — но уже судьба и страсти
Меня борьбой неравной истомили.
……
Утрачена в бесплодных испытаньях
Была моя неопытная <?> младость —
И бурные кипели в сердце чувства
И ненависть и грёзы мести бледной… *(III, 996)*.

В сельце Михайловском, находящемся в пяти верстах от Святогорского монастыря, он обнаружил всю фамилию Пушкиных: отца с матерью и Ольгу с повзрослевшим Львом. «Приехав сюда, был я всеми встречен как нельзя лучше…» — сообщил поэт В. А. Жуковскому *(XIII, 116)*.

Вместе со «всеми» встречала его и вышедшая из своего домика старенькая Арина Родионовна.

«Лес оканчивается у самого села Михайловского. При слове „село“ не думайте о церкви и многих домах, которые ютятся около церкви в русских сёлах. В Псковской губернии селом называется просто усадьба или селение… Внизу домовой террасы по лугу извивалась река Сороть, а с правой стороны кругозора, бок о бок с рекою, лежало огромное озеро, за которым высился большой лес; с левой стороны террасы находилось ещё озеро, уходившее в другой лес; прямо перед рекою и за рекою распространились луга. Вид очаровательный»[256].

Таким уголком представлялось Михайловское мечтательным умиротворённым людям позапрошлого века. Но Александру

Пушкину было не до аркадских идиллий: на первых порах ему увиделась разве что «глухая деревня» *(XIII, III)*.

Да и усадьба с запущенным «аглицким» садом на косогоре не слишком радовала глаз. Деревянный одноэтажный дом, обшитый тёсом, стоял на каменном фундаменте и был длиною всего до восьми, а шириною — до шести сажен, имел два крыльца и один балкон. К дому примыкали четыре службы, или флигеля: «один деревянного строения, крыт и обшит тёсом, комнат одна, под одной связью баня. Второй — с двумя избами и в каждой по русской печи, крыт соломой». (Это строение предназначалось, вероятно, для дворовых людей[257].) «Третий — с тремя комнатами, четвёртый — две комнаты»[258]. По приговору современника, барское жилище с «шатким крыльцом» очень походило на «ветхую хижину»[259].

Одно утешение: в двух верстах, за леском и озером, в селе Тригорском, жили Прасковья Александровна Осипова, недавно (вторично) овдовевшая помещица сорока трёх лет[260], с хорошенькими дочерьми Евпраксией и Анной Вульф и сыном Алексеем — дерптским студентом, весьма кстати приехавшим в усадьбу на каникулы. Заброшенный в ссылку Александр Пушкин быстро с ними сошёлся и охотно *коротая время,* гулял верхом на аргамаке, танцевал и пил жжёнку, вёл «патриархальные разговоры» *(XIII, 114, 532),* просто бездельничал под липовыми сводами и даже успешно флиртовал.

В этой весёлой и шумной компании поэту удавалось малость развеяться, обмануть гнавшуюся за ним тоску — но, увы, ненадолго: вскоре жестокая хандра вновь ловила Пушкина и цепко хватала за ворот.

Тогдашние пушкинские письма из Михайловского — безнадёжно грустные и *нервные* письма. «О моём житье-бытье ничего тебе не скажу, — читаем, например, в его послании к князю П. А. Вяземскому, — скучно вот и всё. <…> Умираю скучно» *(XIII, III)*. «О себе говорить не намерен, я хладнокровно не могу всего этого раздумать, — писал поэт уже В. А. Жуковскому, — может быть тебя рассержу, вывалив что у меня на сердце» *(XIII, 113)*. Да и княгине В. Ф. Вяземской Пушкин по-французски пожаловался на «бешенство скуки, снедающей <… > нелепое существование» *(XIII, 114, 531)*.

После всех одесских и прочих потрясений кручинный анахорет сумел-таки сосредоточиться и уселся за письменный (ободранный ломберный) стол. За остаток северного лета и начало осени им было создано несколько важных сочинений. Они заносились в кожаную тетрадь, которую позднее в научной литературе стали именовать «второй масонской» (ПД № 835). И

уже в этих *первых* михайловских произведениях появились стихи и строфы, относящиеся к Арине Родионовне.

По случаю свидания с «мамушкой» Александр Пушкин, можно сказать, устроил в деревне небольшой поэтический фейерверк.

В августе — октябре 1824 года были завершены черновой (не сохранившийся) и беловой варианты стихотворения «Разговор книгопродавца с поэтом»[261]. Тут, среди прочего, упоминалось и

Старушки дивное преданье *(III, 784)*.

А в окончательной редакции стих приобрёл уже знакомый нам вид:

Старушки чудное преданье *(III, 290, 784)*.

(Вскоре Лёвушка Пушкин увёз «Разговор» в Петербург, и в 1825 году стихотворение было напечатано в качестве предисловия к отдельному изданию первой главы «Евгения Онегина». Так продолжилась публичная литературная биография няни.)

На грубоватых белых листах «второй масонской» тетради Пушкин продолжил работу и над третьей песнью «Евгения Онегина» — той самой песнью, где влюблённая Татьяна Ларина «в темноте» разговаривает со своей няней «о старине», а затем сочиняет исповедальное письмо заглавному герою: «Я к вам пишу — чего же боле?..»

Лишь сравнительно недавно, на исходе прошлого столетия, пушкинисты провели текстологический анализ тетради ПД № 835 и установили, что «строфы, посвящённые ночной беседе Татьяны с няней (XVII–XXI), а также последующие строфы (до XXVIII включительно) были дописаны, вероятно, уже при окончательной доработке главы — очевидно, в Михайловском»[262].

Выше нами приводился рассказ романной старушки о своём раннем замужестве[263], однако этой печальной повестью няня Фадеевна (или Филипьевна) не ограничилась. В беседе с Татьяной она затронула и другую, «фольклорную» тему:

……Я, бывало,
Хранила в памяти не мало
Старинных былей, небылиц
Про злых духов и про девиц;
А нынче всё мне тёмно, Таня:

Что знала, то забыла. Да,
Пришла худая череда!
Зашибло… *(VI, 58–59)*.

А далее, через строфу, шли такие стихи:

И няня девушку с мольбой
Крестила дряхлою рукой *(VI, 60)*.

Процитированные фрагменты, похоже, перекликаются со стихами о «мамушке» из пушкинского лицейского стихотворения «Сон (Отрывок)»:

Она, дух***о***в молитвой уклоня,
С усердием перекрестит меня… *(I, 146)*.

В следующей, XX строфе Пушкин вновь почтил вниманием сидящую

……на скамейке
Пред героиней молодой,
С платком на голове седой,
Старушку в длинной телогрейке… *(VI, 60)*.

«Длинная телогрейка» няни Татьяны ассоциируется со «старинным одеяньем» «мамушки» из «Сна» (1816) и в особенности с «шушуном»[264] из «Наперсницы волшебной старины…» (1822). В то же время Фадеевна (Филипьевна) одета здесь, что называется, не совсем по сезону: ведь действие главы разворачивается, судя по мелочам поэтического текста, душным летом (*VI, 58)*. Можно предположить, что именно так — в платке и запоминающейся длиннополой телогрейке — хаживала Арина Родионовна в Михайловском осенью 1824 года[265].

Седая протагонистка заглянула и в последующие стихи этой песни «Онегина» — например, в строфу XXXV:

«Сердечный друг, уж я стара,
Стара: тупеет разум, Таня;
А то, бывало, я востра,
Бывало, слово барской воли…» *(VI, 69)*.

Сверх того, в тексте ряда строф третьей главы (в XXXIV, XXXV, а также в черновой строфе XXXVa и зачёркнутой беловой XLII) нашлось пристанище и для некоего *внука* Фадеевны (Филипьевны): по воле автора мальчик тайком отправился с письмом Татьяны к Онегину. Занятно, что подходящий по возрасту внук имелся и у Арины Родионовны — это Михаил Алексеев, десятилетний сын её дочери Марии, который, правда, жил в подмосковном Захарове[266]. Впрочем, у нашей героини могли быть и иные, приписанные как раз к Михайловскому и знакомые Пушкину, но оставшиеся не известными пушкинистам, внуки.

По однажды высказанному Т. Г. Цявловской предположению, на полях черновиков этой главы «Евгения Онегина» есть и графический портрет Арины Родионовны[267]. Однако далеко не все исследователи рисунков поэта согласились с подобной атрибуцией.

Как уже сказано ранее[268], Александр Пушкин признался, что «оригиналом», прототипом Татьяниной няни явилась Арина Родионовна. Едва ли старушка, которая всё никак не могла наглядеться на своего прилетевшего «ангела», что-либо знала об этом. А если даже и знала, то навряд ли она могла оценить по достоинству пушкинскую выдумку.

К началу октября 1824 года брульон (черновик) разбираемой песни «Евгения Онегина» был в основном завершён. Набравший ход Пушкин тотчас обратился к новым сюжетам, к «Цыганам» и прочему — и тут в сельце Михайловском произошло нечто такое, что едва не погубило поэта окончательно.

Выполняя предписание из Петербурга, псковский губернатор Б. А. фон Адеркас определил в «наблюдатели» за Александром Пушкиным опочецкого и новоржевского помещика коллежского советника И. М. Рокотова. Последний, однако, быстро и наотрез отказался шпионить за поэтом, сославшись на расстроенное здоровье (впоследствии анонимный автор очерка в «Псковских губернских ведомостях» весьма резонно предположил, что И. М. Рокотов попросту перестраховался; он «опасался пылкой натуры поэта и оттого не хотел становиться в щекотливое положение в отношении к нему»[269]). И тогда губернский начальник принял поистине соломоново решение: он поручил надзирать за подозрительным дворянином его отцу, Сергею Львовичу Пушкину.

А тот, как назло, «имел слабость согласиться» *(XIII, 114, 532)*.

В рапорте на имя маркиза Ф. О. Паулуччи, отправленном 4 октября 1824 года, Б. А. фон Адеркас доложил: «Итак, по прибытии означенного коллежского секретаря Александра

Пушкина и по отобрании у него подписки[270] и по сношении о сём с родителем его г<осподином> статским советником Сергеем Пушкиным, известным в губернии как по его добронравию, так и честности, и который с крайним огорчением об учинённом преступлении сыном его отозвался неизвестностию, поручен в полное его смотрение с тем заверением, что он будет иметь бдительное смотрение и попечение за сыном своим»[271].

Спустя неделю прибалтийский генерал-губернатор одобрил выбор Б. А. фон Адеркаса, со значением подчеркнув, что «родительская власть неограниченнее посторонней»[272].

Так Сергей Львович из обычного добропорядочного отца превратился в официальное лицо, на которое возложена важная государственная — причём *полицейская* — миссия.

К тому времени между родителями и Александром уже пробежала чёрная кошка. «Меня попрекают моей ссылкой; считают себя вовлечёнными в моё несчастье, — сообщал поэт княгине В. Ф. Вяземской, — утверждают, будто я проповедую атеизм сестре — небесному созданию — и брату — потешному юнцу, который восторгался моими стихами, но которому со мной явно скучно» *(XIII, 114, 531–532)*. Когда же Александр Пушкин узнал о фискальных функциях родителя, их отношения испортились окончательно.

И вскоре, на исходе октября, в Михайловском разразился неслыханный доселе скандал.

Свою версию чреватой самыми непредсказуемыми последствиями ссоры растерянный поэт изложил в послании к В. А. Жуковскому, которое датировано 31 октября. Оно было отправлено в Петербург при посредничестве П. А. Осиповой:

«Милый, прибегаю к тебе. Посуди о моём положении. <…> Пещуров[273], назначенный за мною смотреть, имел бесстыдство предложить отцу моему должность распечатывать мою переписку, короче быть моим шпионом; вспыльчивость и раздражительная чувствительность отца не позволяли мне с ним объясниться; я решился молчать. Отец начал упрекать брата в том, что я преподаю ему безбожие. Я всё молчал. Получают бумагу, до меня касающуюся. Наконец желая вывести себя из тягостного положения, прихожу к отцу, прошу его позволения объясниться откровенно… Отец осердился. Я поклонился, сел верьхом и уехал. Отец призывает брата и повелевает ему не знаться avec ce monstre, ce fils dénaturé…[274] (Жуковский, думай о моём положении и суди). Голова моя закипела. Иду к отцу, нахожу его с матерью и высказываю всё, что имел на сердце целых 3 месяца. Кончаю тем, что говорю ему в последний раз. Отец мой,

воспользуясь отсутствием свидетелей, выбегает и всему дому объявляет, что *я его бил, хотел бить, замахнулся, мог прибить*… Перед тобою не оправдываюсь. Но чего же он хочет для меня с уголовным своим обвинением? рудников сибирских и лишения чести? спаси меня хоть крепостию, хоть Соловецким монастырём. Не говорю тебе о том, что терпят за меня брат и сестра — ещё раз спаси меня.

31 окт<ября>. *А. П.*

Поспеши: обвинение отца известно всему дому. Никто не верит, но все его повторяют. Соседи знают. Я с ними не хочу объясняться — дойдёт до правительства, посуди, что будет. Доказывать по суду клевету отца для меня ужасно, а на меня и суда нет. Я hors la loi[275]» *(XIII, 116–117; выделено Пушкиным)*.

В тот же день поэт вознамерился разрубить гордиев узел и набросал записку к Б. А. фон Адеркасу, прося того ходатайствовать перед царём о «последней милости»: переводе его, Александра Пушкина, из деревни «в одну из своих крепостей» *(XIII, 116)*. Однако человек, посланный с бумагой в Псков, вероятно, подчинился распоряжению П. А. Осиповой и «нигде не нашёл» губернатора. Это и спасло Пушкина, который позднее, поостыв, счёл за благо уничтожить самоубийственную эпистолию.

После бурных сцен и безрассудных поступков, грозивших ссыльному поэту «палачём и каторгою» *(XIII, 124),* домашние страсти чуть поулеглись, но согласие так и не вернулось в семью Пушкиных. Сергей Львович вкупе с Надеждой Осиповной продолжали поругивать сына, а тот, не желая «выносить сору из Михайловской избы» (XIII, 118), старался пореже бывать в усадьбе, наведывался к барышням в Тригорское и галопировал по окрестным полям. Возвращаясь же, крепился, терпел «дурака» и прочие оскорбления и не вступал в дебаты.

Взаимное отчуждение день ото дня крепло.

Брат Лев Сергеевич, уехавший в Петербург в начале ноября 1824 года[276], поведал там В. А. Жуковскому, что «всё будет само собою устроено», но Александр был «столько же не прав, сколько и отец» (XIII, 119–120). Того же мнения стали держаться и хорошо изучивший пушкинскую натуру В. А. Жуковский, и П. А. Вяземский. Князь полагал, что Пушкину надо как можно быстрее «сделать первому шаги к примирению с отцом»[277].

Зато Ольга Сергеевна, «милая Оля» (XIII, 127), платя неизбежную дань родственной дипломатии, кажется, взяла всё же сторону бедного брата и всячески старалась его приободрить. Но в тайных союзницах и утешительницах опального поэта О. С. Пушкина состояла очень недолго: она покинула сельцо Михайловское примерно через неделю после «пустельги» (XIII,

123) Лёвушки.

Труднее всех в сложившейся ситуации пришлось, вероятно, не принадлежавшей ни к какой из враждующих «партий» Арине Родионовне. Ведь крестьянка была истово предана всем Пушкиным, всех их, пусть и по-разному, но крепко, любила — и жестокий разлад в семье, случившийся на её глазах, не мог не причинить старушке душевных мучений. Что бы ни твердили окружающие, кого бы ни винила соседская молва, подле себя няня видела прежде всего погорячившихся и оттого страдающих кровников — и обоих упрямцев, старого и малого, она бесхитростно жалела.

Но принести мир в покачнувшийся дом Пушкиных крепостная старуха, конечно, не могла. «Дела мои всё в том же порядке», — уведомлял поэт брата (XIII, 118).

Наконец 17 или 18 ноября отбыли в Петербург и Надежда Осиповна с Сергеем Львовичем[278]. (В последующие два года родители всячески уклонялись от общения с сыном Александром и, забирая с собою Ольгу Сергеевну, ездили не в свою псковскую деревню, а в Москву и в Ревель, на «морские купания».)

В Михайловском сразу же стало спокойнее.

Однако Пушкина, оказавшегося в «совершенном уединении» *(XIII, 129),* в царстве «скуки смертной» *(XIII, 118)* по-прежнему одолевали мрачные мысли. Он вовсю строил опасные планы. «Заветной мечтой поэта <…> сделалось одно, — утверждал впоследствии П. В. Анненков, — бежать от заточения деревенского, а если нужно, то и из России»[279]. Глухие намёки на это есть и в пушкинских стихах, и в переписке с братом, и в письме осведомлённой П. А. Осиповой к В. А. Жуковскому от 22 ноября 1824 года. Тригорская помещица буквально умоляла Василия Андреевича выручить Пушкина из ссылки, иначе «его талант, его поэтический гений» могли захиреть: «Наш Псков хуже Сибири, а здесь пылкой голове не усидеть»[280].

Между тем приблизилась зима.

В целях экономии ряд помещений в господском доме (включая и залу с бильярдом) наглухо закрыли и перестали топить там печи.

Арина же Родионовна с наступлением холодов перебралась из своего летнего флигеля («домика няни») в главное строение и заняла комнату напротив пушкинской. «Комната Александра была возле крыльца <…>, — вспоминал редкий его гость. — В этой небольшой комнате помещалась кровать его с пологом, письменный стол, шкаф с книгами и проч. и проч. Во всём поэтический беспорядок, везде разбросаны исписанные листы бумаги, всюду валялись обкусанные, обожжённые кусочки перьев

<…>. Вход к нему прямо из коридора…»[281]

Другой визитёр, Н. М. Языков, оставил нам поэтическое описание пушкинской кельи:

Вон там — обоями худыми
Где-где прикрытая стена,
Пол нечинённый, два окна
И дверь стеклянная меж ними;
Диван под образом в углу,
Да пара стульев…

В хозяйственные дела по дому и поместью Пушкин почти не вмешивался.

А в обители няни поставили «множество пяльцев»: там с некоторых пор постоянно собирались крестьянки-швеи и трудились под началом Арины Родионовны. Среди этой «молодой команды» была и восемнадцатилетняя Ольга Калашникова, дочь управляющего («особливо доверенного человека Сергея Львовича Пушкина и семьи Пушкиных»[282]), вскоре пополнившая «Дон-Жуанский список» поэта и на многие месяцы ставшая его «крепостной любовью».

«Сижу дома да жду зимы», — сухо сообщал Александр Пушкин сестре 4 декабря 1824 года *(XIII, 127)*. Разве мог он, страстно мечтавший о *воле,* тогда допустить, что впереди — целых две михайловских зимы и около двух лет затворничества?

Но без этих двух лет и без своей дряхлой *подруги*[283] Арины Родионовны поэт, видимо, так и не вырос бы в «единственное явление русского духа», да и как человек «во многом был бы, может, другим»[284].

Утренние и дневные часы Пушкин обычно посвящал поэтическим трудам, работал он также и над записками (позднее уничтоженными). Затем — довольно поздно — обедал. (Кухаркой, и, похоже, отменной, была в Михайловском Неонила Анафриева[285], а прислуживала за столом, «набирала обед», наша героиня.) После трапезы поэт садился на лошадь или пешком отправлялся в Тригорское. Возвращался оттуда к вечеру, нередко уже в темноте.

И почти все пушкинские вечера безраздельно принадлежали «мамушке».

«При завыванье бури» *(III, 1007)* Арина Родионовна вела неспешные беседы с «ангелом» — о них Пушкин через десятилетие написал так:

Её простые речи и советы
И полные любови укоризны
Усталое мне сердце ободряли
Отрадой тихой… *(III, 995–996)*.

Сходили на нет беседы — начинались негромкие нянины песни, а чаще всего приходил черёд её сказок, знакомых

От малых лет — но всё приятных сердцу
Как шум привычный и однообразный
Любимого ручья… *(III, 998)*.

Эти сказки, равно как и сама Арина Родионовна, были отмечены в пушкинских письмах конца 1824-го — начала 1825 года. «…Вечером слушаю сказки — и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания, — сообщал поэт брату в середине ноября. — Что за прелесть эти сказки! каждая есть поэма!» *(XIII, 121)*. Спустя три недели он оповестил о том же и Д. М. Шварца: «…Вечером слушаю сказки моей няни, <…> она единственная моя подруга — и с нею только мне нескучно» *(XIII, 129)*. А князю П. А. Вяземскому было поведано 25 января 1825 года: «…Живу недорослем, валяюсь на лежанке и слушаю старые сказки да песни» *(XIII, 135)*.

О старушке Пушкин упомянул и в письме к сестре Ольге, написанном 4 декабря 1824 года: «Няня исполнила твою комисию, ездила в Св<ятые> горы и отправила панихиду или что было нужно[286]. Она цалует тебя…» *(XIII, 127)*.

Вероятно, в ноябре 1824 года поэт занёс в так называемую «третью масонскую» тетрадь (ПД № 836) семь народных сказок: «Некоторый Царь задумал жениться…»[287], «Некоторый царь ехал на войну…», «Поп поехал искать работника…», «Царь Кащей безсмертный…», «Слепой Царь не веровал своей жене…», «О святках молодыя люди играют игрища…» и «Царевна заблудилася в лесу…»[288].

П. В. Анненков, напечатавший (в Приложениях к «Материалам для биографии Александра Сергеевича Пушкина»; 1855) некоторые из этих сказок, нисколько не сомневался, что они зафиксированы со слов Арины Родионовны. Так же впоследствии думали и иные авторитетные пушкинисты (к примеру, М. А. Цявловский). Отдельные учёные, правда, замечали, что «в своих родовых деревнях Пушкин слыхал сказки и от других лиц, не только от няни», однако тут же они добавляли: «Нет сомнения, что Арина Родионовна была выдающаяся

сказочница, которая рассказывала художественно и прекрасным русским языком»[289]. Тем самым исследователи, изучавшие записанные поэтом сказочные тексты, косвенно всё же признавали источником этих текстов нянюшку Пушкина.

Публикуя в 1855 году три «рассказа Арины Родионовны», П. В. Анненков оценил их довольно сдержанно: «Они поражают вообще хитростью и запутанностью содержания, которое иногда трудно и разобрать. <…> Изложение Пушкина, однако же, чрезвычайно бегло и едва даёт понятие о самом цвете и физиономии, так сказать, няниных рассказов»[290]. Но в XX веке фольклорист М. К. Азадовский, более глубоко проанализировавший *все семь* «сказок Арины Родионовны», их состав и характер, пришёл к совершенно противоположным выводам[291].

Учёный обнаружил, что в михайловских текстах поэта «есть некоторые особенности, которые позволяют говорить о некоем единстве этих записей и приурочить — если и не все тексты, то во всяком случае главнейшие — одному лицу, именно Арине Родионовне» (с. 275). К таковым особенностям можно, в частности, отнести «отчётливую печать женской манеры рассказывания» (с. 275–276) и «единство приёмов повествования» (с. 276).

В ходе анализа самих сказок М. К. Азадовский установил, что тексты Арины Родионовны порою выгодно отличаются от тематически близких им фольклорных текстов «большой стройностью, разработанностью отдельных эпизодов и наличием некоторых любопытных деталей, отсутствующих в других известных нам редакциях» (с. 277); что пушкинская старушка мастерски «владела тем, что называется „сказочной обрядностью“» (с. 287): чётко соблюдала закон трёхчленности, прибегала к рифмовке, игре слов и т. п. (с. 287–289); что она «обогащала сказку новыми деталями, создавала психологические образы, вплетала в фантастическую ткань реалистические штрихи, переводя тем самым сказочное повествование в план близкой и знакомой действительности» (с. 289).

«Так из отдельных намёков и штрихов воссоздаётся образ замечательной сказочницы начала XIX века, чьё выдающееся мастерство оказало влияние и на творчество Пушкина», — заключил свой очерк М. К. Азадовский (с. 291).

Действительно, эти пятнадцать страниц «третьей масонской» тетради с «рассказами Арины Родионовны» позднее очень пригодились поэту: они послужили материалом для *пушкинских* сказок — о царе Салтане, о попе и его работнике Балде, о мёртвой царевне[292]. А нянина сказка «Царь Кащей безсмертный…» была

переработана Пушкиным в стихи «У лукоморья дуб зелёный…», которые открыли Пролог во втором издании поэмы «Руслан и Людмила» (1828). Любопытно, что шесть начальных стихов данного Пролога (видимо, сочинённых опять-таки в ноябре 1824 года) поэт записал на внутренней стороне переплёта «третьей масонской» тетради — очевидно, в качестве эпиграфа к ней *(IV, 276)*.

«Сказками Пушкина мы в первую очередь обязаны ей», — подытоживает в наши дни размышления о няне и пушкинских сказках и В. С. Непомнящий[293].

А на соседних листах той же тетради, сразу же за сказками, поэтом были записаны и четыре народные песни: две о Сеньке, сыне Степана Разина («В городе-то было во Астра-хане…» и «Как на утренней заре, вдоль по Каме по реке…»), а также «Во славном городе во <Киеве>…» и «Как за церковью, за немецкою…» *(XVII, 409–413)*. Обычно считается, что и эти фольклорные произведения он узнал тогда же, в деревне, от Арины Родионовны[294].

«Образ жизни моей всё тот же…» — сообщал Пушкин брату в начале двадцатых чисел ноября 1824 года *(XIII, 123)*. В других письмах он снова жаловался на меланхолию и «одиночество» *(XIII, 128)* и называл Михайловское «своим гнездом» *(XIII, 129)*. Когда в середине декабря из Дерпта приехал Алексей Вульф, поэт опять зачастил в Тригорское, где «завязалось дело презабавное» *(XIII, 130)*.

Тут и зима полностью вступила в свои права, завершилась Четыредесятница — пришёл чудный праздник Рождества. На Святках Пушкин не только обсуждал с А. Н. Вульфом план тайного отъезда в чужие края, но и параллельно работал над «Борисом Годуновым».

Тогда он ещё не мог взять в толк, что его «народная трагедия», план и первые её черновые сцены, явилась началом долгого и трудного опровержения его же незрелой, с примесью злости и даже злобы, конспирологии; что это, «Борис Годунов» и бегство, то есть история и антиистория, поэма и эпиграмма — были в сущности своей «две вещи несовместные» *(VII, 134)*.

В деревню иногда наведывались дорогие и душевнополезные Александру Пушкину люди, которые становились, по слову В. Ф. Ходасевича, «заплатами на его одиночестве»[295]. Они без всякой спеси и подолгу общались с Ариной Родионовной.

Первым в Михайловское, презрев возможные неприятности по службе, примчался лицейский «друг бесценный» — Иван Иванович Пущин, чиновник Московского надворного суда и член

тайного Северного общества. Сани с «Большим Жанно» остановились у крыльца опального дома на рассвете 11 января 1825 года. Хотя стоял «страшный холод», Пушкин выскочил на двор встречать визитёра «босиком, в одной рубашке».

Не успели «скотобратцы» вдоволь нацеловаться, отдышаться и отогреться, как в комнате появилась Арина Родионовна. «Прибежавшая старуха застала нас в объятиях друг друга в том самом виде, как мы попали в дом: один — почти голый, другой — весь забросанный снегом, — писал И. И. Пущин. — Наконец пробила слеза (она и теперь, через тридцать три года, мешает писать в очках), мы очнулись. Совестно стало перед этою женщиной, впрочем, она всё поняла. Не знаю, за кого приняла меня, только, ничего не спрашивая, бросилась обнимать. Я тотчас догадался, что это добрая его няня, столько раз им воспетая, чуть не задушил её в объятиях».

Арина Родионовна не терялась в догадках: она сразу увидела, что её «ангел» встретил господина в «заиндевевшей шубе и шапке» так, как никого не принимал ранее — встретил как *родного* человека. Этого было достаточно, чтобы и для няни неведомый заснеженный гость с порога, без каких бы то ни было рекомендаций, тоже стал *родным.*

Всего-то несколько часов, до ночи, пробыл Иван Пущин в Михайловском — а воспоминание о мимолётном свидании с трогательной старушкой он пронёс и через каторжную Сибирь, и через всю жизнь. Память декабриста сохранила множество эпизодов того дня с участием Арины Родионовны.

Он и в старости, повествуя об Александре Пушкине, ясно видел: как «среди молодой своей команды няня преважно разгуливала с чулком в руках»; как за обедом она отведала привезённого «искромётного» Клико (!) и развеселилась; как Арина Родионовна, почему-то вообразившая, что Пущин останется погостить, «велела в других комнатах затопить печи, которые с самого начала зимы не топились», — и вся честная компания едва не угорела[296]. Сам того, видимо, не подозревая, мемуарист походя создал в мемуарном тексте о Пушкине лиричный этюд о нашей героине.

Спустя месяц после посещения ссыльного друга, 18 февраля 1825 года, И. И. Пущин черкнул тому несколько строк. Примечательно, что это письмо, отосланное из Москвы, кончалось словами: «Кланяйся няне» *(XIII, 144)*.

Пущинская весточка была доставлена адресату как раз в те февральские дни, когда Пушкин, заботясь об Арине Родионовне, расстался с домоправительницей (или экономкой) Р. Г. Горской, «мерзавкой и воровкой». «…Розу Григорьевну я принуждён был

выгнать за непристойное поведение и слова, которых не должен я был вынести. А то бы она уморила няню, которая начала от неё худеть» — так мотивировал поэт произведённую им «перемену в министерстве» в письме к брату Льву от 23 февраля 1825 года *(XIII, 146)*.

(П. Е. Щёголев почему-то решил, что нанесённая Арине Родионовне обида, «по всей видимости, имеет отношение к интимным делам Пушкина», то есть к его «роману» с Ольгой Калашниковой: «Ушла Роза, которая могла быть свидетельницей романа. <…> А в чём обида, можно только строить догадки»[297]. Пушкинист весьма категорично зачислил няню в «лютые гаремные стражи» (В. Ф. Ходасевич), в «покровительницы романа»: «В узкой ограниченности барского дома и усадьбы от няни не укрылось бы ни одно вожделение любезного её сердцу питомца»[298].

В. В. Вересаев в очерке «Крепостной роман Пушкина» (1928) сдержанно возразил Павлу Елисеевичу: «Откуда это знает Щёголев? <…> Мы не имеем данных утверждать, что Родионовна в чём-нибудь перечила Пушкину, но также не имеем решительно никаких данных с щёголевскою уверенностью признавать её сводней в любовных делишках своего питомца. Общее уважение, которым она пользовалась в семье Пушкина, не достигается одним низкопоклонством и потаканием барским прихотям. И во всяком случае, по крайней мере, столь же вероятно, что она с осуждением, — пускай, может быть, и молчаливым, — относилась к шалостям молодого барина»[299].)

Уже весной, в апреле 1825 года, у поэта в Михайловском гостил другой его лицейский друг — барон А. А. Дельвиг. Очевидно, и он быстро сдружился с Ариной Родионовной. Позже барон помянул няню добрым словом в одном из писем к Пушкину *(XIII, 295)*.

Хорошо запомнила старушку и Анна Петровна Керн, неоднократно приезжавшая в Тригорское и заодно посещавшая Михайловское. Свидетельством тому стали тёплые мемуарные строки «вавилонской блудницы» об Арине Родионовне.

Любопытное воспоминание о четырёхдневном пребывании во владениях Александра Пушкина оставил офицер Лубенского гусарского полка Александр Петрович Распопов (Роспопов), давний знакомый поэта[300]. Гусар наведался в сельцо Михайловское с приятелями по полку в июне или июле 1825 года. Этому эпизоду он отвёл чуть более тридцати строк своего мемуарного очерка — и вышло так, что почти половину текста офицер посвятил Арине Родионовне. Как будто именно к пушкинской няне, сделав порядочный крюк, заглянул лихой

поклонник стихов и шампанского…

Она-то и встретила развесёлую офицерскую компанию в Михайловском: «Когда подходили мы к дому, на крыльце стояла пожилая женщина, вязавшая чулок; она, приглашая нас войти в комнату, спросила:

— Откудова к нам пожаловали?»

Из дальнейшего рассказа А. П. Распопова выясняется, что Арина Родионовна самым тщательным образом ухаживала за гостями все четыре летних дня: «Няня около нас хлопотала, сама приготовляла кофе, поднося, приговаривала:

— Не прогневайтесь, родные, чем Бог послал: крендели вчерашние, ничего, кушайте на доброе здоровье, а вот мой Александр Сергеевич изволит с маслом кушать ржаной…»

Да и расставание офицеров со старушкой было столь же сердечным: «Няня Арина Родионовна на дорогу одарила нас своей работы пастилой и напутствовала добрым пожеланием»[301].

Словом, и приняла, и приветила, и проводила нянюшка нежданных гостей как натуральная радушная *помещица* средней руки.

«Няня заочно у вас, Ольга Сергеевна, ручки цалует — голубушки моей», — напоминал поэт своей сестре об Арине Родионовне в августе 1825 года *(XIII, 209)*.

А чуть раньше, во второй половине июля 1825 года, Пушкин написал на французском языке пространное письмо к верному конфиденту — Н. Н. Раевскому-младшему[302]. Там, среди теоретических размышлений о драме, между строк о Байроне, Шекспире и прочем, присутствовали и такие знаменательные слова: «Покамест я живу в полном одиночестве <…>, и у меня буквально нет другого общества, кроме старушки-няни и моей трагедии; последняя подвигается, и я доволен этим» *(XIII, 197, 540–541)*.

(Кстати, работая над «Борисом Годуновым», Александр Пушкин, как полагают некоторые учёные, привнёс в образ мамки царевны Ксении черты своей няни.)

Да, именно «Борис Годунов» и Арина Родионовна были двумя *столпами* его тогдашнего деревенского бытия — бытия в эпоху, когда поэт внезапно прозрел: «Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить» *(XIII, 198, 542)*.

Заметим: ещё совсем недавно Пушкин запросто мог примериваться к *разрушительной* судьбе князя Андрея Курбского — теперь же он «мог *творить*[303]»…

К «полному развитию» его гения была причастна и шестидесятисемилетняя крепостная старуха с неизменными спицами в руках. Повторим слова В. С. Непомнящего: «Я склонен

думать, что это влияние было необычайно значительным <…>. Я думаю также: то, что мы называем художнической мудростью и объективностью Пушкина, его мужественное эпическое беспристрастие, его умение взглянуть на жизнь и на собственную судьбу „взглядом Шекспира“, оформилось в свою полную национальную меру именно в деревне, рядом с няней, когда творческий опыт его получил народный привой; ведь Шекспир и дорог был ему прежде всего как гений „народной трагедии“»[304].

Через год после налёта гусарского отряда под водительством А. П. Распопова в гости к Пушкину пожаловал поэт Николай Языков, студиоз Дерптского университета, приятельствовавший с А. Н. Вульфом. Он поселился в Тригорском, но регулярно посещал и Михайловское, где пылкого стихотворца (вкупе с гулякой Алексеем Вульфом) принимала всё та же Арина Родионовна.

В языковских письмах из деревни за июнь — июль 1826 года старушка вроде бы никак не фигурировала, однако позднее Николай Михайлович почтил её *стихами,* посвятив нашей героине целых *два* искренних послания. В этих произведениях 1827 и 1830 годов есть немало живописных подробностей об Арине Родионовне.

Судя по одному из писем Н. М. Языкова к А. Н. Вульфу (от 18 мая 1827 года из Дерпта[305]), он летом 1826 года *обещая* пушкинской няне написать стихи в её честь — и уже 17 мая следующего года Н. М. Языков исполнил обещание.

Правда, автор вначале перепутал имя старушки и нарёк её *Васильевной* (в таком виде список стихов и попал к Пушкину через П. А. Осипову; *XIII, 349–350)*. Смущённый своей ошибкой Н. М. Языков писал 6 июня 1827 года А. Н. Вульфу в Тригорское: «Мне очень жаль, что няня не Васильевна! Вот новое доказательство той великой истины, что поэту необходимо знать совершенно предмет своего славословия прежде, нежели примется за перо стихотворное»[306]. Стихотворец, однако, успел исправить огрех, и в альманахе «Северные цветы на 1828 год» (год издания — 1827-й) нянюшка обрела-таки надлежащее отчество.

Стихи, напечатанные в «Северных цветах» (в Отделе поэзии) под названием «К няне», можно трактовать как поэтический портрет Арины Родионовны и — одновременно — как языковский отчёт о славном совместном времяпрепровождении *четырёх* лиц летом 1826 года:

> Свет Родионовна, забуду ли тебя?
> В те дни, как сельскую свободу возлюбя,

Я покидал для ней и славу, и науки,
И немцев, и сей град профессоров и скуки.
Ты, благодатная хозяйка сени той.
Где Пушкин, не сражён суровою судьбой,
Презрев людей, молву, их ласки, их измены,
Священнодействовал при алтаре камены, —
Всегда приветами сердечной доброты
Встречала ты меня, мне здравствовала ты,
Когда чрез длинный ряд полей, под зноем лета,
Ходил я навещать изгнанника-поэта,
И мне сопутствовал приятель давний твой,
Ареевых наук питомец молодой[307].
Как сладостно твоё святое хлебосольство
Нам баловало вкус и жажды своевольство;
С каким радушием — красою древних лет —
Ты набирала нам затейливый обед!
Сама и водку нам, и брашна подавала,
И соты, и плоды, и вина уставляла
На милой тесноте старинного стола!
Ты занимала нас — добра и весела —
Про стародавних бар пленительным рассказом:
Мы удивлялися почтенным их проказам,
Мы верили тебе — и смех не прерывал
Твоих бесхитростных суждений и похвал;
Свободно говорил язык словоохотный,
И лёгкие часы летели беззаботно![308]

В стихотворении 1830 года Н. М. Языков вновь обратился к «вакхическим» воспоминаниям о встречах с Ариной Родионовной в июне — июле 1826 года:

Мы пировали. Не дичилась
Ты нашей доли — и порой
К своей весне переносилась
Разгорячённою мечтой;
Любила слушать наши хоры,
Живые звуки чуждых стран,
Речей напоры и отпоры
И звон стакана об стакан!

Уж гасит ночь свои светила,
Зарёй алеет небосклон;
Я помню, что-то нам про сон
Давным-давно ты говорила.

Напрасно! взял своё токай,
Шумней удалая пирушка.
Садись-ка, добрая старушка,
И с нами бражничать давай!

Ты расскажи нам: в дни былые,
Не правда ль, не на эту стать
Твои бояре молодые
Любили ночи коротать?
……
Со мной беседовала ты,
Влекла моё воображенье…[309]

Николай Языков покинул Тригорское и Михайловское в середине июля 1826 года — ориентировочно 17-го числа. По преданию, Арина Родионовна, прощаясь с полюбившимся ей молодым человеком, подарила тому шкатулку, изготовленную деревенским умельцем. С этим «заветным ларцем» Н. М. Языков будто бы никогда не расставался, а после кончины поэта шкатулка находилась у его потомков, которые в 1951 году передали реликвию на государственное хранение.

О няниной шкатулке написано немало статей и заметок[310]. Некоторые учёные и писатели относятся к ней весьма скептически[311], другие же, напротив, горячо ратовали и ратуют за её подлинность. Среди последних был, в частности, и хранитель Пушкинского заповедника С. С. Гейченко. Вот что говорится в одном из очерков подвижника:

«Шкатулка эта прямоугольной формы, дубовая, с отделкой из вишнёвого дерева, с откидной крышкой, в центре которой — небольшое, ныне заделанное, отверстие „для копилки“. На внутренней стороне крышки — пожелтевшая от времени бумажная наклейка с надписью чернилами: „Для чорного дня. Зделан сей ящик 1826 года июля 16-го дня“. Ларец закрывается на замок, сохранность его довольно хорошая. Это единственная подлинная вещь Арины Родионовны, дошедшая до наших дней»[312].

Что ж, дата на крышке указана вполне правдоподобная — и данное обстоятельство, видимо, стоит учитывать в спорах о подлинности языковского ларца.

Ещё в начале прошлого столетия протоиерей В. Д. Смиречанский опубликовал в провинциальной печати интересный документ — роспись Воскресенской церкви погоста Вороничи Опочецкого уезда, составленную в 1825 году

священником Илларионом Евдокимовым Раевским (известным «Шкодой»). Среди «дворовых людей» сельца Михайловского «помещицы Надежды Осиповой, жены Пушкиной» в росписи была отмечена и «вдова Ирина Родионова 71 г<ода>»[313].

Деревенская жизнь «вдовы Ирины» в годы ссылки Пушкина отнюдь не ограничивалась «домашним кругом» (*VI, 78),* о чём свидетельствуют новонайденные архивные материалы.

Документы Великолукского архива извещают нас о том, что няня поэта не раз участвовала в церемониях венчания местных крестьян и дворовых. Так, 5 января 1826 года она выступила в качестве свидетельницы при бракосочетании «помещика Ганибала сельца Петровского[314] дворового человека Тимофея Стефанова 33 лет с дворовой девкой Параскевой Фёдоровой 21 года». В метрической книге было прописано: «Поручители: отец венчальный дворовый человек Егор Харитонов, *мать венчальная* помещицы Пушкиной сельца Михайловского дворовая жена Ирина Родионова и сторонние того сельца Михайловского дворовый человек Василий Михайлов и Архип Кирилов»[315].

Другая запись в той же метрической книге гласит, что в 1826 году Арина Родионовна стала крестной матерью Варвары — первенца обвенчанных в январе дворовых людей Тимофея и Параскевы[316].

Конечно, нянюшка постоянно общалась и со своими детьми и их семьями, крепостными сельца Михайловского, но об этой стороне её жизни нам, к сожалению, ничего не известно.

Так как наша героиня была человеком, что называется, *публичным,* то она попала в воспоминания некоторых жителей тех мест.

Например, дочь П. А. Осиповой, Мария Ивановна, поведала в 1866 году приехавшему в Псковскую губернию историку М. И. Семевскому: «Это была старушка чрезвычайно почтенная — лицом полная, вся седая, страстно любившая своего питомца, но с одним грешком — любила выпить… Бывала она у нас <в> Тригорском часто…»[317]

(Стоит, пожалуй, коротко прокомментировать неосторожное высказывание М. И. Осиповой, ибо оно зачастую используется в неблаговидных целях. Под хмельком Арину Родионовну иногда, действительно, видели, однако только ангажированные щелкопёры могут вещать об «алкоголизме» нашей героини. Да, вино, случалось, веселило её изнурённое сердце, дарило душе короткую, преходящую иллюзию *пира* — но оно не являлось болезненной, «горькой» страстью нянюшки.)

Другому археографу, К. А. Тимофееву, удалось летом 1859 года встретиться в сельце Михайловском с Петром Парфёновым,

бывшим кучером поэта, «стариком лет за 60, ещё бодрым» и «толковым». В ходе долгого разговора о Пушкине собеседники уделили внимание и его старой подруге:

«— А няню его помнишь? Правда ли, что он её очень любил?

— Арину-то Родионовну? Как же ещё любил-то, она у него вот тут и жила. И он всё с ней, коли дома. Чуть встанет утром, уж и бежит её глядеть: „здорова ли, мама?“ — он её всё мама называл. А она ему, бывало, эдак нараспев (она ведь из-за Гатчины была у них взята, с Суйды, там эдак все певком говорят): „батюшка ты, за что меня всё мамой зовёшь, какая я тебе мать“.

— Разумеется, ты мне мать: не то мать, что родила, а то, что своим молоком вскормила[318]. — И уже чуть старуха занеможет там, что ли, он уж всё за ней. <…>

— А правда ли, Пётр, что Александр Сергеевич читывал няне свои стихи и сам любил слушать её сказки?

— Да, да, это бывало: сказки она ему рассказывала, а сам он ей читал ли что, не запомню: только точно, что он любил с ней толковать»[319].

Из нехитрой повести сохранившего хорошую память кучера видно, что Пушкин никоим образом не стыдился своего чувства к крепостной старухе, не прятал его от чужих глаз: он выказывал любовь к «маме» и вне дома, прилюдно.

А очередной *поэтической* декларацией его любви к Арине Родионовне стало стихотворение «Зимний вечер», которое датируется (согласно помете в цензурной рукописи; *II, 920)* 1825 годом. Пушкин дважды напечатал эти стихи при жизни[320]:

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.

Наша ветхая лачужка
И печальна, и темна.
Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?
Или бури завыванье
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжанье
Своего веретена?

Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила[321];
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла[322].

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей *(II, 387)*.

Полагаем, что «Зимний вечер» — недооценённое стихотворение. Это произведение чуть ли не космического масштаба; произведение, которое нуждается в комплексном — философическом, культурологическом, филологическом и прочем — исследовании.

Здесь мы укажем лишь на одну из принципиальных пушкинских аллюзий.

…И был вечер, «зимний вечер», когда устоявшийся мир внезапно рухнул, переродился в хаос — кружащийся, тревожный и угрюмый, полный скрытых намёков и явных угроз.

Сутью обновившегося мира стала почти беспредельная его пустота, чуть ли не тотальная ирреальность. Живые обыденные звуки, будь то звериный вой или плач ребёнка, шуршание соломы или человеческий стук в окошко, — вмиг умерли: нагрянувшая буря заглушила их или подменила субституциями. Вихрь утвердился тогда и на земле, и в поднебесье, — а тварный мир онемел и обезлюдел, то есть фактически исчез. И вроде бы возобладал непроглядный хаос повсюду, как будто переиначил на свой лад или уничтожил всё и вся — однако не сумел поглотить, разрушить одну-единственную «ветхую лачужку», и два *живых* и *сохранивших дар слова* существа уцелели, спаслись.

Этими *последними* существами оказались поэт и его седая няня. Первый ответствовал хаосу стихами, а «добрая подружка» могла противопоставить стихии душевную старую песню.

Так, объединив свои усилия и сдвинув кружки, они и выстроили в помрачённом мире нерушимый сердечный *ковчег*.

Из всех сочинений, прямо или косвенно связанных с Ариной Родионовной, «Зимний вечер» является, по-видимому, самым *онтологическим* пушкинским опытом. Профессор Н. Ф. Сумцов вообще считал его «одним из лучших в художественном отношении произведений» поэта[323]. С такой оценкой согласились и другие пушкинисты, в частности И. О. Лернер[324]. «Это сквозь слёзы писано», — подметил В. Ф. Ходасевич[325].

Упомянута была «няня» и в строфе XXXV четвёртой главы «Евгения Онегина», которая также создавалась в Михайловском:

> Но я плоды моих мечтаний
> И гармонических затей
> Читаю только старой няни.
> Подруги юности моей… *(VI, 88)*.

А в черновике современные текстологи сталкиваются с такими (записанными карандашом) вариантами третьего стиха:

> Читаю ныне старой няни…
> Читаю доброй старой няни… *(VI, 369)*.

В ряде авторитетных изданий, скажем, в указателе имён к соответствующему тому Большого академического собрания сочинений Пушкина (который вышел в 1937 году под редакцией Б. В. Томашевского), «старая няня» идентифицирована как Арина Родионовна (*VI, 665)*. Итак, в романе с некоторых пор стали сосуществовать сразу *две* очень похожие на нашу героиню няни: «Филипьевна седая» и «подруга юности» самого автора «Онегина» (нотабене: однако в пределах какой-либо *одной* главы встретиться им не довелось).

«Применение слова „подруга“ к старушке няне, крестьянской женщине, звучало как смелый поэтизм, утверждение права поэта самому определять эстетические ценности в окружающем его мире», — подчёркивает современный комментатор «Евгения Онегина»[326]. Эту мысль должно, однако, распространить и на ценности *этического* порядка.

«Он посвящал почтенную старушку во все тайны своего гения, — утверждал в 1855 году, ссылаясь на данный фрагмент романа в стихах, П. В. Анненков. — К несчастью, мы ничего не знаем, что думала няня о стихотворных забавах своего питомца»[327]. Эскапада «первого пушкиниста» впоследствии

породила множество саркастических комментариев.

Безусловно, П. В. Анненков хватил тут через край: няня не могла быть ни соучастницей творческого процесса «ангела», ни «критиком строгим» *(VI, 86)* его завершённых произведений, да и литературного салона в сельце Михайловском, естественно, не существовало. Но в том, что Пушкин *иногда* читал вслух при Арине Родионовне какие-либо поэтические тексты, а потом, по окончании декламации, выслушивал (пускай даже пряча улыбку) безыскусные нянины суждения, нет, как нам представляется, ничего анекдотичного. Поэт и его говорливая «мама» были столь близки, что могли запросто беседовать *обо всём* и в любой, даже весьма экстравагантной для неграмотной крестьянки, форме.

Текстологические наблюдения показали, что указанная строфа о няне и смежные с ней строфы четвёртой песни «Евгения Онегина» были созданы Пушкиным, скорее всего, в декабре 1825 года[328]. К этому сроку поэт, вероятно, уже знал о внезапной кончине императора Александра I, случившейся в далёком Таганроге утром 19 ноября. А 17 или 18 декабря того же года приехавший из Петербурга повар П. А. Осиповой Арсений поведал огорошенным обитателям Тригорского и Михайловского о военном бунте, который произошёл в Северной столице 14 декабря.

Вскоре в псковскую глухомань доставили и петербургские газеты с сообщениями о неслыханном кровавом злодеянии и манифестом о вступлении на всероссийский престол Николая I Павловича.

В истории империи открылся тогда новый период — начинался новый период и в жизни Александра Пушкина.

Он, мучаясь аневризмом, продолжал работать в «ветхой лачужке» над стихами. Дал, съездив в Псков, подписку о непринадлежности к тайным обществам и настойчиво просил влиятельных приятелей хлопотать о его освобождении. Пушкин извещал петербургских знакомцев и покровителей, что «не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости» *(XIII, 266)*. А позже, умерив гордыню, сам отправил «холодную и сухую» *(XIII, 291)* бумагу на высочайшее имя.

Няня, ничегошеньки не понимая в случившемся и происходящем, но нутром чуя неладное, с тревогой взирала на него, «неуимчивого». Об этом словечке Арины Родионовны (уже упоминавшемся в нашей книге) Пушкин вспомнил в майском письме князю П. А. Вяземскому *(XIII, 279)*.

Тем временем правительство вело разбирательство по делу бунтовщиков и параллельно собирало отовсюду сведения о

ссыльном стихотворце. Выходило удивительное: тот не был причастен к разгромленному заговору и «с возмутителями 14 декабря связей политических не имел» *(XIII, 257)*. Стекавшиеся в столицу «обстоятельные исследования» долго и тщательно проверялись чиновниками, путешествовали по высоким инстанциям, сопоставлялись и перепроверялись агентами тайной полиции.

Лишь в конце знойного лета 1826 года в Псковскую губернию было отправлено ожидаемое Пушкиным распоряжение: «Державная рука, снисходя на его прошение, вызвала его в Москву…»[329]

Фельдъегерь из Москвы, где тогда проходили торжества по случаю коронации Николая I, примчался в Псков 3 сентября. Офицер вручил губернатору Б. А. фон Адеркасу секретное предписание начальника Главного штаба барона И. И. Дибича за № 1432:

«Господину Псковскому гражданскому губернатору.

По высочайшему государя императора повелению, последовавшему по всеподданнейшей просьбе, прошу покорнейше ваше превосходительство: находящемуся во вверенной вам губернии чиновнику 10-го класса Александру Пушкину позволить отправиться сюда при посылаемом вместе с сим нарочным фельдъегерем. Г<осподин> Пушкин может ехать в своём экипаже свободно, не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря; по прибытии же в Москву имеет явиться прямо к дежурному генералу Главного штаба Его Величества» *(XIII, 293)*.

Ознакомясь с этим документом, губернатор незамедлительно послал записку в сельцо Михайловское:

«Милостивый государь мой Александр Сергеевич! Сей час получил я прямо из Москвы с нарочным фельдъегерем высочайшее разрешение по всеподданнейшему прошению вашему, — с коего копию при сём прилагаю. — Я не отправляю к вам фельдъегеря, который остаётся здесь до прибытия вашего, прошу вас поспешить приехать сюда и прибыть ко мне.

С совершенным почтением и преданностию пребыть честь имею: Милостивого государя моего *покорнейший слуга Борис фон-Адеркас» (XIII, 293; выделено в подлиннике)*.

Однако командированный губернатором уездный чиновник так и не смог вручить письмо Б. А. фон Адеркаса Александру Пушкину: тот, пользуясь «прекрасной погодой» и ни о чём не догадываясь, весело проводил время с барышнями в Тригорском. К себе домой поэт вернулся в приподнятом настроении только

часов в одиннадцать вечера.

А в Михайловском, вспоминала М. И. Осипова, его поджидала не одна Арина Родионовна. Помимо неё там находился потерявший всякое терпение и прискакавший из Пскова фельдъегерь («не то офицер, не то солдат», как определила няня), который с ходу объявил Пушкину высочайшую волю[330]. По словам очевидца, кучера Петра, «Арина Родионовна растужилась, навзрыд плачет. Александр-то Сергеевич её утешать: „Не плачь, мама, говорит, сыты будем; царь хоть куды ни пошлёт, а всё хлеба даст“»[331].

Но как же могла сдержаться нянюшка, которая давным-давно — ещё с памятного 1800 года — знала, сколь суровы бывают петербургские владыки и сколько опасностей таится в любой встрече её «ангела» с царём?

Времени на сборы и долгое прощание не оставалось: «Пушкин успел только взять деньги, накинуть шинель, и через полчаса его уже не было»[332].

Арина Родионовна вышла на двор вслед за любимцем — и потом долго вглядывалась в ворота, в липовую аллею за ними, силясь проводить взором удаляющийся по тёмной предрассветной дороге экипаж.

До утра подруга поэта кое-как перемоглась. Даже развлекла себя в ночи, при лучине, тем, что наконец-то «по-уничтожила сыр немецкий», испускавший скверный дух и раздражавший её, но отчего-то полюбившийся «ангелу». Кому был он отныне нужен, «сыр этот проклятый»?

А на рассвете едва волочившая ноги старуха бросилась в Тригорское: поделиться с соседками горем. Лесом спустилась Арина Родионовна от опустевшего сельца к туманному озеру, потом вползла на холм, после чего миновала поле, погост, ещё один крутой скат и, пройдя мимо трёх сосен («…одна поодаль, две другие / Друг к дружке близко…»; *III, 400),* уже чуть живая, очутилась в знакомой усадьбе. «Она прибежала вся запыхавшись, — припоминала М. И. Осипова, — седые волосы её беспорядочными космами спадали на лицо и плечи; бедная няня плакала навзрыд»[333].

Ecce femina!

Хроника жизни поэта изобилует душещипательными страницами, — но много ли сыщется в ней эпизодов, равных этому, сентябрьскому, по возвышенной и трогательной, надрывающей сердце нежности?

Вотще возражала Арина Родионовна своему «дружочку»: она и в самом деле была его «мамой».

Возвратилась наша нянюшка в домик ветхий, сызнова к малому оконцу в светлице присела, загоревала пуще прежнего.

А ангел её о ту пору, одолев 700 вёрст, уже в Москву въехал, на царский двор заворачивал. Тот же час его и в палаты государевы кликнули, сам молодой царь-батюшка вышел к гостю. Зело долго и умно толковали они, в сердца друг дружке заглядывали, — и простил государь ангела, «своим» да «умнейшим» при слугах нарёк, подмогу царскую посулил. Как прознали про то в столичном граде — прямо на руках деревенского сидельца носить стали, во всякий терем наперебой зазывали.

А нянюшка всё у оконца тогда ютилась да на ворота с тоскою посматривала. Худые вести всегда стрелами прилетают, добрые — будто калики перехожие плетутся. Но добрела-таки новость кремлёвская окольными путями и до старушки — то-то ликования и слёз светлых было!

И возымела наша нянюшка охоту пожить ещё самую капельку: дружочка своего спасённого хоть разок приголубить.

Глава 6
ПОСЛЕДНИЕ МИХАЙЛОВСКИЕ ЛЕТА

…Хозяйка сени той…

Н. М. Языков

Доставленного в Москву 8 сентября 1826 года Александра Пушкина («небритого, в пуху, измятого»[334]) встретили на удивление радушно и хлебосольно. Император Николай I, недавно коронованный, в ходе продолжительной аудиенции в Чудовом дворце не только объявил поэту о прощении, но и пожелал впредь быть первым читателем и цензором пушкинских произведений[335]. Столичное общество пришло в восторг и от рыцарственного благородства царя, и от самого помилованного поэта. Тотчас погрузились в чернильницы перья — и наперегонки полетели из Москвы во все концы империи эпистолии с описаниями сенсации.

Одним из первых откликнулся на «прекрасную новость» барон А. А. Дельвиг, находившийся в Петербурге. Поздравив 15 сентября лицейского друга с «переменой судьбы», он, однако, тут же выразил свою озабоченность, и вот чем: «Душа моя, меня пугает положение твоей няни. Как она перенесла совсем неожиданную разлуку с тобою» *(XIII, 295)*.

Разумеется, задавался этим волнительным вопросом и сам Пушкин. Спустя неделю после возвращения в родной город, 16 сентября, он, несмотря на занятость и «нескладицу образа жизни», написал (на французском языке) уже *второе* письмо П. А. Осиповой. Оно было призвано окончательно успокоить обитательницу Тригорского[336]. Поведав Прасковье Александровне о том, что государь принял его «самым любезным образом», поэт заодно признался, что «уже устал» от московских празднеств, «начинает вздыхать по Михайловскому, то есть Тригорскому», и намерен отправиться туда «самое позднее через две недели» *(XIII, 296, 559)*.

Так, через преданную соседку, он оповестил *и няню* о благополучном исходе свидания с августейшей персоной и о своём скором приезде в псковскую деревню.

Но светские и литературные обязательства, дружеские пирушки и сердечные дела переиначили планы Пушкина. Он задержался в Москве ещё на целых полтора месяца и смог покинуть «святую родину» только в дождливую ночь на 2 ноября. Поругивая в коляске «отвратительную дорогу и несносных

ямщиков» *(XIII, 301, 561),* сломав в пути два колеса, взяв перекладных и всё-таки одолев злополучные 800 с лишком вёрст, поэт оказался в сельце Михайловском, судя по переписке и другим документам, 9 ноября.

Тут-то, «в своей избе» *(XIII, 302),* Пушкин и узнал доподлинно — от П. А. Осиповой и иных деревенских жителей, — *как* переносила Арина Родионовна отсутствие «ангела».

Впрочем, кое-что Александр Пушкин, вернувшись «вольным в покинутую тюрьму» *(XIII, 304),* увидел и услышал сам. В день возвращения поэт засел за письмо князю П. А. Вяземскому — и начал с того, что поразило его всего более:

«Ты знаешь, что я не корчу чувствительность, но встреча моей дворни, хамов и моей няни — ей богу приятнее щекотит сердце, чем слава, наслаждения самолюбия, рассеянности и пр<очее>. Няня моя уморительна. Вообрази, что 70 лет она выучила наизусть новую молитву *о умилении сердца владыки и укрощении духа его свирепости*, молитвы вероятно сочинённой при ц<аре> Иване. Теперь у ней попы дерут молебен и мешают мне заниматься делом» *(XIII, 304; выделено Пушкиным)*.

Очевидно, счастливая Арина Родионовна пригласила тогда в дом священнослужителей из приходского храма «пригорода Воронич Опочецкого уезда во имя Воскресения Христова»[337], и те совершили благодарственное моление по случаю избавления раба Божия Александра от всяческих напастей. А выученная старушкой молитва была, как полагают учёные, апокрифической, относящейся к разряду народных заклинаний[338]. Вероятно, кому-то из «хамов» пришлось неоднократно повторять её вслух при няне — до тех пор, покуда Арина Родионовна не затвердила магические слова.

Хотя Пушкин и припудрил эпистолярный рассказ изрядной долей иронии, однако он не скрыл от приятеля своей растроганности. Видимо, князь П. А. Вяземский понял эти чувства и в ответном письме из Москвы (от 19 ноября) учтиво полюбопытствовал у поэта относительно его отличившейся няни *(XIII, 306)*.

Главным «делом» для Пушкина во время пребывания в Михайловском поздней осенью 1826 года стала работа над запиской «О народном воспитании», которую он принялся составлять по прямому указанию императора Николая I. Это ответственное и трудное задание было своеобразным экзаменом для прощённого поэта: правительство ждало от него не только творческих размышлений по данному вопросу, но и убедительных доказательств политической благонадёжности.

К середине ноября Пушкин, измарав немало листов «третьей масонской» тетради, окончил-таки свои «недостаточные замечания о предмете столь важном, каково есть народное воспитание» *(XI, 47)*. Под переписанным набело текстом, сшитым в специальную тетрадь (ПД № 1734), он поставил дату: «Михайловское. 1826. Ноябр<я> 15»[339]. (Позже, в декабре, царь, ознакомившись с рукописью, отметил, что пушкинские рассуждения «заключают в себе много полезных истинн»; *XIII, 315.)*

Отложив в сторону тягостную «презренную прозу» *(XIII, 310)*, поэт обратился к стихам. Он и дописал пятую песнь «Евгения Онегина», и воспел — как бы откликаясь на услышанную по приезде чудную молитву — находившуюся рядом Арину Родионовну.

«Мысль его то и дело к ней возвращалась» (В. Ф. Ходасевич)[340].

Существует весьма основательное мнение, что именно между 15 и 22 ноября 1826 года Пушкин сочинял послание <«Няне»>[341]. Оно было занесено чернилами в ту же «третью масонскую» тетрадь. Сохранившийся вариант стихотворения считается беловым автографом с авторской правкой:

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждёшь меня.
Ты под окном своей светлицы
Горюешь, будто на часах,
И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках.
Глядишь в забытые вороты
На чёрный отдалённый путь:
Тоска, предчувствия, заботы
Теснят твою всечасно грудь.
То чудится тебе *(III, 33)*.

Завершил ли поэт послание к «маме», поставил ли осязаемое единственно им, художником, многоточие посреди тринадцатого стиха или нет, — остаётся загадкой[342]. Мы знаем определённо только то, что Пушкин никогда не напечатал эти *интимнейшие* михайловские стихи.

(Одну из причин их сокрытия от публики — явно не главную, но существенную — следует, возможно, искать в изменившихся в конце двадцатых — начале тридцатых годов отношениях поэта к

отцу и матери. После пушкинского возвращения из ссылки в разобщённой ранее семье — при посредничестве родни, друзей и приятелей Пушкина — постепенно и трудно стало утверждаться согласие. Сначала появились едва приметные признаки перемирия, потом был заключён хрупкий «худой мир», а в итоге повздорившие стороны сблизились настолько, что почти сдружились.

Однако некоторая обида всё же оставалась: ведь никаких поэтических произведений, обращённых к Сергею Львовичу и Надежде Осиповне, щедрый на мадригалы Александр так и не сочинил. Публикация взамен гимнов «дражайшим» *(XIII, 329)* родителям проникновенных стихов о крепостной «няньке» — «голубке» (!), которая к тому же «одна» (!!) тоскует по поэту, «одна» ждёт его, — была бы для самолюбивых стариков крайне болезненным ударом[343]. Отправляя послание «Подруга дней моих суровых…» в стол, сын мог учитывать, в дополнение к прочим, и это щекотливое обстоятельство.)

Ровно две недели блаженствовала Арина Родионовна. 23 ноября 1826 года поэт расстался с ней и отбыл в Москву.

В дороге его коляска перевернулась, Пушкин серьёзно пострадал и надолго застрял в Пскове. «Псковские ямщики не нашли ничего лучшего, как опрокинуть меня, — сообщал он В. П. Зубкову 1 декабря, — у меня помят бок, болит грудь, и я не могу дышать» *(XIII, 311, 562)*. До древней столицы Пушкин добрался лишь к вечеру 19 декабря.

По всей видимости, слухи об этом происшествии до няни не дошли. Иначе старушка натурально поспешила бы из сельца в близлежащий Псков — выхаживать хворого «ангела».

В первой половине января 1827 года Арина Родионовна тоже сподобилась попутешествовать: в силу какой-то надобности она ездила из Михайловского в Петербург.

Семейство Пушкиных жительствовало тогда в доме Устинова на Фонтанке, у Семёновского моста[344]. Свидевшись там с Надеждой Осиповной и Сергеем Львовичем, старушка узнала, что у супругов появилась какая-то надежда на замирение с Александром и посему они с нетерпением ждали прибытия своего блудного сына.

К сожалению, тот молчал — словно в воду канул.

Жаждала обнять дорогого брата и «голубушка» Ольга Сергеевна, двадцатидевятилетняя и по-прежнему незамужняя дева. Она, соскучившись по любимой няне, толковала с Ариной Родионовной особенно долго и доверительно.

Однажды их усладительный tête-à-tête нечаянно нарушила

заглянувшая на огонёк «дама» — миловидная Анна Петровна Керн, с которой наша героиня познакомилась ещё в Михайловском и Тригорском. Едва поздоровавшись, приятельницы завели речь об Александре Пушкине — и сошлись на том, что он, несносный, «загулявшись» в Москве, позабыл решительно всех. Захотелось напомнить поэту о себе — и товарки тут же, не мешкая, стали на пару сочинять чувствительные строки[345].

Арина же Родионовна, и аза в глаза не знавшая, внимательно следила за эпистолярным таинством.

Повстречалась в столице няня и с другим своим воспитанником — Лёвушкой Пушкиным. Тому успел осточертеть канцелярский стул в Департаменте духовных дел иностранных исповеданий, он вышел в октябре 1826 года в отставку[346] и вознамерился служить по военной части. Выбрав Нижегородский драгунский полк[347], Лев Сергеевич в начале 1827 года занимался преимущественно тем, что разъезжал по Петербургу и прощался с бесчисленными приятелями и приятельницами.

Церемония проводов новоиспечённого воина, отбывающего на Кавказ, в действующую армию[348], прошла и в родительском доме на Фонтанке. О ней есть упоминание в январском письме барона А. А. Дельвига Александру Пушкину: «Нынче буду обедать у ваших, провожать Льва. Увижу твою нянюшку…» *(XIII, 318)*[349].

Вероятно, Лев Пушкин, «малый проворный» *(XIII, 320),* покинул Северную столицу в первых числах февраля 1827 года. Арина Родионовна выехала из города раньше и к этому времени уже находилась в Михайловском.

Оттуда 30 января она послала весточку своему «ангелу»: сообщила о столичных новостях, коснулась вскользь и прочих материй. Её незамысловатые речи положил на бумагу какой-то на медные деньги ученый селянин, который «наверно, не особенно переиначил слова старушки»[350]:

«Милостивой государь Александра, Сергеевичь имею честь поздравить вас с прошедшим, новым годом из новым, сщастием;: ижелаю я тебе любезнному моему благодетелю здравия и благополучия; а я вас уведоммляю, что я была в Петербурге: й об вас нихто — неможит знать где вы находитесь йтвоие родйтели, овас соболезнуют что вы к ним не-приедите; а Ольга Сергевнна к вам писала при мне содннною дамою вам извеснна а мы батюшка от вас ожидали, писма когда вы прикажите, привозить книгй нонемоглй дождатца: то йвозномерилис повашему старому приказу от править: то я йпосылаю, больших й малых книг сщётом — 134 книгй Архипу даю денег — [сщ<ётом> 85 руб.] 90[351] рублей: присём любезнной друг яцалую ваши ручьки с

позволений вашего съто раз и желаю вам то чего йвы желаете йприбуду к вам с искренным почтением

Аринна Родивоновнна» *(XIII, 318–319)*.

«Конечно, обращение на „вы“, не выдержанное вполне, „имею честь“, „искреннее почтение“ принадлежат не няне, а тому, кто писал по её поручению, — какому-нибудь писарю или дьячку», — не сомневался анализировавший нянино письмо Н. О. Лернер[352].

Воспользовавшись услугами писаря, человека *постороннего,* няня выказала свои чувства к Александру Сергеевичу в непривычно сдержанной для неё форме. С другой стороны, январское послание подтверждает высокий статус Арины Родионовны в «михайловской „табели о рангах“» второй половины двадцатых годов. Взять хотя бы то, что в отсутствие господ старушка была вольна самостоятельно вести финансовые дела и распоряжалась дворовыми людьми и крепостными по собственному усмотрению, даже отправляла их за тридевять земель. Словом, она являлась тогда как бы неофициальной *хозяйкой* сельца или, по крайней мере, входила в узкий круг лиц, коллегиально исправляющих таковую должность.

Фраза «цалую ваши ручьки» дала П. Е. Щёголеву повод инкриминировать Арине Родионовне ещё и пресмыкательство перед барином-поэтом. «Боюсь, что в такого рода низкопоклонстве можно обвинить и самого Щёголева, — заявил в ответ на это в 1928 году В. В. Вересаев, — убеждён, что до революции он не раз в письмах называл разных лиц „милостивыми государями“ и униженно подписывался „ваш покорный слуга“»[353].

Ссылки В. В. Вересаева на предикаты и фразеологические штампы, возникавшие в процессе межсословного и межличностного общения в императорской России, корректны и убедительны. Но разве ошибётся тот комментатор, который, заглянув глубже, обнаружит архетипическую основу няниной формулы «цалую ваши ручьки» в *самом материнстве?* Ведь сколько стоит мир — столько и матери покрывают своих кровинок бесчисленными поцелуями, лобзают каждый их *пальчик.* (Заодно напомним почитателям П. Е. Щёголева: Пушкин с Антоном Дельвигом при встречах также целовали друг у друга руки.)

Снаряжённые няней крепостной садовник Архип Курочкин со товарищи через несколько дней, уже в феврале, достигли Москвы и, разыскав там Пушкина, вручили ему «большие и малые» книги и послание Арины Родионовны. К началу марта экспедиция возвратилась в Михайловское. Няне гонцы привезли деньги и письмо от «ангела». Поэт, среди прочего, сообщил «маме», что

летом он непременно приедет к ней в деревню.

Ознакомившись с содержанием этого письма, Арина Родионовна отправилась в Тригорское. Тут она продиктовала А. Н. Вульф своё ответное послание Александру Пушкину. Анна Николаевна — не чета какому-то сельскому писарю — была, как говорится, *своей,* поэтому няня вполне могла дать волю переполнявшим её чувствам. Записывая взволнованные речи старушки, *Annette,* очевидно, слегка редактировала их.

И вот какой удивительный текст создали 6 марта 1827 года две женщины, потрудившиеся на благо отечественной *словесности:*

«Любезный мой друг

Александр Сергеевич, я получила ваше письмо и деньги, которые вы мне прислали. За все ваши милости я вам всем сердцем благодарна — вы у меня беспрестанно в сердце и на уме, и только, когда засну[354], то забуду вас и ваши милости ко мне. Ваша любезная сестрица тоже меня не забывает[355]. Ваше обещание к нам побывать летом меня очень радует. Приезжай, мой ангел, к нам в Михайловское, всех лошадей на дорогу выставлю. Наши Петербур<гские> летом не будут, они [все] едут непременно в Ревель. Я вас буду ожидать и молить Бога, чтоб Он дал нам свидиться. Праск<овья> Алек<сандровна>[356] приехала из Петерб<урга> — барышни вам кланяются и благодарят, что вы их не позабываете, но говорят, что вы их рано поминаете, потому что они слава Богу живы и здоровы. Прощайте, мой батюшка, Александр Сергеевич. За ваше здоровье я просвиру вынула и молебен отслужила, поживи, дружочик, хорошенько, самому слюбится. Я слава Богу здорова, цалую ваши ручки и остаюсь вас многолюбящая *няня* ваша *Арина Родивоновна*» *(XIII, 323; выделено в подлиннике)*.

Письмо нашей героини — очень светлое, излучающее саму *любовь* письмо. Оно по праву считается одной из жемчужин пушкинской переписки и занимает видное место в огромном и замечательном отечественном эпистолярном корпусе XVIII–XIX веков.

Как будет показано далее, послание Арины Родионовны от 6 марта 1827 года очень пригодилось Пушкину и для его *литературной* работы.

Вскоре после получения этого письма, в ночь на 20 мая, поэт оставил Москву и двинулся в Петербург, где наконец-то увидел родителей и сестру. «Надо было видеть радость матери Пушкина: она плакала как ребёнок и всех нас растрогала», — писала присутствовавшая при встрече жена барона А. А. Дельвига своей подруге[357]. В последующие дни Александр Пушкин наведывался

в дом Устинова на Фонтанке неоднократно, там он отпраздновал и свои именины, но жить предпочёл всё-таки отдельно и снял двухкомнатный «бедный нумер» в Демутовой гостинице на Мойке.

Через неделю, в четверг 2 июня, Надежда Осиповна, Сергей Львович и Ольга Пушкины в компании с супругами Дельвигами отбыли на морские ванны в Ревель[358]. Поэт же засобирался «во свояси, т. е. во Псков» *(XIII, 329)*. *«Я* уже накануне отъезда и непременно рассчитываю провести несколько дней в Михайловском», — сообщал он (по-французски) П. А. Осиповой в начале этого месяца *(XIII, 330, 563)*. По обыкновению, Пушкин замешкался и смог выбраться из «пошлой и глупой» столицы лишь 25 (или даже 27-го) июля[359].

До Михайловского он добрался 29 (или 30-го) июля — и с ближайшей почтой известил о том сестру Ольгу. Та поделилась новостью с матерью, а Надежда Осиповна, в свою очередь, с Анной Керн. «Александр пишет две строчки своей сестре, — читаем в ревельском письме Н. О. Пушкиной, датированном 16 августа. — Он в Михайловском, подле нянюшки своей, как вы очень хорошо сказали»[360][361].

Слово, данное Арине Родионовне в феврале, «дружочик» всё-таки сдержал.

В деревне, в «прадедовских вотчинах, находящихся в руках Сергея Львовича» *(XIII, 349),* поэт прожил два с половиной месяца. Это были месяцы напряжённых трудов и кратких отдохновений в обществе немногих других близких ему людей и няни. Кстати, «дряхлая голубка» упоминалась в первом же пушкинском письме из Михайловского барону А. А. Дельвигу; это письмо от 31 июля адресовалось в Ревель *(XIII, 335)*.

Пушкин пожаловался другу на отсутствие «вдохновения» *(XIII, 334)',* но уже в августе поэт признался М. П. Погодину, что «почуял рифмы» *(XIII, 339)*. Пришедшие «рифмы» сложились в такие стихи, как «Послание Дельвигу» («Прими сей череп, Дельвиг, он…»), «Поэт» («Пока не требует поэта…»), «Всем красны боярские конюшни…», «Блажен в златом кругу вельмож…», в строфы шестой и седьмой глав «Евгения Онегина» и т. д.

«Рифмами» он не ограничился, сочинял попутно и прозу — в частности <«Арапа Петра Великого»>. В Михайловском Пушкин, по всей видимости, написал начерно в двух тетрадях (ПД № 833 и ПД № 836), а затем свёл воедино главы давно задуманного романа о царском арапе Ибрагиме. Среди исследователей бытует мнение, что прототипом карлицы Ласточки, ходившей за Ибрагимовой невестой Наталией Ржевской, в какой-то степени

была Арина Родионовна.

«Голубка» явилась Ласточкой.

У старой «круглой» карлицы, со «сморщенным лицом» и в «чепчике», действительно есть определённое внешнее и глубинное сходство с нашей героиней. «Милая» Ласточка — отнюдь не рядовая «служанка», а персона более высокого ранга, приобретшая «любовь своих господ» и «самовластно» управляющая домом. «Никогда столь маленькое тело не заключало в себе столь много душевной деятельности. Она вмешивалась во всё, знала всё, хлопотала обо всём», — характеризует Ласточку автор.

А красавица Наташа, оказывается, «имела к ней неограниченную привязанность и доверяла ей все свои мысли, все движения 16-тилетнего своего сердца» (этим Ржевская напоминает Татьяну Ларину, которая также не имела никаких тайн от няни Филипьевны). Примечательно и то, что карлица в беседах с девицей ссылалась на «старину» и *«цаловала»*[362] *руки* своей воспитанницы (*VIII, 31–32, 530)*.

Пусть «дни утех и снов первоначальных» давно прошли — «мама» отчасти осталась пушкинской Музой. И рукописи поэта, создававшиеся во время визитов в Михайловское, доказывали это.

Б*о*льшая часть <«Арапа Петра Великого»> занесена Пушкиным в чёрную сафьяновую книгу с «полустёртым масонским треугольником» — в так называемую «третью масонскую» тетрадь (ПД № 836). На неё-то и обратил внимание действительный студент Дерптского университета А. Н. Вульф, пришедший навестить соседа 15 сентября: «…Показал он мне только что написанные первые две главы романа в прозе, где главное лицо представляет его прадед Ганнибал, сын Абиссинского эмира, похищенный турками, а из Константинополя русским посланником присланный в подарок Петру I, который его сам воспитывал и очень любил»[363].

С Алексеем Вульфом и его тригорскими родственницами поэт виделся довольно часто, но других знакомств он как будто не водил и у себя никого не принимал. Как выразился в ту пору Н. М. Языков, Пушкин «священнодействовал пред фимиамом вдохновенья»[364]. Размеренный ход тогдашней пушкинской жизни если и был нарушен, то лишь однажды.

Есть некоторые основания предполагать, что осенью 1827 года в сельцо Михайловское нагрянул Сергей Александрович Соболевский (1803–1870), библиофил и библиограф, короткий приятель поэта.

Ещё летом, 23 августа, агент Третьего отделения доносил начальству: «Известный Соболевский (молодой человек из

Московской либеральной шайки) едет в деревню к поэту Пушкину и хочет уговорить его ехать с ним за границу. Было бы жаль. Пушкина надобно беречь, как дитя»[365]. А спустя месяц, 20 сентября, уже сам С. А. Соболевский, находившийся в Петербурге, недвусмысленно сообщал в Москву Н. М. Рожалину: «Старайтесь, молодые люди, о Вестнике[366]. И я стараюсь, то есть еду завтра в Псков к Пушкину условливаться с ним письменно и в этом деле буду поступать пьяно (т. е. piano[367])»[368]. Далее он уточнил, что собирается пробыть в Михайловском четыре дня.

В «Картотеке итинериев[369] лиц ближайшего пушкинского окружения», составленной М. А. и Т. Г. Цявловскими, сведений о передвижениях С. А. Соболевского в сентябре 1827 года нет[370]. «Поездка эта, насколько известно, не состоялась», — писал Б. Л. Модзалевский[371]. Однако фактов, подкрепляющих осторожное высказывание авторитетного пушкиниста, как будто не существует, и посему мы вынуждены считаться с приведёнными выше эпистолярными источниками (прежде всего — с собственноручным письмом С. А. Соболевского). Так что в двадцатых числах сентября 1827 года Сергей Александрович теоретически *мог* очутиться в псковской деревне у Пушкина.

А значит, и Арина Родионовна могла тогда спознаться с этим самобытным человеком, лежебокой и селадоном, эпиграмматистом и острословом, к которому поэт благоволил и которого не раз награждал меткими прозвищами — типа Байбака или Калибана[372].

После сентября наступил октябрь, и 13-го числа Пушкин выехал из Михайловского в Петербург[373].

Каково было няне в тот день, да и в дни последующие, представить несложно.

Дни между тем становились всё короче и холоднее. Приближался год високосный, от которого люди искони ждали чего-то худого…

Свыше десяти лет жизнь Арины Родионовны была самым тесным образом связана с псковской деревней. Сюда она приезжала на лето, здесь долгое время жительствовала безвыездно. Под сенью Михайловского наша героиня познала и радость, и горе; видела и слышала многое и многих; случалось, водила в храм молодых, стояла у купелей и провожала на погост. Тут умирали Пушкины и Ганнибалы, рождались её собственные внуки, тут она вконец состарилась и превратилась в «дряхлую голубку» и почти хозяйку.

Михайловский период няниной биографии завершился внезапно, и в исповедную роспись за 1827 год церкви Воскресения Христова, что в «пригороде Воронич Опочецкого

уезда», имя Ирины Родионовой уже не попало[374][375].

В начале скверного 1828 года в семействе Пушкиных произошло событие из ряда вон выходящее — и семидесятилетнюю Арину Родионовну хозяева вновь призвали на подмогу.

Давно уже выросла Оленька Пушкина — а счастье бабье всё стороной её обходило. Коротала свой век голубушка, будто невеста Христова, слезами горькими по ночам подушку напитывала. Свыклась она, бедняжка, с незавидной долей, почитай смирилась.

Жалела наша нянюшка деву любезную — да споспешествовать ей не в силах была.

Тут оказия случилась: жених с неба свалился. Знамо, не богатырь былинный, не тайный советник, но сирой голубушке он как на грех приглянулся. Матушка с батюшкой оченно тогда возроптали — ну а Оленька ободрилась, перечит им, на своём стоит. Долго судили и рядили родители с дочкой — да так и не столковались.

По зиме же задумала голубушка своевольно жить — и вдруг пустилась во все тяжкие. Потом за верной нянюшкой в сельцо человека послала — видать, в опоре барыня нужду возымела.

А смерть-то не за горами ходит — она, плутовка, за плечами стоит. Аккурат перед отъездом в столицу припомнила старушка поговорку праотцовскую и потом во всю дорогу — что за наваждение! — оборотиться боялась.

Не по себе стало нянюшке: ведь дотоле не водилось за ней такого…

Глава 7
ЧАС РАЗЛУКИ

Где стол был яств, там гроб стоит…

Г. Р. Державин

Если Лёвушка был любимейшим чадом Надежды Осиповны и Сергея Львовича, а Александр — самым неблагодарным на свете сыном, то дочь Пушкиных Ольга всегда считалась в семье образцом сдержанности и покорности родительской воле. Однако в январе 1828 года Ольга (давно уже ставшая Ольгой Сергеевной) внезапно повела себя столь дерзко и строптиво, что повергла стариков в отчаяние.

А началось всё с осени 1827 года, с того момента, когда вернувшиеся из Ревеля в Петербург Пушкины поселились в Свечном переулке, в доме Касторского. Туда-то вскоре и зачастил двадцатипятилетний переводчик Государственной коллегии иностранных дел Николай Иванович Павлищев, бывший товарищ Льва Пушкина по Благородному пансиону при Царскосельском лицее.

Супруги встречали гостя вполне учтиво, выслушивали и угощали, кивали и поддакивали, но особой радости эти визиты родителям не приносили. Оно и понятно: ведь кавалер, исподтишка поглядывавший на красневшую и опускавшую глаза Ольгу, был чуть ли не на пять лет моложе её, производил впечатление человека хворого да и — что удручало особенно — капиталами похвастаться не мог. Надо ли говорить о том, что литературные и музыкальные интересы примелькавшегося посетителя рассудительные Пушкины во внимание не приняли вовсе и однажды сделанное Н. И. Павлищевым формальное предложение было ими решительно отвергнуто. По некоторым сведениям, настырному воздыхателю даже отказали тогда от дома[376].

Дело со сватовством чиновника зашло в тупик. И тут истомившаяся тридцатилетняя Ольга Сергеевна Пушкина (которую Е. Н. Карамзина вскоре прозвала «амазонкой»), словно вспомнив матримониальные подвиги предков, выказала свой норов.

25 января 1828 года она украдкой отправилась за Фонтанку, в храм Святой Троицы в Измайловском полку, и там обвенчалась с Н. И. Павлищевым. Совершил таинство священник Симеон

Александров, а поручителями выступили охочие до подобных приключений гвардейские офицеры, приятели жениха[377]. Потом новоиспечённый супруг отвёз Ольгу Сергеевну в Свечной переулок, а сам как ни в чём не бывало удалился «на свою холостую квартиру».

Наутро наступила развязка романтической истории. Вот что рассказал о ней В. А. Жуковский в письме А. А. Воейковой от 4 февраля: «Пушкина, Ольга Сергеевна, одним утром приходит к брату Александру и говорит ему: „Милый брат, поди скажи нашим общим родителям, что я вчера вышла замуж <…>“. Брат удивился, немного рассердился, но, как умный человек, тотчас увидел, что худой мир лучше доброй ссоры, и понёс известие к родителям. Сергею Львовичу сделалось дурно; привели цырульника пустить кровь, и Пушкин замечает, что отец его в беспамятстве горя поднял спор с цырульником и начал учить его, как пускать кровь, но тем и кончил, а теперь все помирились»[378].

В мемуарах сына Павлищевых, Льва Николаевича, об ажитации обманутых родителей Ольги Сергеевны и миротворческой миссии поэта поведано следующее: «Он тотчас приехал и, после трёхчасовых переговоров с Надеждой Осиповной и Сергеем Львовичем, послал за моим отцом. Новобрачные упали к ногам родителей и получили прощение. Однако прощение Надежды Осиповны было неполное: она до самой кончины своей относилась недружелюбно к зятю»[379].

Приведём заодно и натуралистический пассаж князя П. А. Вяземского из письма жене, датированного 2 марта 1828 года: «Сергей Львович забрызгал меня сегодня слезами и слюнями, рассказывая о побеге дочери, которую он, впрочем, простил»[380].

Пристанища у набедокуривших и помилованных любовников, разумеется, не было и в помине, но им повезло и тут: пустовала квартира А. А. и С. М. Дельвигов, только что надолго покинувших Петербург[381]. Уже через день-другой Александр Пушкин и Анна Керн, следуя обычаю (и выполняя просьбу как будто устранившейся Надежды Осиповны), благословили новобрачных образом и хлебом на пороге дельвиговского жилища.

Квартира барона располагалась в Московской части города, «во Владимирской в доме Кувшинникова» *(XIV, 36)*[382]. А дом находился в приходе храма Владимирской Божией Матери в Придворных слободах (тогда и позднее петербуржцы обычно называли эту церковь просто Владимирской).

Там Ольга и Николай Павлищевы и поселились на первых порах.

Вероятно, именно сюда в начале февраля 1828 года и

приехала вызванная из Михайловского Арина Родионовна. Впоследствии Леон Павлищев утверждал, что старуха очутилась «в доме отца <…> тотчас после его свадьбы»[383].

Скорее всего, решение пригласить любимую нянюшку в Петербург, посовещавшись, единодушно приняли Ольга и Александр Сергеевичи. Семья Павлищевых очень нуждалась в опытном и добропорядочном человеке, который взялся бы наладить и поддерживать их домашний быт, блюсти прислугу, — и Арина Родионовна, несмотря на свои весьма преклонные лета, как нельзя лучше подходила на роль наставницы и домоправительницы. А. И. Ульянский справедливо писал об Ольге Сергеевне: «Всем своим предшествующим, чисто светским, воспитанием она ни в коей мере не была подготовлена к самостоятельному ведению домашнего хозяйства. Мать её Надежда Осиповна сама была плохой хозяйкой. Известно, какой беспорядок царил в доме Пушкиных в Петербурге»[384].

Учли брат с сестрой, видимо, и другое немаловажное обстоятельство. Водворяя «голубку дряхлую» на жительство к «голубушке» Ольге Сергеевне, они «приближали» её к себе и получали возможность каждодневно заботиться о старушке. Ведь нашей героине было уже ровно семьдесят, возраст по тем временам не просто внушительный — воистину мафусаилов, а для крепостной крестьянки в особенности.

В начале марта Павлищевы покинули гостеприимную обитель Дельвигов: они обзавелись собственной квартирой. Арина Родионовна, толком и не обжившись, перебралась вместе с молодыми супругами на Грязную улицу, в дом Магдалины Мадатовой (под № 143). Вновь нанятая квартира, как и дельвиговская, находилась в приходе Владимирской церкви[385]. В исповедных ведомостях этого храма за 1828 год упоминаются фамилии «г-на Павлицева» (которая «есть не что иное, как искажённая фамилия Павлищева») и двух его дворовых людей[386].

Допускаем, что как раз здесь, на Грязной улице, в марте — июле 1828 года кем-то из посетителей Павлищевых был сделан некий профильный портрет Арины Родионовны. Впоследствии изображение могло перекочевать в *Псковскую* губернию, к примеру, в сельцо Михайловское (где в 1830-е годы наездами бывали Пушкины и постоянно жили родственники няни). А уже в 1840-е годы *псковский* резчик-самоучка Яков Панфилович Серяков по петербургскому портрету (который позже бесследно исчез) сделал одну из лучших своих работ — горельеф старушки на моржовой кости. (Кстати, искусствовед М. Д. Ромм, изучавший творчество Я. П. Серякова, утверждал, что провинциальный

резчик «никогда не придумывал своих портретов», а ориентировался на имевшийся в его распоряжении художественный оригинал[387].)

«Очень важно, что на обратной стороне рельефа, — пишет Н. И. Грановская, — на костяной пластине есть надпись старинным почерком и чернилами „Арина Родионовна. Нянька Пушкина“»[388]. Существенно и то, что изображённая на высоком рельефе бабушка имеет определённое сходство с графическим портретом няни, выполненным Александром Пушкиным в 1828 году. (К рисунку поэта мы вскоре обратимся.)

Горельеф, заключённый в овальную ореховую рамку, до конца XIX столетия находился у родственников Я. П. Серякова. В 1896 году его приобрёл «любитель редкостей» Новосильцев и вскоре перепродал М. Ф. Каменскому, сын которого в 1911 году, будучи за границей, подарил портрет А. М. Горькому[389]. В свою очередь писатель, вернувшись из Италии, передал раритет в дар Пушкинскому Дому. Это произошло уже после революции, в 1918 году.

В советскую эпоху талантливая работа Я. П. Серякова воспроизводилась при каждом удобном случае и получила широчайшую известность. Правда, отдельные биографы Арины Родионовны (такие, как В. Ф. Ходасевич или А. И. Ульянский) воспринимали её как серяковскую «фантазию»[390]. Но большинство исследователей считали и продолжают считать горельеф *единственным* более или менее достоверным изображением нашей героини[391].

Она запечатлена на кости в профиль, на голове согбенной старушки по-простонародному повязан какой-то плат. В. Ф. Ходасевич утверждал, что у изображённой на портрете пожилой женщины «маловыразительное лицо»[392], однако тут с пушкинистом можно и поспорить. Автор, используя специфические выразительные средства, похоже, смог приблизиться к пониманию *натуры* няни. У зрителя, скажем, создаётся впечатление, что по круглому лицу Арины Родионовны блуждает тень лёгкой улыбки, да и в глазах её затаилось нечто весёлое, озорное. Мало кому удаётся сохранить столь светозарный, сходный с *детским,* лик и в середине жизненного пути, а вот она сохранила до глубокой старости.

Даже не до старости — почитай до самого гроба.

«Худ приплод в високосный год».

Это было крайне тяжёлое для Александра Пушкина время. После январской *escapade* Ольги Сергеевны, озадачившей брата, поэту довелось столкнуться с куда более серьёзными «хлопотами

и неприятностями всякого рода» *(XIV, 26)*.

Сперва он вывихнул (или растянул) ногу и пару недель провалялся в постели, в номере Демутова трактира, в «скуке заточения» *(XIV, I, 384)*.

Поправившись, Пушкин подал прошение на высочайшее имя об определении в действующую против турок армию — и вскоре получил императорский отказ (дескать, все места заняты), который поверг его «в болезненное отчаяние»[393]. Не разрешили поэту отправиться и в европейское путешествие, в Париж.

Потом началось многомесячное дело о поэме «Гавриилиада», «исполненной ужасного нечестия и богохульства», по определению петербургского митрополита Серафима (Глаголевского). Она была написана Пушкиным ещё в 1821 году и только через семь лет попала в поле зрения правительства. Предметом скрупулёзного разбирательства являлась в ту пору и пушкинская элегия «Андрей Шенье», распространившаяся в списках под названием «На 14-е декабря». Поэту пришлось изрядно поволноваться, прежде чем власти удостоверились в том, что помянутые стихи никак не связаны с заговором 1825 года: они были представлены в цензуру за два с лишним месяца *до* бунта.

Кончилось же всё тем, что за стихотворцем Александром Пушкиным был учреждён «секретный со стороны полиции надзор».

Внешние передряги, «гербовые заботы» *(XIV, 20)* усугубили тогдашнее состояние Пушкина, которое правомерно охарактеризовать как духовный кризис. Поэтической фиксацией этого внутреннего разлада стало, в частности, мрачное стихотворение, которое датируется (по копии Е. М. Хитрово) 26 мая 1828 года — днём рождения поэта:

> Дар напрасный, дар случайный,
> Жизнь, зачем ты мне дана?
> Иль зачем судьбою тайной
> Ты на казнь осуждена?.. *(III, 104)*.

«…У Пушкина ничего подобного этому стихотворению до сих пор не было, — пишет В. С. Непомнящий, — был трагизм, были сетования, была тоска по смерти — но такой, самоубийственного спокойствия (в котором вопль), декларации *отвержения* у него больше не встретить. <…> Всё происшедшее в „Пророке“ переосмыслено в духе отрицания и отвергнуто. Говорится о случайности и бессмысленности жизни, отсутствии в ней „цели“ — после того, как в „Пророке“ поэту дана новая природа и

возвещена цель жизни»[394].

Критик и журналист Ксенофонт Полевой вспоминал, что двадцатидевятилетний поэт тогда «казался по наружности истощённым и увядшим; резкие морщины виднелись на его лице»[395]. А перед чиновником Третьего отделения А. А. Ивановским Пушкин предстал «худым, с лицом и глазами совершенно пожелтевшими»[396].

Однако и в период жестокой хандры Пушкин не забыл свою нянюшку и регулярно наведывался к ней и Павлищевым на Грязную улицу. «Шурин Александр <…> заглядывает к нам», — сообщал Н. И. Павлищев матери 1 июня[397].

Показательны следующие пушкинские «сближения» 1828 года.

В его начале поэт вновь обратился к «третьей масонской» тетради (ПД № 836) — той самой, куда он записывал в Михайловском вечерние сказки Арины Родионовны. Для Пролога ко второму изданию поэмы «Руслан и Людмила» (вышедшему в свет в марте) Пушкин переделал нянину сказку «Царь Кащей безсмертный…». А позднее он приступил (в тетради ПД № 838) к поэтическому переложению другой фольклорной повести старушки — «Некоторый Царь задумал жениться…». Первые четырнадцать стихов и программа продолжения «Сказки о царе Салтане» были им созданы, по мнению современного текстолога, в июне — июле 1828 года[398].

О жизни Арины Родионовны в петербургской квартире супругов Павлищевых мы можем иногда судить по скупым косвенным данным, а чаще — лишь предположительно.

Не приходится сомневаться, что Ольга Сергеевна окружила нянюшку заботой, по возможности пеклась о ней и старалась не загружать непосильными уроками.

А вот её муж наверняка отнёсся к старухе холодно, то есть как к обычной прислуге, притом не слишком работящей[399].

Иного и ждать не приходилось: Николай Иванович с первых же шагов на супружеском поприще выказал себя господином мелочным и жадным, сосредоточенным прежде всего на имущественных вопросах. Оказалось, что ничего романтического, тем паче рыцарского в нём не было ни на грош — и это открытие сильно удручило мечтательную Ольгу Сергеевну. В семье начались недоразумения, размолвки, и вскоре грусть молодой жены была замечена в обществе.

Так, князь П. А. Вяземский, отобедав у Пушкиных, сообщил 9 апреля жене: «Моя приятельница Павлищева, кажется, очень жалка»[400]. Тогда вряд ли кто мог предположить, что уже в 1830

году Ольга Сергеевна надолго разъедется с мужем.

Конечно, Арина Родионовна, знавшая ситуацию в доме едва ли не лучше всех, болела душою за свою Оленьку. Огорчало старушку и то, что Надежда Осиповна с Сергеем Львовичем так и не смогли сойтись с зятем. А как тревожилась она за Льва Сергеевича, который, по слухам, подставлял грудь то под персидские, то под турецкие пули где-то на Кавказе. Да и «ангел» Александр Сергеевич, заходивший в гости, был отчего-то хмур, «или сидел букою, или на жизнь жаловался»[401]. Поговаривали, что он опять предался пагубной картёжной игре.

Иными словами, беды не обошли стороною никого из близких ей людей, и переживать Арине Родионовне пришлось тогда за всех разом.

Эти бесконечные переживания и отняли у неё последние силы.

Миновала холодная и «грязная весна»[402]. В мае, когда потеплело, Н. О. и С. Л. Пушкины уехали в сельцо Михайловское.

А вскоре после их отъезда Арина Родионовна тяжко заболела.

И болезнь нянюшки, недавно разменявшей восьмой десяток, была, как поведала нам О. С. Павлищева, «кратковременной»[403].

26 июля 1828 года князь П. А. Вяземский написал (находясь «в провинциях»: или в Пензе, или неподалёку от города, в имении Мещерском) обширное послание Пушкину и завершил его такой фразой: «Ольге Сергеевне моё дружеское рукожатие, а Родионовне мой поклон в пояс» *(XIV, 25)*.

Но пока это письмо с галантным княжеским приветом добиралось до невских берегов, наступил час разлуки с нянюшкой.

29 июля, в день памяти святого мученика Каллиника Гангрского, солнце взошло над Петербургом в 4 часа 5 минут[404]. Быстро убывающий день обещал быть ясным и почти жарким: с утра термометр показывал +13,8° по Реомюру (примерно +17,3° по Цельсию), дул слабый юго-западный ветерок. К полудню он нагнал откуда-то «рассеянные облака», а воздух прогрелся до +17,8° R (+22,3 °C). Вечером градское небо и вовсе затянулось облаками, юго-западный зефир сменился юго-восточным, но и после захода солнца (в 7 часов 55 минут пополудни) было весьма тепло: +14,2° R (+17,8 °C)[405].

Словом, воскресный июльский денёк выдался тихим и по-настоящему летним.

В этот тихий летний день, 29 июля 1828 года, на Грязной улице и отдала Богу душу Арина Родионовна.

Подходила тут скорая смертушка,

Она крадчи шла эдодейка-душегубица
По крылечку ли она да молодой женой,
По новым ли шла сеням да красной девушкой,
Аль калекой она шла да перехожею;
Со синя ли моря шла да всё голодная,
Со чиста ли поля шла да ведь холодная,
У дубовыих дверей да не стучалася.
У окошечка ведь смерть да не давалася,
Потихошеньку она да подходила
И чёрным вороном в окошко залетела…

«Почтенная старушка умерла в 1828 году, семидесяти лет, в доме питомицы своей, Ольги Сергеевны Павлищевой» — так оповестил публику в 1855 году «первый пушкинист» П. В. Анненков[406].

«Арина Родионовна умерла, как и родилась, крепостной», — подчеркнул спустя почти столетие и при другом режиме А. И. Ульянский[407].

«Она прожила тихую, незаметную жизнь обыкновенной женщины», — читаем в проникновенном, устремлённом «во области заочны» *(III, 421)* эссе нашего современника[408].

На обороте листа 17 пушкинской тетради ПД № 838, среди черновиков стихотворения «Волненьем жизни утомлённый…», в последних числах июля появилось несколько коротких записей дневникового характера. В *окончательном* виде они выглядели так:

«25 июля[409]
Фанни
Няня †
Elisa e Claudio
Ня…» *(XVII, 258)*.

То, что следует за слогом «Ня», не поддаётся даже предположительному прочтению. Скорее же всего, это характерный для Пушкина росчерк: слово просто не было дописано поэтом.

Приведённые пять строк А. И. Ульянский расшифровал в 1940 году следующим — довольно остроумным — образом.

25 июля 1828 года Пушкин где-то встретился со старой петербургской знакомой, «звездой полусвета» Фанни, некогда попавшей в его послание к М. А. Щербинину («Житьё тому, любезный друг…», 1819)[410].

А через день, 27-го числа, поэт побывал в Большом театре на опере итальянского композитора С. Меркаданте (Mercadante) «Элиза и Клаудио» («Elisa e Claudio»).

Третья строка («Няня») может означать внезапную болезнь Арины Родионовны или, допустим, визит поэта в дом Павлищевых.

Когда же старушка скончалась, то Пушкин сперва решил зафиксировать этот печальный факт и начал пятую строчку: «Ня…», но тут же, перечитав написанное им прежде, бросил строчку на полуслове и ограничился тем, что подставил крестик к записи «Няня»[411].

Более убедительных разъяснений туманной пушкинской маргиналии, на наш взгляд, пока нет.

Отпевали нянюшку в находившейся неподалёку от дома четы Павлищевых Владимирской церкви. Из метрической книги этого храма следует, что «5-го класса чиновника Сергея Пушкина крепостная женщина Ирина Родионова» умерла «старостию», в 76-летнем возрасте[412]. Чин отпевания совершил иерей Алексей Нарбеков[413][414].

Из Владимирской церкви процессия отправилась на кладбище.

Погребли старушку на Смоленском православном кладбище, где в то время хоронили преимущественно жителей Васильевского острова (а четвертью века ранее там упокоилась блаженная Ксения Петербургская). Это случилось во вторник, 31 июля, в день памяти святого Евдокима. Запись о погребении «В Смоленской» также есть в метрической книге храма Владимирской Божией Матери[415].

В другом источнике — «Ведомостях города Санктпетербурга церкви Смоленския Божия Матери, что на Васильевском острове при кладбище; о умерших и погребённых на оном кладбище с 1828-го года по июль 1829-го года» — указаны дата погребения няни («31-го Июля»), возраст покойницы (вновь «76»), её болезнь «и от чего приключилась смерть» («старость»). В графе «Священники» прописано: «владимирской иерей Алексей Норбеков». Ясно, что он совершил литию и бросил на опускаемый в могилу гроб положенную горсть земли.

А об умершей в «Ведомостях…» даны такие формальные сведения: «Ирина Родионова дому 5-го клас<са> чиновника Пушкина служащая женщина»[416].

Вряд ли можно сомневаться в том, что Александр Пушкин и Ольга Павлищева присутствовали и на отпевании в храме Владимирской Божией Матери в Придворных слободах, и на Смоленском кладбище. Проводили Арину Родионовну в

последний путь, вероятно, и дворовые люди Пушкиных и Павлищевых.

Зато Надежда Осиповна и Сергей Львович так и не смогли проститься с верной рабой: они по-прежнему находились в Псковской губернии, в Михайловском[417].

Полагаем, что и Н. И. Павлищев не принимал участия в скорбной церемонии. На него смерть какой-то крепостной старухи не произвела ни малейшего впечатления. Так, через несколько дней после похорон Арины Родионовны, 6 августа 1828 года, Николай Иванович как ни в чём не бывало писал своей матери: «Мы с Олинькой откланялись шумному свету и ведём жизнь спокойную и тихую, стараясь кое-как свести расходы с доходами, столь скудными по милости её беззаботных родителей»[418].

В тетради ПД № 838, на соседнем с записью о кончине няни листе (на обороте листа 18), в черновиках стихотворения «Воспоминания в Царском Селе» Пушкин дважды запечатлел Арину Родионовну. На одном из рисунков (поясном) она изображена молодой и задорной, в сарафане и кокошнике[419]; на другом — в очень преклонном возрасте.

Атрибутировавшая данные женские портреты Н. И. Грановская пишет об изображении старухи в повойнике: «Она нарисована, вероятно, такой, какой поэт видел её в последний раз на смертном одре — перед нами лицо старушки с уже застывшими чертами, с опушенными веками». Исследовательница подчеркивает, что рисунок напоминает «известный рельефный портрет Арины Родионовны работы Я. П. Серякова (резьба по кости)». Далее она указывает: «Пушкин представил няню одновременно и старой, и молодой, подобно тому, как делал это не раз в своих автопортретах, изображая себя рядом молодым, каким уже не был, и пожилым, в возрасте, до которого не дожил».

Кроме того, Н. И. Грановская обнаружила определённое сходство пушкинских изображений с портретами потомков нашей героини, её «правнучек и праправнучек, помещёнными А. И. Ульянским в его книге „Няня Пушкина“»[420].

Рисунки были сделаны поэтом в конце июля — начале августа 1828 года, то есть сразу после ухода «голубки дряхлой»[421]. Не исключено, что графические портреты появились на полях тетради ПД № 838 в девятый день по кончине Арины Родионовны, то есть *6 августа*.

Стоит упомянуть и о некоторых эпизодах осени 1828 года, так или иначе связанных со смертью Арины Родионовны.

В начале сентября семейство Павлищевых покинуло дом на

Грязной улице и сняло квартиру в доме Храповицкой «на Басманной-Хлебной улице Московской части первого квартала под № 71»[422]. Как думают пушкинисты, сороковины — поминовение няни в сороковой день по её кончине — прошли уже здесь. По заведённому обычаю для покойницы должны были поставить прибор и положить ложку: ведь в тот день, 6 сентября 1828 года, она «обедала в последний раз за хозяйским столом» (В. И. Даль). Предполагается, что поэт побывал тогда в гостях у сестры Ольги Сергеевны[423].

Для биографов Арины Родионовны определённый интерес представляет и письмо Ореста Михайловича Сомова (1793–1833), писателя и журналиста, принимавшего ближайшее участие в издании альманахов «Северные цветы», которые выходили под редакцией барона А. А. Дельвига. Это послание было написано 2 октября 1828 года и адресовано Н. М. Языкову в Дерпт. Наше внимание привлекают прежде всего такие строки: «Не знаю, доставил ли Вам барон (А. А. Дельвиг. — *М. Ф.)* экземпляр „Цветов“ нынешнего года, в которых есть и Ваша одна пьеса, к покойной няне Пушкина, сообщённая нам самим Пушкиным и напечатанная по его желанию. Как бы то ни было, прошу Вас принять прилагаемый экземпляр от меня»[424].

Из приведённого эпистолярного фрагмента следует, что весть о кончине Арины Родионовны распространилась в литературных кругах, причём не только петербургских. Иными словами, тихая смерть крепостной старушки всё же стала событием *общественным*[425]. Но ещё важнее беглое сообщение О. М. Сомова об истории публикации языковского стихотворения «К няне» («Свет Родионовна, забуду ли тебя?..») в «Северных цветах на 1828 год». Оказывается, оно было напечатано в альманахе по личной инициативе *Пушкина.*

Напомним читателям и о сказанном в самом начале этой книги. Поздней осенью злосчастного года поэту не слишком понравилась «мамушка седая» из поэмы Е. А. Боратынского «Бал». Пушкин, ознакомившийся с произведением в рукописи, не мог не сравнить придуманную коллегой няню с реальной, бедной Ариной Родионовной, — и вполне понятное сопоставление *Wahrheit* и *Dichtung* оказалось явно не в пользу поэтического персонажа.

И были зимы, и были вёсны… Более восьми лет прожил Александр Пушкин без Арины Родионовны. Поэт не забывал её — и благодарная тень старушки ещё не раз являлась ему.

О том, что происходило *post mortem,* после кончины няни, мы поведаем в следующей, завершающей главе.

В некотором царстве-государстве, на севере лежащем и по-всякому называвшемся, память у людей добрых иногда короче воробьиного носа бывала.

Плакали они, положим, над гробами отеческими, локти себе кусали, клятвы страшные и искренние у пропасти могильной изрекали — а вскорости завивали горе верёвочкой. С глаз долой — так и из сердца вон: после похорон, от силы после сорокоуста дорожку на погост которые и вовсе забывали, заодно на свечках копеечных в храмах выгадывали.

И начинали тогда беспризорные могилки пращуров сорной травой покрываться, кресты же долу клонились да потихоньку истлевали. А ежели округ свежие холмики с крестами громоздились — то и с ними зачастую схожая беда приключалась.

По счастью, не у всех жителей сердца мохом навек обросли. Из рода в род объявлялись в царстве-государстве, по-всякому называвшемся, и люди, покойников круглый год чтившие.

Исполать памятливым: без оных рассыпалась бы прахом земля северная.

Глава 8
POST MORTEM — ANTE DIEM

Сердце сердцу весть давало
И из тайной глубины
Всё былое выкликало
И все слёзы старины.

Князь П. А. Вяземский

В сердечные синодики большинства пушкинских знакомцев наша героиня, как и следовало ожидать, не была внесена. Однако находящиеся в распоряжении биографа тексты свидетельствуют, что кое-кто из знававших старушку не предал её забвению.

Так, Николай Языков сочинил на смерть пушкинской няни в 1830 году стихи, которые были напечатаны в альманахе «Северные цветы на 1831 год» под названием «Элегия»:

Я отыщу тот крест смиренный,
Под коим, меж чужих гробов,
Твой прах улёгся, изнуренный
Трудом и бременем годов.
Ты не умрёшь в воспоминаньях
О светлой юности моей
И в поучительных преданьях
Про жизнь поэтов наших дней.

В последующих строфах выспреннего стихотворения Вессель[426] припомнил свои встречи с Ариной Родионовной в сельце Михайловском летом 1826 года и шумные деревенские пирушки Александра Пушкина, Алексея Вульфа и его, Николая Языкова, в которых няня принимала самое активное участие.

А заключали языковскую элегию такие строки:

…И вот тебе поминовенье.
На гроб твой свежие цветы!
Я отыщу тот крест смиренный.
Под коим, меж чужих гробов,
Твой прах улёгся, изнуренный
Трудом и бременем годов.
Пред ним печальной головою

Склонюся; много вспомню я
И умилённою мечтою
Душа разнежится моя![427]

В недавно опубликованных письмах Ольги Сергеевны Павлищевой Анне Петровне Керн за 1827–1835 годы[428] нет ни единой фразы об Арине Родионовне. Но мы знаем, что в мемуарах обе подруги помянули нянюшку тёплыми словами.

Попала Арина Родионовна также в воспоминания И. И. Пущина, А. П. Распопова, М. И. Осиповой, И. П. Липранди и прочих друзей и приятелей Пушкина.

При случае рассказала про умершую «няньку» и мать поэта, Надежда Осиповна Пушкина. Соответствующий фрагмент её письма дочери Ольге Сергеевне от 4 января 1835 года был рассмотрен нами в начале данной книги.

Не приходится сомневаться в том, что и в *разговорах* лиц, так или иначе сталкивавшихся с «голубкой», имя Арины Родионовны иногда упоминалось: ведь она оставила по себе добрую память.

Главным же хранителем этой памяти сделался Александр Пушкин.

Он был поэт, он был эгоистичен и требовал, чтобы его любили.

И Пушкина всегда любили — да ещё как любили! — самые удивительные женщины, русские и чужестранки. Вот только их любовь мало походила на ту, что почти тридцать лет дарила ему «мамушка».

После ухода Арины Родионовны поэт сильнее потянулся к матери, а потом женился. Что бы ни говорили всезнайки XIX–XX веков, и Надежда Осиповна, и красавица *Natalie,* прозванная в обществе и Психеей, и «âme de dentelles»[429], каждая по-своему, тоже благоволили к Пушкину — однако и их чувства отличались от любви нянюшки к своему «ангелу».

«Расспросы об Александре Сергеевиче сопровождались слезами»… «Она прибежала вся запыхавшись; седые волосы её беспорядочными космами спадали на лицо и плечи; бедная няня плакала навзрыд»… «…Вы у меня беспрестанно в сердце и на уме, и только когда засну, то забуду вас и ваши милости ко мне»…

Когда старушки не стало, *такой* любви к Александру Пушкину не сумел выказать уже никто.

И в этом смысле последние годы его жизни — *сиротские* годы.

Если за короткий срок исчезли в позапрошлом столетии на

Смоленском кладбище захоронения таких знаменитостей, как поэт В. К. Тредиаковский или живописец Д. Г. Левицкий, то немудрено, что и могилка Арины Родионовны была утрачена очень быстро[430].

«Проживи Пушкин дольше, могила Родионовны наверняка сохранилась бы, — утверждает наш современник. — А без него затерялась: некому было за нею ухаживать»[431].

Это мнение едва ли основательно: думается, «любовь к отеческим гробам» *(III, 242)* вовсе не ассоциировалась у Пушкина, выражаясь по-нынешнему, с охраной мемориалов. Потому-то и нет в распоряжении пушкинистов никаких данных о том, что он хоть единожды приходил на могилы некоторых дорогих ему людей. Александр Пушкин мог, допустим, принять участие в подписке на монумент Н. И. Гнедичу, но обычно действовал иначе: он правил *поэтические* тризны — и собственно «стишистые», и нетривиальные. Так, годовщину смерти дядюшки Василия Львовича в 1831 году Пушкин и В. А. Жуковский, записные арзамасцы, отметили «вотрушками, в кои воткнуто было по лавровому листу» *(XIV, 217)*.

Тем не менее мы полагаем, что поэт *посещал* обитель няни на Смоленском православном кладбище.

Начнём с того, что на северо-западной оконечности Васильевского острова (а точнее, на острове Голодай) были тайно преданы земле тела казнённых руководителей военного заговора 14 декабря 1825 года. Учёные, изучившие имеющиеся источники (в частности, пушкинскую «чертовщину» — устную новеллу 1828 года о «влюблённом бесе», которую В. П. Титов опубликовал как повесть «Уединённый домик на Васильевском»), сделали вывод, что поэт, оплакивавший гибель бунтовщиков, в ходе предпринятого им расследования установил-таки точное место погребения декабристов на взморье и *бывал* там[432].

К засекреченной правительством точке побережья Финского залива вело два пути: один — водный, другой — по суше, причём пешая дорога была значительно удобнее, да и выглядела она менее подозрительно. Особенно подходили для похода неприсутственные дни: ведь в тёплое время года, по праздникам и воскресеньям, петербуржцы по традиции совершали массовые паломничества за город.

Идя же на «скалистые берега» Голодая пешком и так же возвращаясь обратно, Пушкин — это хорошо видно на «Подробном плане столичного города С.-Петербурга», снятом под начальством генерал-майора Ф. Ф. Шуберта и изданном в 1828 году, — неизбежно должен был дважды проходить через *Смоленское кладбище.* Таким образом, за одну прогулку поэт имел

возможность не только поклониться праху «друзей, братьев, товарищей» *(XIII, 291),* но и навестить последний приют Арины Родионовны.

(Кстати, и заговорщики, и она покинули сей мир в один и тот же месяц — это произошло в *июле,* а Пушкин в июле 1830-го и 1832–1836 годов находился как раз в Петербурге. Заодно укажем, что 28 июля было днём празднования Смоленской иконы Божией Матери, то есть особенным для Смоленского кладбища днём. «В пору жаркого лета, 28-го июля, около сотни тысяч народа валит к Смоленской со всех концов города, — писалось в журнале середины XIX века. — Эти потоки можно заметить ещё в дальних концах Ямской, Коломны и Выборгской. На Васильевском они сгущаются в сплошные массы, в неразрывные вереницы, которые тянутся с Николаевского моста по 8-й линии, по Малому проспекту до самых ворот ограды. В этот день, храмовый праздник кладбища, тут возникают шалаши, палатки, дымятся самовары, шипят на углях кофейники, подобные батарейным орудиям…»[433])

С другой стороны, в тридцатые годы неспешные гулянья по петербургским улицам и окрестностям стали для поэта, который «много и подолгу любил ходить» (П. И. Бартенев), делом частым, обыденным: они вполне отвечали его крепнущим настроениям. (Во время одного из таких променадов он оказался на могиле барона А. А. Дельвига на Волковом кладбище.) Тенистые аллеи Смоленского некрополя, урны и мавзолеи, тихая речка Смоленка в соседстве с ними, кладбищенские романтические легенды — всё это располагало к столь желанной задумчивости. И подобный контекст визитов Пушкина к месту «вечного ночлега» Арины Родионовны был, пожалуй, не менее (если не более) возможен, нежели конспиративный, «декабристский».

Скорее всего, Александр Пушкин был на Смоленском кладбище и 30 мая 1833 года. Тогда там хоронили О. М. Сомова, давнего знакомца поэта и его партнёра по издательским делам, а накануне Пушкин получил от барона Е. Ф. Розена письменное приглашение «принять участие в похоронной процессии» *(XV, 63, 317)*. По завершении погребального обряда он, пользуясь внезапной оказией, мог заглянуть и к нянюшке[434].

Внимание к Смоленскому Пушкин выказал тогда же и в «Медном всаднике» (1833).

Как известно, кладбище безмерно пострадало при ужасном столичном потопе 7 ноября 1824 года: «Множество крестов с могил <…>, сломанных и унесённых наводнением, прибило на Выборгскую сторону, где всю зиму ими топили печи. Михайловская церковь оказалась повреждённой настолько, что в

ней невозможно было проводить службу. Ущерб, причинённый некрополю, оценивался в семьдесят шесть тысяч двести пятьдесят рублей»[435].

В «петербургской повести» Александр Пушкин представил такую картину:

Гроба с размытого кладбища
Плывут по улицам!
Народ
Зрит Божий гнев и казни ждёт *(V, 141)*.

В черновике первый из приведённых стихов имел ещё более конкретный вид:

Гроба с Смоленского кладбища… *(V, 463)*.

Знаменательны и некоторые строки последней, восьмой (первоначально девятой) главы «Евгения Онегина». Эти стихи строфы 42 *(sic!)* были записаны Пушкиным на отдельном листке (ПД № 942), а в окончательном варианте главы они стали строфой XLVI. Ныне их датируют осенью 1830 года[436].

В ту неповторимую Болдинскую осень Александр Пушкин, готовившийся к женитьбе на Наталье Гончаровой, расставался с прошлой жизнью. Он подводил её итоги, доверял бумаге прощальные стихи к былым возлюбленным, завершал «Онегина». В финале романа он помянул уже ушедших, странствующих и страждущих:

Иных уж нет, а те далече… *(VI, 190)*.

Не забыл Пушкин и про скончавшуюся двумя годами ранее «подругу юности».

Вышедшая замуж и превратившаяся в «неприступную богиню» *(VI, 177)* княгиня Татьяна N в разговоре с Евгением признаётся:

«……Сейчас отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этот блеск, и шум, и чад
За полку книг, за дикой сад,
За наше бедное жилище,
За те места, где в первый раз,
Онегин, видела я вас,

Да за смиренное кладбище,
Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной нянею моей…» *(VI, 188)*.

Со слов поэта мы знаем, что «оригиналом» няни Татьяны Лариной была реальная Арина Родионовна. Но и уход Филипьевны, равно как и её появление в «Евгении Онегине», был опять-таки отголоском настоящей жизни — кончины всё той же «голубки дряхлой». «Няня Татьяны и Ольги умирает одновременно со своим оригиналом», — не сомневался, к примеру, В. Ф. Ходасевич[437].

Отметим и обычно не замечаемое пушкинистами: романное «*смиренное*[438] кладбище» состоит в паронимическом родстве со *Смоленским*. Перед нами паронимия (или парономазия, *paronomasia*[439]) так называемого вокалического типа[440].

А «тень ветвей» над могильным холмом — может статься, превратившаяся в поэтическую фигуру деталь *подлинного* кладбищенского пейзажа.

Заманчиво сопоставить стих о «бедной няне» со строками из XXXVII строфы второй песни «Евгения Онегина»:

Своим пенатам возвращенный,
Владимир Ленский посетил
Соседа памятник смиренный,
И вздох он пеплу посвятил;
И долго сердцу грустно было.
«Poor Yorick!» молвил он уныло…

(VI, 48; выделено Пушкиным).

К выделенной английской фразе поэт сделал следующее примечание: «„Бедный Иорик!“ — восклицание Гамлета над черепом шута. (См. Шекспира и Стерна.)» *(VI, 192)*.

Напомним, что в шекспировской «Трагедии о Гамлете принце Датском», а именно в сцене на кладбище (акт V, сцена 1), заглавный герой, держа в руках череп королевского шута, говорит другу: «Увы, бедный Йорик! Я знал его, Горацио <…>; он тысячу раз носил меня на спине; а теперь <…>! У меня к горлу подступает при одной мысли…» (*перевод М. Л. Лозинского*).

Был ли пушкинский мадригал «бедной няне» реминисценцией, намеренной или бессознательной, из шедевра европейской литературы — вот в чём вопрос.

Через столетие В. Ф. Ходасевич объявил три стиха из XLVI строфы восьмой главы «Евгения Онегина» «самым трогательным

упоминаньем о няне»[441]. И тут никаких вопросов, как нам представляется, нет и быть не может.

В июне или июле 1830 года Александр Пушкин побывал в подмосковном Захарове.

Удивлённая Н. О. Пушкина писала дочери, О. С. Павлищевой, 22 июля: «Вообрази, он совершил этим летом сентиментальное путешествие в Захарово, совершенно один, единственно чтобы увидеть место, где он провёл несколько лет своего детства»[442].

Но поэт увидел не только дорогое «место»: в сельце он встретился с Марьей Фёдоровой, дочерью Арины Родионовны.

Время летело неумолимо: крестьянке шёл уже сорок второй год.

Позже Марья, вконец состарившаяся, рассказывала Н. В. Бергу, что она как-то «была в Москве» у Пушкина, а потом он нагрянул в деревню «сам», на «тройке», «перед тем, как вздумал жениться», — и прямо направился в её избу. «Я, говорит, Марья, невесту сосватал, жениться хочу… И приехал это не прямо по большой дороге, а задами; другому бы оттуда не приехать: куда он поедет? — в воду на дно! А он знал… Уж оброс это волосками тут (показывая на щёки); вот в этой избе у меня сидел, вот тут-то…»

Разговорившись с заезжим литератором, Марья Фёдорова продолжала: «Наше крестьянское дело, известно уж — чем, мол, вас, батюшка, угощать-то я стану? Сем, мол, яишенку сделаю! Ну, сделай, Марья! Пока он пошёл это по саду, я ему яишенку-то и сварила; он пришёл, покушал… Всё наше решилося, говорит, Марья; всё, говорит, поломали, всё заросло! Побыл ещё часика два — прощай, говорит, Марья! Приходи ко мне в Москву! А я, говорит, к тебе ещё побываю… Сели и уехали!..»[443]

С этой поездкой в сельцо Захарово, видимо, связана дневниковая запись Пушкина на внутренней стороне передней крышки тетради ПД № 838: «Захарово NB»[444]. Судя по всему, поэт придавал этому «сентиментальному путешествию» важное значение.

В конце зимы или весною (до 15 мая) 1831 года Марья Фёдорова «отдала визит» Пушкину — пришла к нему в Первопрестольную. Н. В. Бергу она сообщила, что была в гостях у Александра Сергеевича «скоро после того, как они были здесь», то есть в Захарове. «Стояли тогда у Смоленской Божьей Матери, — вспоминала дочь Арины Родионовны, — каменный двухэтажный дом… Посмотри, говорит, Марья, вот моя жена! Вынесли мне это показать её работу, шёлком, надо быть, мелко-мелко, четвероугольчатое, вот как это окно: хорошо, мол, батюшка,

хорошо… Точно, батюшка, прибавила она немного погодя, — и любили они меня: душа моя, Марья, я, говорит, к тебе опять побываю!..»[445]

К монологу Марьи Фёдоровой можно приобщить заметку С. П. Шевырёва, датируемую началом 1850-х годов: «Эта Марья с особенным чувством вспоминает о Пушкине, рассказывает об его доброте, подарках ей, когда она прихаживала к нему в Москву…»[446]

С недавних пор бытует версия, что поэт заехал-де в Захарово к Марье Фёдоровой еще и 25 августа 1833 года, по дороге из гончаровского Яропольца в Москву[447]. Некоторые исследователи считают такое предположение «очень убедительным»[448].

Конечно, общение с дочерью Арины Родионовны тоже было для Пушкина данью памяти няни. При его долгих разговорах с Марьей Фёдоровой незримо присутствовала и «мамушка». Вполне вероятно, что имя покойницы всплывало во время бесед барина с захаровской крестьянкой.

Не мог не вспомнить поэт Арину Родионовну и в Михайловском, где он побывал в сентябре — октябре 1835 года. Через две недели после приезда в сельцо, 25 сентября, Пушкин писал жене в Петербург: «В Михайловском нашёл я всё по старому, кроме того, что нет уж в нём няни моей…» А через несколько строк, поведав Наталье Николаевне о впечатлении, произведённом им на «знакомую бабу» («ты, мой кормилец, состарелся да и подурнел»), Пушкин привёл запавшее в душу присловье нашей героини: «Хотя могу я сказать вместе с покойной няней моей: хорош никогда не был, а молод был» *(XVI, 50–51)*.

Это — его *последнее* из дошедших до нас эпистолярных высказываний об Арине Родионовне.

Дважды, в 1829 и 1832 годах, Александр Пушкин опубликовал стихотворение «Зимний вечер» («Буря мглою небо кроет…»)[449]. В 1832 году вышла в свет и заключительная глава «Евгения Онегина», где в XLVI строфе иносказательно говорилось о почившей няне. Наконец в марте 1833 года в петербургской типографии А. Ф. Смирдина было отпечатано полное издание романа в стихах — и, таким образом, у публики разом появились *все* пушкинские строфы о Филипьевне, писавшиеся в течение ряда лет.

В тридцатые годы Пушкин создавал и новые тексты, поэтические и прозаические, имевшие касательство к Арине Родионовне.

Черновики поэта и дневниковая запись польского журналиста

Ф. И. Малевского от 19 февраля 1827 года[450] свидетельствуют о том, что драма <«Русалка»> (изначально называвшаяся «Мельник») обдумывалась Пушкиным ещё в 1826 году, при жизни нянюшки. Однако основная работа над произведением проходила в несколько этапов, уже после смерти Арины Родионовны — начиная с осени 1829 года. Беловой автограф драмы был завершён к концу апреля 1832 года (*VII, 380)*. Хотя автор и не делал из <«Русалки»> никакой тайны, даже читал её и обсуждал с приятелями в Москве и Петербурге, в печать он драму так и не отдал.

Учёные давно пришли к выводу, что в образ одного из персонажей драмы — княгининой мамки — Пушкин привнёс «черты Арины Родионовны»[451]. Княгиня величает свою конфидентку «мамушкой» *(VII, 201, 325, 326),* а в черновых редакциях — и «няней», и «нянюшкой» *(VII, 325, 335)*. Аналогично называет мамку в брульоне и сам автор *(VII, 325, 326, 328),* — а мы помним, что слово «няня» было для Пушкина чем-то вроде имени собственного.

Заодно отметим, что беседа *этой* «няни» со своей «княгинюшкой», происходящая «ночной порою» *(VII, 203),* напоминает столь же поздний разговор Татьяны Лариной с Филипьевной. Да и рассказчицей мамка из <«Русалки»> оказалась незаурядной, её язык очень меток и образен — взять хотя бы такие перлы:

> Княгинюшка, мужчина что петух:
> Кири куку! мах мах крылом и прочь.
> А женщина, что бедная наседка:
> Сиди себе да выводи цыплят… *(VII, 201)*.

В октябре того же 1832 года Александр Пушкин, вернувшись из Москвы в Петербург, приступил к работе над романом <«Дубровский»>. Важным действующим лицом романа стала Орина Егоровна Бузырева, старая няня Владимира Дубровского. (В черновиках она единожды была названа Ириной Егоровной и единожды — Аксиньей Егоровной Троцкой; *VIII, 771.)* Уже этим сигналом — именем старухи — автор намекнул, кто являлся жизненным «идеалом» Егоровны.

Едва начав роман и набросав начерно две главы, Пушкин в конце октября — начале ноября[452] внёс существенные коррективы в план произведения. Он составил новый план <«Дубровского»>, где фигурировал, среди прочих, и такой пункт: «Дубровский — 1ая глава, 2ая, болезнь, письмо няни» (*VIII, 830)*.

И в третьей главе «письмо няни» действительно появилось.

Этим посланием из Кистенёвки Егоровна оповестила Владимира Дубровского, «служившего в одном из гвардей<ских> пех<отных> полков и находящегося в то время в Петербурге» *(VIII, 172),* о печальных событиях, случившихся в родовом имении. «Добрая старуха», прибегнув к услугам повара Харитона, «единственного кистенёвского грамотея» (*VIII, 172),* сообщала своему воспитаннику:

«Государь ты наш, Владимир Андреевич, — я, твоя старая нянька, решилась тебе доложить о здоровьи папенькином! Он очень плох, иногда заговаривается, и весь день сидит как дитя глупое — а в животе и смерти Бог волен. Приезжай ты к нам, соколик мой ясный, мы тебе и лошадей вышлем на Песочное. Слышно, земский суд к нам едет отдать нас под начал Кирилу Петровичу Троекурову — потому что мы-декать ихние, а мы искони Ваши, — и отроду того не слыхивали. — Ты бы мог живя в Петербурге доложить о том царю-батюшке, а он бы не дал нас в обиду. — Остаюсь твоя верная раба, нянька

Орина Егоровна Бузырева.

Посылаю моё матер<инское> благосл<овение> Грише, хорошо ли он тебе служит? — У нас дожди идут вот уже друга неделя и пастух Родя помер около Миколина дня» (*VIII, 172–173).*

В 1908 году, после выхода в свет второго тома Переписки поэта (под редакцией В. И. Сайтова), пушкинист Н. О. Лернер взял да и обнаружил «сходство» между «довольно бестолковыми строками» *(VIII, 173)* письма Егоровны и посланием Арины Родионовны Пушкину от 6 марта 1827 года, которое было написано при участии А. Н. Вульф. О своём открытии («няниной реминисценции») учёный поспешил рассказать на страницах авторитетного издания Императорской Академии наук — сборника «Пушкин и его современники»[453].

«Сходство между обоими приведёнными письмами бросается в глаза сразу, — заявил Н. О. Лернер. — Оно не ограничивается одним общим тоном, выражающим сердечную любовь и привязанность престарелой пестуньи к питомцу, одним и тем же языком, удивительно народным и живым, из родника которого зачерпнул столько прелести наш великий мастер слова, — но идёт дальше и доходит до общих выражений».

Не лишены точности и дальнейшие наблюдения пушкиниста: «В обоих письмах народные присловья: „поживи, дружочик, хорошенько, самому слюбится“, — говорит совершенно эпически Арина Родионовна, радуясь освобождению своего любимца и друга из ссылки и, может быть, полушутливо, полунежно намекая на дошедшие до неё слухи о намерении Пушкина жениться; „в

животе и смерти Бог волен“, — утешает Дубровского народной пословицей Орина Егоровна, сообщая ему грустные вести из родительского дома. Арина Родионовна зовёт Пушкина: „мой ангел“, „дружочик“; Орина Егоровна называет Дубровского: „соколик мой ясный“. Арина Родионовна сбивается с „ты“, как она всегда, конечно, обращалась к Пушкину, на „вы“, видя в Пушкине не только своего „любезного друга“, но и барина; Орина Егоровна пишет своему „ясному соколику“: „Государь ты наш“ и подписывается не только нянькой, но и „верной рабой“. И та и другая хотят как можно скорее обнять своего друга и господина: „всех лошадей на дорогу выставлю“, — обещает Арина Родионовна; „мы тебе и лошадей вышлем на Песочное“, — пишет Орина Егоровна. В этом последнем случае слишком очевидна общность выражений»[454].

Завершил своё сравнительное исследование Н. О. Лернер такой гипотезой: «Не будет особенной психологической натяжкой предположить, что в уме Пушкина, когда он писал слова Орины Егоровны, носилось письмо Арины Родионовны, мелькали её милые, ласковые строки, и, быть может, даже не думав воспроизвести выражения Арины Родионовны, но повинуясь невольной, им самим не сознаваемой реминисценции, он вложил в уста няни Дубровского тёплые, нежные слова своей „дряхлой голубки“».

(Столь же вероятен, по нашему мнению, и другой вариант. Кое-что вспомнив и замыслив сочинить письмо Егоровны, автор мог извлечь из личного архива бережно там сберегаемое послание «мамушки», разгладить его, перечитать, положить на письменный стол рядом с рукописью романа — и творчески переработать три горе кую эпистолию для <«Дубровского»>. К «плагиату» подобного рода Пушкин-художник прибегал неоднократно.)

Позднее, в вышедшем в 1924 году отдельной книжкой очерке «Няня Пушкина» Н. О. Лернер упомянул и про первое послание Арины Родионовны поэту (от 30 января 1827 года), сформулировав свою позицию уже так: «Письма няни, в особенности второе, послужили Пушкину образцом для письма, которое в его повести „Дубровский“ получает Владимир Дубровский от своей старой няньки Орины Егоровны, и когда поэт писал строки Егоровны, в его памяти мелькали ласковые, наивные письма Родионовны. И вся Егоровна очень похожа на няню Пушкина»[455].

Доводы пушкиниста коллеги по цеху признали весьма убедительными, «справедливыми»[456]. К примеру, М. А. Цявловский в «Путеводителе по Пушкину» (1931) указывал:

«Письма няни Дубровского <…> являются очень близким отзвуком писем Арины Родионовны к Пушкину»[457].

Но, отдавая должное Н. О. Лернеру, надо сказать и о том, что его анализ образа няни Владимира Дубровского не был исчерпывающим. Ведь учёный сосредоточился на письме Орины Егоровны, то есть на третьей главе <«Дубровского»> (законченной 2 ноября 1832 года; *VIII, 832),* и не уделил надлежащего внимания прочим страницам произведения. Между тем Александр Пушкин к февралю 1833 года написал ещё шестнадцать глав, доведя общее количество глав романа до девятнадцати. И в этих главах Орина Егоровна Бузырева, «старушка в белом чепце, опрятно и чопорно одетая» *(VIII, 222),* обрела дополнительные черты сходства с Ариной Родионовной.

Так, Егоровна была сделана *главной* персоной среди кистенёвской дворни. А в ряде вариантов автографа она, подражая пушкинской «голубке», тоже взялась за спицы: «Старушка ушла и села под окном чулок вязать», «Старушка ушла и принялась снова за свой чулок» и т. д. (*VIII, 827).* Позаимствовала Орина Егоровна от Арины Родионовны и некоторые другие житейские характеристики.

В шутливом опыте чуть более позднего времени — «написанном в духе народной поэзии»[458] стихотворении «Сват Иван, как пить мы станем…» — Пушкин помянул «трёх Матрён, Луку с Петром», а с ними вместе и «Пахомовну». Та, как и мамка княгини из <«Русалки»>, была большой искусницей по части всяческих устных рассказов:

> В первый <?> раз <?> помянем пивом,
> А Пахомовну потом
> Пирогами да вином,
> Да ещё её помянем:
> Сказки сказывать мы станем —
> Мастерица ведь была
> И откуда что брала.
> А куды разумны шутки,
> Приговорки, прибаутки,
> Небылицы, былины
> Православной старины!..
> Слушать, так душе отрадно.
> И не пил бы и не ел.
> Всё бы слушал да сидел.
> Кто придумал их так ладно?.. *(III, 308–309).*

Стихи были созданы в Петербурге или в Болдине, они

предположительно датируются концом марта — серединой октября 1833 года *(III, 1245)*. Среди литературоведов практически нет разногласий относительно прототипа поминаемой автором «мастерицы». «Пахомовна из стихотворения „Сват Иван, как пить мы станем“, — это <…>, конечно, она, Родионовна», — пишет, к примеру, в наши дни В. С. Непомнящий[459].

Осенью 1835 года, вырвавшись в Михайловское, Пушкин сочинил там очередной реквием лежащей на Смоленском кладбище нянюшке. «Какая эпитафия сравнится с этой? Какие ещё нужны доказательства и характеристика той роли, которую сыграла неграмотная Арина Родионовна в жизни великого поэта?» — так, высокопарно и верно, оценил данное произведение один из современных пушкинистов[460].

В сельце, между 21 и 26 сентября[461], Пушкин работал над стихотворением «…Вновь я посетил…» (впоследствии в тетради ПД № 984, в списке подготовленных к печати стихов, оно было обозначено автором как «Сосны»[462]).

Черновой автограф (в тетради ПД № 846) содержал несколько посвящённых Арине Родионовне строк — этакую поэтическую тираду:

> Вот ветхий домик —
> Где жил я, с моею бедной няней —
> Уже старушки нет — уж я не слышу
> По комнатам её шагов тяжёлых
> И кропотливого её дозора…
> И вечером — при завыванье бури —
> Её рассказов — мною затверженных
> От малых лет — но всё приятных сердцу
> Как шум привычный и однообразный
> Любимого ручья… *(III, 997–998)*.

Приведём и варианты некоторых стихов:

> Вот мирный домик…
>
> Её шагов тяжёлых и ворчанья…
>
> И шопота…
>
> Её тяжёлой поступи…
>
> Её умолкло слово <?>…

И хлопотливого её дозора…

Не слышу я по зимним вечерам… *(III, 997–998)*.

Там же, в псковской деревне, Пушкин на отдельном листке (ПД № 986) перебелил стихотворение и поставил в конце текста дату: «26 сент<ября> 1835» *(III, 1008)*.

«В перебелённой рукописи стихотворение имеет законченный и отделанный вид», — пишет Я. Л. Левкович, досконально изучившая лирическую пьесу «…Вновь я посетил…»; но тут же она уточняет: «В тексте имеется несколько незначительных исправлений…»[463]

Эти «исправления» коснулись и стихов об Арине Родионовне.

В беловике тирада начиналась так:

Вот опальный домик,
Где жил я с бедной нянею моей… *(III, 399)*.

А далее шли варианты стихов 12–14. Пушкин их кропотливо, прямо-таки любовно совершенствовал:

Уже старушки нет — уж за стеною
Не слышу я шагов её тяжёлых.
Ни кропотливого её дозора *(III, 399)*.

Уже старушки нет — уж я не слышу
По комнатам её шагов тяжёлых —
И кропотливых дозоров…

Уже старушки нет — уж не услышу
Её шагов тяжёлых за стеною,
Ни утренних её дозоров…

Уже старушки нет — уж не услышу
По комнатам шагов её тяжёлых,
Ни кропотливых поутру дозоров…

Три завершающих стиха о няне, попутно тоже слегка выправленных, имели в беловике такой вид:

А вечером при завыванье бури
Её рассказов, мною затверженных

От малых лет, но никогда не скучных…*(III, 1007)*.

Эти строки Александр Пушкин — то ли в Михайловском, то ли позднее, при просмотре беловика — зачеркнул.

Казалось, стихотворение было завершено. Однако стихи об Арине Родионовне по-прежнему волновали Пушкина. И, вернувшись в октябре из Михайловского в Петербург, он сызнова обратился к ним.

На обороте черновика своего письма министру финансов графу Е. Ф. Канкрину от 23 октября 1835 года поэт записал ещё один «отрывок о няне» (ПД № 210).

Публика смогла ознакомиться с пушкинским автографом только в 1903 году[464].

В петербургском отрывке Пушкин дал уточнённую редакцию заключительных стихов о «старушке», написанных в Михайловском. Эти стихи он дополнил вновь сочинёнными элегическими строками — гораздо «менее знаменитыми» (В. С. Непомнящий), нежели пятистишие ставшего хрестоматийным текста («Вот опальный домик… Ни кропотливого её дозора»):

Не буду вечером под шумом бури
Внимать её рассказам, затверженным
С издетства мной — но всё приятных сердцу,
Как песни давние или страницы
Любимой старой книги, в коих знаем —
Какое слово где стоит.
Бывало
Её простые речи и советы
И полные любови укоризны
Усталое мне сердце ободряли
Отрадой тихой — я тогда ещё…

(III, 995–996, 1007).

Среди отвергнутых вариантов, находящихся на данном листе (ПД № 210), были и такие:

Хотя давно я знал их наизусть…

Как песни родины или страницы…

Угадывать заранее, с улыбкой…

Как песни колыбельные иль книги…

Когда смущён моим уединеньем…

(III, 1005–1007).

«Кроме портретных черт старой няни — спутника поэта в годы ссылки, с особой тщательностью и со множеством вариантов отрабатываются в этом отрывке строки о песнях и сказках Арины Родионовны, подкрепляющие чётко обозначенную в основном черновике тему творчества и поэтического восприятия жизни, — констатирует исследовательница. — В характеристику Арины Родионовны включаются реминисценции из „Зимнего вечера“, где её образ также через „песни“ связан с темой искусства, поэтического творчества»[465].

С. С. Гейченко однажды назвал элегию «…Вновь я посетил…» «разговором с вечностью»[466]. А в новейшем очерке жизни и творчества Пушкина, созданном И. З. Сурат и С. Г. Бочаровым, довольно точно подмечено, что стихотворение «построено как цепь воспоминаний с опорой на мотивы собственной поэзии, так что итог в нём подводится не только жизненный, но и творческий — так означается завершение некоего жизненного круга. Но, в отличие от болдинской 1830 года „Элегии“ („Безумных лет угасшее веселье…“), в которой также подводился на тот момент итог, впереди теперь видится не „грядущего волнуемое море“, а смерть; <…>. Будущее предстаёт поэту в жизнерадостных образах „зелёной семьи“ — но без него…»[467].

И действительно, жизни в Александре Пушкине, писавшем осенью 1835 года «…Вновь я посетил…» с тирадой о незабвенной Арине Родионовне, оставалось всего-навсего на год с небольшим. Но ведь он возвращался к стихотворению и позднее[468] — и посему мы можем уверенно говорить о том, что поэт не забыл свою няню *ante diem*.

До срока, до самого гроба.

Возведённому в историографы и камер-юнкеры Двора Его Императорского Величества, включённому в «Месяцеслов и общий штат Российской империи» приличествует столичная усыпальница, для крепостной же старухи сгодился бы и скромный сельский погост…

Так предполагает филистер — да *судьба* порою располагает иначе.

И по воле судьбы опустили Арину Родионовну в землю Васильевского острова, а тело прославленного стихотворца и

члена Российской академии в начале 1837 года «заколотили в ящик», ящик сей «поставили на дроги» и повезли вон из Петербурга — в глухую Псковскую губернию, в Святогорский монастырь, что всего в пяти верстах от сельца Михайловского.

С гробом поехали жандарм, пушкинский дядька Никита Козлов и давнишний приятель поэта А. И. Тургенев. Александр Иванович вёл в дороге дневник, в котором тщательно фиксировал все подробности путешествия «Пушкина до последнего жилища его».

Из тургеневского журнала мы, в частности, узнаём, что могилу поэта рыли мужики, посланные 5 февраля П. А. Осиповой, хозяйкой Тригорского. Сами же похороны — короткие, как роковой размен выстрелами, — состоялись на другой день, 6 февраля.

Запись А. И. Тургенева о святогорской зимней церемонии представляется нам очень важной. Вот эти мемуарные строки:

«*6 февраля*, в 6 часов утра, отправились мы — я и жандарм!! — опять в монастырь, — всё ещё рыли могилу; мы отслужили панехиду в церкви и вынесли на плечах крестьян и дядьки гроб в могилу — немногие плакали. Я бросил горсть земли в могилу…»[469]

Что за «крестьяне» участвовали в погребении Пушкина, кто из простолюдинов уронил неподдельную слезу у гроба — увы, неведомо. Но среди собравшихся могли находиться и люди, приписанные к близлежащему Михайловскому, — разумеем конечно же кого-либо из *родни Арины Родионовны.* Ведь ещё накануне вся округа узнала о доставленном в Святые Горы «ящике» — так почему бы потомкам нашей героини, детям и внукам «голубки», прежде столько слышавшим от старушки об «ангеле» и знававшим его, не прийти проститься с убиенным барином?[470]

Почему бы судьбе не выставить их 6 февраля 1837 года *на дорогу*?

Этого никак нельзя доказать — вот и остаётся просто верить, что история о «красоте души человеческой, души любящей» завершилась именно так.

А вдова Пушкина сумела выбраться в Святогорский монастырь — на «святое смерти пепелище» *(III, 333),* туда, где «земля прекрасная, ни червей, ни сырости, ни глины»[471], только через четыре года.

Тут и книге конец.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Давным-давно пора воздвигнуть в лице Арины Родионовны прочный вещественный памятник этой светлой силе русского простонародья.

Е. Поселянин

Много воды утекло с тех пор, немало режимов и поколений миновалось, но кардинально менявшая свой облик Россия — «земля женственная», по известному афоризму Н. А. Бердяева[472] — не забыла героиню нашей книги.

В национальном сознании издревле сплелись в замысловатую пряжу правда и легенды об Арине Родионовне. Бытование одной из таких легенд даже привело к тому, что в конце 1928 года на Большеохтинском кладбище города Ленинграда по инициативе Комиссии по охране и изучению кладбищ была «прибита» мемориальная доска с надписью:

На этом кладбище,
по преданию, похоронена
няня поэта А. С. Пушкина
АРИНА РОДИОНОВНА,
скончавшаяся в 1828 г.
Могила утрачена.

Лишь после уточнения А. И. Ульянским места погребения няни доска «в память столетия со дня её смерти» была демонтирована и поступила на хранение в Институт русской литературы (Пушкинский Дом)[473].

Накоплена обширная и разнообразная литература об Арине Родионовне.

Деятели искусства XIX–XX столетий постарались не отстать от тружеников пера и внесли свою лепту в прославление пушкинской няни. Например, её усердно (и подчас удачно) рисовали художники.

Образ старушки не раз воплощался на театральных подмостках. (Так, в пьесе К. Г. Паустовского «Наш современник», поставленной в 1949 году на сцене академического Малого театра, роль Арины Родионовны исполнила народная артистка СССР Е. Д. Турчанинова.)

Существуют музыкально-литературные композиции, любопытные работы кинодокументалистов, пользуются спросом поделки палехских мастеров…

Сверх того, восстановлены правдоподобные «домики» Арины Родионовны, в них действуют бесхитростные провинциальные музеи. Есть и мемориальные доски в честь «голубки», открытые после Великой Отечественной войны, — их можно увидеть в Кобрине и Михайловском, на петербургском доме, где она умерла[474], и при входе на Смоленское православное кладбище. Там, в арке бывшей богадельни, на мраморной плите выбито:

На этом
кладбище
похоронена
АРИНА РОДИОНОВНА
няня
А. С. Пушкина
1758–1828
«Подруга дней моих суровых
Голубка дряхлая моя!»
А. Пушкин

Давным-давно муссируется вопрос и о памятнике Арине Родионовне, сооружение которого стало бы апофеозом государственного и общественного почитания «мамушки».

Первым на данную тему высказался в печати, по нашим сведениям, Е. Поселянин (Е. Н. Погожев) в январе 1917 года. Но вскоре после публикации Е. Поселянина началась революция, потом Гражданская война — и призыв писателя не был услышан и поддержан.

В наступивший вслед за Смутой период истории к мысли о создании достойного монумента пушкинской няне неоднократно возвращались видные представители отечественной науки и культуры.

В 1924 году в селе Михайловском (которое по постановлению Совнаркома с 1922 года стало государственным заповедником) прошли торжества, посвящённые 100-летию высылки поэта из Одессы в псковскую деревню. На праздник, организованный властями на широкую ногу, приехали важные персоны, среди которых была и делегация пушкинистов. Последние и заговорили, с трибуны и в кулуарах, о целесообразности сооружения памятника Арине Родионовне в Михайловском. Упоминание об этом имеется, в частности, в дневнике М. А. Цявловского[475].

Участвовал в тогдашнем празднестве и Л. П. Гроссман,

который, вернувшись из духоподъёмного путешествия, опубликовал в журнале «Красная нива» (1925, № 7) очерк «Пушкинский уголок». В очерке учёный горячо поддержал инициативу «установки в Михайловском первых памятников как самому поэту, так и верному другу его изгнания — Арине Родионовне»[476].

В том же 1924 году произошло и другое событие: Ленинградское общество архитекторов-художников объявило конкурс на памятник А. С. Пушкину в селе Михайловском. В жюри конкурса было представлено 11 проектов, которые экспонировались в помещении главного здания Академии наук. По рассказу С. С. Гейченко, «один из проектов изображал крыльцо дома Пушкина в Михайловском, на ступенях которого сидела Арина Родионовна с чулком в руках»[477].

Однако прекраснодушные мечты послереволюционной поры и последующих десятилетий в силу многих обстоятельств так и не были реализованы[478]. Блаженны те культурологи, историки или политологи, которые вознамерятся когда-либо докопаться до подоплёки этого фиаско: им, пытливым и сметливым, уготована встреча с весьма красноречивыми фактами.

С начала 1980-х годов ревностно выступал (и продолжает выступать) в поддержку идеи создания монумента «голубке» В. С. Непомнящий. Как полагает наш крупнейший пушкинист, этот памятник «надо поставить <…> не там, где он будет выглядеть экспонатом, а прямо в столице, на той самой магистрали, по которой и Пушкин, и Татьяна въезжали в Москву, — чтобы няня, со спицами в руках, сидела и тихонько ждала посреди шума современного города…»[479].

Только когда исполнилось 225 лет со дня рождения Арины Родионовны, дело о монументе чуть сдвинулось с мёртвой точки.

Памятник из бронзы и гранита, созданный народным художником СССР скульптором О. К. Комовым и архитекторами М. П. Константиновым и П. С. Бутенко, воздвигли в парке старинного города Пскова и торжественно открыли 3 июня 1983 года. В положенный миг пали покровы и собравшиеся увидели: Арина Родионовна сидит подле Пушкина — а тот, стоящий, о чём-то задумался и глядит куда-то в сторону, далеко-далеко.

Большинству знатоков и простых зрителей и тогда, и впоследствии пришлось по душе произведение скульптора.

И всё же, если всмотреться и вдуматься, это был очередной рукотворный *monumentum* Александру Сергеевичу Пушкину и *заодно* старушке.

(Кстати, спустя десятилетие вышел аннотированный каталог «Памятники А. С. Пушкину», где описывался, разумеется, и

псковский монумент. «Мамушку» поэта составители даже не упомянули: работа О. К. Комова трактовалась ими как подчёркнуто пушкинская «двухфигурная композиция»[480]. Скульптурную композицию, в которой доминирует образ Арины Родионовны, авторы научного каталога, видимо, представили бы иначе.)

Так что памятника собственно няне в наших палестинах по-прежнему нет.

Льстим себя надеждой, что он таки будет воздвигнут. Соблюдёт себя Россия в новую, невиданно сложную, эпоху — и однофигурный памятник «светлой силе русского простонародья» появится. До прискорбия мало в стране монументов органичных, имеющих *духовную привязку* к родной земле, — и памятник Арине Родионовне, со спицами или без оных, когда-нибудь да пополнит их ряд.

День его открытия станет для многих людей, жалующих поэта и его легендарную «подругу», запоминающимся событием.

А для других это будет день долгожданной идеологической виктории.

Третьи же, наиболее проницательные, тихо возрадуются оттого, что удостоверятся: русское бытие длится, ибо его не покинули самые высокие, *заоблачные* смыслы.

ПРИМЕЧАНИЯ

Список сокращений

Анненков — Анненков П. В. Пушкин: Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина. М., 1999.

Бартенев — Бартенев П. И. О Пушкине: Страницы жизни поэта; Воспоминания современников. М., 1992.

ВПК — Временник Пушкинской комиссии.

Грановская — Грановская Н. И. Рисунок Пушкина: Портреты Арины Родионовны // Временник Пушкинской комиссии: 1971. Л., 1973.

Долдобанов — Хроника жизни и творчества А. С. Пушкина: 1826–1837 / Сост. *Г. И. Долдобанов.* Т. 1. Кн. 1: 1826–1828. М., 2000.

ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения.

Жуйкова — Жуйкова Р. Г. Портретные рисунки Пушкина: Каталог атрибуций. СПб., 1996.

ИВ — Исторический вестник.

Книга воспоминаний о Пушкине — *Цявловский М. А.* Книга воспоминаний о Пушкине. М., 1931.

Лернер — Лернер Н. О. Няня Пушкина. Л., 1924.

Летопись — Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина: 1799–1826 / Сост. М. А. Цявловский. Л., 1991.

ЛН — Литературное наследство.

Лотман — Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. Л., 1983.

Непомнящий — Непомнящий В. С. Пушкин: Избранные работы 1960–1990-х гг. В 2 т. Т. 1: Поэзия и судьба. М., 2001.

Павлищев — Павлищев Л. Из семейной хроники: Воспоминания об А. С. Пушкине. М., 1890.

ПВС-1, ПВС-2 — А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974.

ПД — Пушкинский Дом (Институт русской литературы).

ПИМ — Пушкин: Исследования и материалы.

РА — Русский архив.

РС — Русская старина.

Сумцов — Сумцов Н. Ф. А. С. Пушкин: Исследования. Харьков, 1900.

Телетова — Телетова Н. К. Забытые родственные связи А. С. Пушкина. Л., 1981.

Ульянский — Ульянский А. И. Няня Пушкина. М.; Л., 1940.

Ходасевич — Ходасевич В. Арина Родионовна (Скончалась в конце 1828 года) // Возрождение. Париж, 1929. № 1315. 7 января.

Щёголев— Щёголев П. Е. Пушкин и мужики: По неизданным материалам. М., 1928.

ПРИЛОЖЕНИЯ

I
А. И. Ульянский О МОГИЛЕ АРИНЫ РОДИОНОВНЫ[481]

Я отыщу тот крест смиренный,
Под коим, меж чужих гробов,
Твой прах улёгся, изнуренный
Трудом и бременем годов.
Пред ним печальной головою
Склонюся; много вспомню я —
И умилённою мечтою
Душа разнежится моя.

Н. М. Языков, «На смерть няни А. С. Пушкина», 1830 г.

Первые сведения о месте и годе смерти Арины Родионовны появились в печати в 1852 году, когда двоюродный дядя поэта Александр Юрьевич Пушкин писал: «Арина Родионовна находилась по смерть свою у Ольги Сергеевны Пушкиной (в замужестве Павлищевой), случившуюся в 1824 году или около того времени»[482].

Автор этих строк явно заблуждался, указывая этот год смерти Арины Родионовны.

В 1824–1826 годах — годы изгнания поэта — Арина Родионовна была неотлучно с поэтом в селе Михайловском, а в 1827 году в январе и марте писала ещё из Михайловского в Петербург поэту письма, сохранившиеся до настоящего времени.

В мае и июне того же 1827 года завязалась оживлённая переписка по поводу посвящённого Н. М. Языковым стихотворения «К няне А. С. Пушкина», написанного им 17 мая в Дерпте[483]. Стихотворение это начиналось словами: «Васильевна, мой свет». Препровождая его при письме от 18 мая А. Н. Вульфу, Н. М. Языков говорит: «Это обещанное послание к няне (сколько помню, зовут её Васильевна?)».

Мать А. Н. Вульфа, Прасковья Александровна Осипова, в том

же месяце посылает это стихотворение Языкова при своём письме А. С. Пушкину, исправив слово «Васильевна» на «Платоновна»[484]. Видимо, сама Осипова не помнила отчества няни Пушкина.

6 июня того же года Н. М. Языков, узнав, что няню зовут не Васильевна, а Родионовна, пишет Вульфу: «Мне очень жаль, что няня не Васильевна»[485].

Стихотворение это в исправленном виде — «Свет Родионовна» — опубликовано было в «Северных Цветах» на 1828 год, ещё при жизни Арины Родионовны[486].

О. С. Павлищева в своих воспоминаниях (написанных с её слов в 1851 году) говорит об Арине Родионовне: «Умерла она у нас в доме в 1828 году лет семидесяти с лишним от роду, после кратковременной болезни»[487]. Ольге Сергеевне легко было запомнить год смерти няни, так как это год её замужества. Замужество Ольги Сергеевны состоялось 25 января 1828 года.

П. В. Анненков, пользуясь этими же воспоминаниями О. С. Павлищевой, повторяет: «Почтенная старушка умерла в 1828 году, семидесяти лет, в доме питомицы своей О. С. Павлищевой»[488].

Несмотря на эти публикации, П. О. Морозов относил смерть Арины Родионовны к 1829 году[489].

Племянник поэта Л. Павлищев в своих воспоминаниях писал, что няня «переехала в дом отца тотчас после его свадьбы, где мать моя и закрыла ей глаза в конце 1828 года»[490].

В 1884 году В. Е. Якушкин[491], изучая рукописные тетради А. С. Пушкина, впервые отмечает запись поэта, рядом с его наброском «Волненьем жизни утомлённый»[492]:

> 25 июня
> (Фанни)
> Няня
> Elisa e Claudio[493],

относящуюся, видимо, к последующим за какой-то промежуток времени событиям. По положению этой записи в тетради, они относятся им к 1828 году. В. Е. Якушкин приводит указанную запись поэта без всяких комментариев.

В 1899 году, к столетию со дня рождения поэта, интерес к личности няни, её судьбе и к месту погребения и розыску её могилы ещё более усилился.

12 августа 1899 года в № 8425 петербургской газеты «Новое Время» появилась статья И. Щеглова под названием «Дом, где скончалась няня Пушкина». В этой статье И. Щеглов пишет, что в

январе 1828 года, с лишком семьдесят лет назад, в доме Дмитриева по Большому Казачьему переулку поселилась «родная и единственная сестра А. С. Пушкина, Ольга Сергеевна, перевенчанная незадолго перед тем тайно от своих родителей с Николаем Ивановичем Павлищевым. Здесь Ольга Сергеевна Павлищева прожила с лишком четыре года. Отсюда поэту суждено было проводить свою любимую няню Арину Родионовну в её последнее жилище… Она скончалась на руках О. С. Павлищевой в упомянутом доме Дмитриева на восьмом десятке от роду»; и далее: «Бедная няня Пушкина! Неужели же её „смиренный крест“ так и не отыщется? Неужели эта любвеобильная женщина, так трогательно воспетая двумя поэтами, самые незначительные записки которой Пушкин берёг наравне с посланиями мировых знаменитостей… женщина, всю свою жизнь заботившаяся и молившаяся о других, останется постыдно затерянной, без достойного её самоотвержения памятника?! Нам, благополучно здравствующим обывателям столицы, должно поставить в большую вину, что мы ничего не сделали в разгар Пушкинских торжеств в память той, которая сыграла в частной и литературной жизни великого поэта оригинальную и благодетельную роль… В каком месяце скончалась, какого числа, когда и где схоронена, всё это, к искреннему прискорбию почитателей Пушкина, остаётся пока покрыто мраком неизвестности».

Почти одновременно, 28 августа, в иллюстрированном приложении к газете «Новое Время» № 8441, был помещён снимок «дома Дмитриева, в котором скончалась няня Пушкина».

На статью И. Щеглова, видимо, никто не откликнулся, и в 1902 году тот же И. Щеглов, сообщая дополнительные сведения о доме Дмитриева и могиле няни[494], рассказывает, что, занимаясь розысками в доме Дмитриева в Большом Казачьем переулке, где, по его данным, жили Павлищевы с 1828 по 1832 год и где, следовательно, умерла Арина Родионовна, он получил даже упрёк за подписью какого-то «русского», почему он не посвятил свой досуг розыскам могилы няни Пушкина.

Щеглов принимал меры к обнаружению места погребения Арины Родионовны. «Тщательно рылся, — пишет он, — как в метрических книгах Введенской церкви, так равно и в церковном архиве Волкова кладбища, как старейшего; расспрашивал по этому поводу кого только мог, начиная от племянника Пушкина <Л. Н. Павлищева. — *А. У.*>, кончая дворником дома, где жил камердинер Пушкиных, перечёл всё, что нашёл на этот счёт по книжной части… Словом, сделал всё, что было в моих скромных средствах сделать на месте… Вопрос о месте упокоения

почтеннейшей Арины Родионовны остаётся пока открытым».

Вместе с тем он отмечает, что в Опочецком уезде держатся предания, «будто бы безымянный простого тёсаного камня крест, находящийся по правую руку могилы Пушкина (между памятником Пушкина и памятником игумена Святогорского монастыря Геннадия), и есть тот крест, о котором аллегорически вспоминает Татьяна»:

> Где ныне крест и тень ветвей
> Над бедной нянею моей.

Был Щеглов и в деревне Кобрине, «на родине няни», но и там не нашёл никаких сведений о её захоронении.

В 1911 году И. О. Лернер опубликовывает снова[495] известную уже от В. Е. Якушкина запись поэта, относимую и им, Н. О. Лернером, также к 25 июня 1828 года, с весьма важным дополнением в части интересующего нас вопроса о няне: с крестиком возле слова «няня». И. О. Лернер даёт пояснение, что крестик означает смерть няни, а «Elisa e Claudio» — постановку впервые 21–22 июня 1828 года в Петербурге оперы итальянского композитора Меркаданте.

В 1925 году в «Вечерней Красной газете» появилась заметка с указанием, что «истекшим летом были предприняты попытки найти могилу Арины Родионовны, умершей в 1829 году в доме О. С. Павлищевой и похороненной на Охтенском кладбище». «Попытки найти её могилу не увенчались, к сожалению, успехом. По справке оказалось, что все документы кладбищенской конторы за XIX век давно уничтожены». Автор этой заметки был уверен[496], видимо, в том, что няня похоронена на Больше-Охтенском кладбище и что остаётся только разыскать её могилу.

В 1928 году В. И. Чернышёв писал, посетив Михайловское, «что есть предание, будто няня жила, но не ужилась с Павлищевыми и вернулась в Михайловское. Там же она будто и скончалась и похоронена в Святогорском монастыре близ того места, где впоследствии был похоронен и поэт, но могила не сохранилась». Об этом месте погребения няни говорили ему и потомки священника Шкоды, современника поэта. От других слышал он там, будто она похоронена на Воронечском кладбище (от семьи бывшего управляющего Пушкиных, в деревне Навдыши) [497].

Вскоре после этой публикации Чернышёва, по инициативе Комиссии по охране и изучению кладбищ, на основании местных преданий (ставших почему-то впервые известными спустя сто лет), установлена была на Больше-Охтенском кладбище в весьма

торжественной обстановке в присутствии представителей Академии Наук и общественных организаций мемориальная доска в память столетия со дня смерти Арины Родионовны[498].

Это обстоятельство привело к тому, что в дальнейших трудах по пушкиноведению вопрос о месте погребения Арины Родионовны стал трактоваться как определённо установленный.

А. Яцевич пишет, что О. С. Павлищева жила в Большом Казачьем переулке, в доме Дмитриева: «Здесь четыре года прожила сестра А. С. Пушкина — Ольга Сергеевна… Добрым гением дома была няня Пушкиных, Арина Родионовна… В середине 1828 года скромная похоронная процессия проводила прах доброй старушки к месту её последнего упокоения на Больше-Охтенском кладбище»[499].

В 1936 году М. А. Цявловский снова воспроизводит раньше дважды приводившуюся запись поэта (относимую им также к 25 июня 1828 года) отлично от В. Е. Якушкина и Н. О. Лернера:

> 25 июня Фанни
> Няня †
> Elisa e Claudio
> Ня *(далее неразборчиво)*

При этом М. А Цявловский дополняет Н. О. Лернера предположением, что Фанни — имя одной полусветской дамы, известной по стихотворению «К Щербинину» (1819 г.); запись о няне поясняет также, как указание на смерть её, и наконец уточняет, что первый спектакль «Elisa e Claudio» относится к 15 июня и что возможно присутствие Пушкина на втором спектакле, 22 июня. Постановка этой оперы возобновлена была, по его данным, снова 27 июля. Впервые приведённому им слогу «Ня» он не уделяет никакого внимания.

Тут же от М. А. Цявловского мы впервые узнаём о неопубликованном письме О. М. Сомова к Н. М. Языкову от 2 октября 1828 года, в котором Арина Родионовна названа покойной[500].

Из всего этого вытекало, что приведённые в записи поэта события, в том числе смерть няни, относятся к промежутку времени, имеющему свою конечную дату 22 июня 1828 года, самая же запись поэта относится к 25 июня. Это делало правильность понимания записи поэта подозрительной.

Между тем во всех публикациях о месте погребения Арины Родионовны также ничего достоверного не было сказано.

Прежде всего, отметим, что возможность перевозки праха няни для похорон на родине или в селе Михайловском

маловероятна. Сложность перевозки и погребения её там, несомненно, оставила бы след в воспоминаниях семьи Пушкиных, их друзей и, наконец, в каком-либо поэтическом документе самого поэта.

Посетившие Михайловское, Тригорское и Святогорский монастырь К. Тимофеев (1859 г.) и М. И. Семевский (1866 г.) беседовали там с лицами, хорошо знавшими и помнившими Арину Родионовну, и не отметили в описании этих посещений каких-нибудь сообщений о смерти и погребении её в тех местах[501].

Сведения, сообщённые много позже И. Щегловым и В. И. Чернышёвым, могли рассматриваться нами лишь как результат последующих наслоений, лишённых какой-нибудь преемственности, а потому и достоверности.

Известно, что ещё в 1830 году Н. М. Языков в своём стихотворении «На смерть няни А. С. Пушкина»[502] писал:

> Я отыщу тот крест смиренный,
> Под коим, меж чужих гробов,
> Твой прах улёгся, изнуренный
> Трудом и бременем годов.

Из строк Н. М. Языкова можно было предположить, что могила Арины Родионовны сравнительно вскоре после смерти была потеряна.

Стремление жителей разных местностей присвоить себе честь погребения Арины Родионовны понятно, и в этом случае всякие предания должны уступить место документальным материалам.

Утверждение, что она погребена на далёком от города и особенно от Большого Казачьего переулка загородном Больше-Охтенском кладбище (тогда находившемся ещё в пределах Петербургского уезда), вызывало у нас сомнение. Трудно предположить, что семья Пушкиных и Павлищевых, в целях какой-нибудь экономии на стоимости кладбищенского места, решилась хоронить свою замечательную няню на столь далёком кладбище, тем более, что при отсутствии тогда Охтенского моста это было связано в летнее время с переправой через Неву. Эти обстоятельства послужили для нас логическим толчком к разысканиям, которые могли бы документально подтвердить или опровергнуть легковерно принятую другими версию о погребении Арины Родионовны на Больше-Охтенском кладбище, основанную на столь подозрительно поздно дошедших до нас местных преданиях, тем более, что при проверке этих преданий на месте мы могли выяснить следующее.

Бывший могильщик Больше-Охтенского кладбища (П. А. Хандрилов), служивший на кладбище, по его словам, с 1893 года, утверждает, что помнит хорошо место, где была каменная плита с фамилией и надписью «Няня Пушкина». Плита эта около 1895 года будто бы покосилась и затем, около 1908 года, взята была, в числе других плит, для прокладки на кладбище так называемой Енотаевской дороги. Плиту эту, уложенную будто надписью вниз, можно, по его словам, обнаружить, если вскрыть ряд плит на известном ему Свияжском участке. При этом он ссылается на другого могильщика, служившего прежде на кладбище (Н. Н. Маринкина).

Последний подтвердил это предание и указал нам предполагаемое место могилы няни, ныне занятое уже другой могилой, однако не мог поручиться за точность всего этого предания и наличия плиты. Побеседовав с другими старожилами этого кладбища, он мог лишь сказать нам в заключение, «что всё это один туман».

Сторож кладбища (Г. М. Никитин) показал место погребения Арины Родионовны в другом месте, правда, неподалёку от места, указанного Маринкиным.

Ссылались все они и на прежнего священника кладбища, ныне умершего, который был в курсе этого вопроса.

Приведённое утверждение об имевшейся якобы до 1908 года надгробной плите с указанной надписью придаёт всему преданию ещё более недостоверный характер, так как нельзя думать, что в Петербурге в течение 80 лет никто не примечал этой плиты и чтобы сведения о ней, как и о самой могиле, не нашли надлежащего отражения в нашей литературе, тем более после известных слов Языкова и газетной публикации Щеглова в 1899 году.

В описании истории Больше-Охтенского кладбища[503], составленном в 1883 году священником этого кладбища, в числе замечательных погребённых на нём лиц Арины Родионовны нет, тогда как, например, кормилица Александра I Евдокия Петрова, умершая в 1799 году, упомянута в этом описании. Слишком дорого имя Арины Родионовны всякому, чтобы пропустить или забыть его, и уже наверное в интересах кладбища было упомянуть побольше замечательных людей, нашедших в нём вечный приют.

Не оказалось никаких данных о могиле её и в 1914 году, ко времени составления Петербургского Некрополя[504], основанного на сообщениях кладбищенского духовенства, сведущих биографов, библиографов и знатоков петербургских кладбищ.

Чтобы окончательно и документально убедиться в несостоятельности этого предания, мы разыскали кладбищенские

книги Больше-Охтенского кладбища, тщательно просмотрели записи захоронений 1828–1829 годов (которые, вопреки приведённой выше газетной заметке, оказались существующими) и не нашли ничего похожего на запись погребения Арины Родионовны.

При всех наших разысканиях мы считали, что, логически рассуждая, Арина Родионовна должна быть похоронена на одном из городских кладбищ. Учитывая проделанную уже И. Щегловым работу по разысканиям в приходе Введенской церкви (Семёновского полка) и на Волковом кладбище и полагая, что предпринятые им ещё в 1899 году поиски могли не иметь успеха прежде всего вследствие выполнения погребальной церемонии, по какой-либо причине, священником другого прихода, мы решили проверить церковные записи другой церкви, недалёкой от указанного И. Щегловым места жительства Павлищевых, — церкви Измайловского полка.

Последнее тем более необходимо было сделать, так как 25 января 1828 года в церкви Измайловского полка тайно от родителей венчалась Ольга Сергеевна с Павлищевым. Не без содействия «поручителей по жениху и невесте», поручиков того же полка Гаврилы Вульфа и Герцовского, венчание было устроено будто в поздний час. При таких обстоятельствах можно было предположить, что Ольга Сергеевна, только поселившаяся в Казачьем переулке, могла пригласить для выполнения траурной церемонии над прахом Арины Родионовны уже знакомых ей священнослужителей Измайловского полка.

Однако это наше предположение не подтвердилось.

Перед нами встал вопрос о достоверности публикации И. Щеглова, что первая квартира Павлищевых была в доме Дмитриева, в Большом Казачьем переулке, где они, по его данным, будто проживали с 1828 по 1832 год, и не почерпнуты ли им эти сведения не из домовых документов, а из рассказов любезных потомков М. Д. Дмитриева.

О проживании Павлищевых в доме Дмитриева мы имеем одно лишь очень ценное указание самого поэта, в письме к Нащокину от 7 октября 1831 года: «Отвечай мне как можно скорее, в Петербург, в Казачьем переулке в дом Дмитриева, О. С. Павлищевой, для доставления А. С. П.». Но проживали ли Павлищевы здесь в 1828 году, в год смерти няни?

При проверке нами записей Введенской церкви оказалось, что Павлищевых в документах 1828 года и последующих лет нет.

В 1829 году значится в этом приходе вдова купца Дмитрия Дмитриева Ксения Артемьева 70 лет, а в 1832 году купеческий сын Александр Дмитриев 25 лет. Это убедило нас в том, что дом

Дмитриева числился в приходе Введенской церкви.

В 1829 году в этом же приходе нами обнаружен «Статского советника Сергея Пушкина слуга Никита Тимофеев 51 года» — известный нам Никита Тимофеевич, камердинер поэта и одно время брата его, Льва Сергеевича. Ему по ревизским сказкам села Болдина в 1816 году было 37 лет[505].

О проживании Пушкиных в этом районе в 1829 году ничего не известно. Известно со слов А. П. Керн[506], что у Семёновского моста (в этом же приходе) проживали Пушкины в 1827 году.

Вместе с тем имеются указания, что в 1828 году Пушкины проживали в Свечном переулке в доме Касторской[507]. Продолжая наши разыскания истинного места жительства Павлищевых в 1828, 1829 и 1830 годах, также проверяя сведения о месте жительства Пушкиных в 1828 году, нам удалось установить, что в 1828 году в приходе Владимирской церкви (что в Придворных слободах) числятся «Г-на Павлицева» крепостные: Параскева Никитина 24 лет и Агриппина Михайлова 21 года, а в 1829 году «Г-на Павлицова» крепостной Пётр Михайлов 18 лет.

Фамилии «Павлицев» и «Павлицов» есть не что иное, как искажённая фамилия Павлищева. Это обстоятельство подтверждается прежде всего тем, что приведённые крепостные — наши старые знакомые.

Агриппина Михайлова и Пётр Михайлов известны нам как крепостные Пушкиных по селу Михайловскому, значившиеся в ревизских сказках 1816 и 1833 годов[508]. Агриппина (Аграфена) Михайлова — дочь Михайлы Григорьева, которой в 1816 году значилось 10 лет. Пётр Михайлов — сын Михайлы Калашникова, управляющего Пушкиных. Ему в 1816 году значилось 3 года, а в 1833 году — 21 год. Параскева Никитина, вероятно, дочь того же Никиты Тимофеевича.

Примирение Пушкиных с дочерью состоялось, видимо, довольно скоро. 25 января 1828 года состоялся брак Ольги Сергеевны с Павлищевым, и уже 18–24 марта Павлищевы располагают дворовыми людьми Пушкиных.

Но всего убедительнее то, что, идя далее, мы находим в том же приходе в 1830 году запись «Коллежский ассесор Николай Иванович Павлищев 29 лет» и там же «Г-на Пушкина» та же «девица Агриппина Михайлова 26 лет» и «Г-на Пушкина человек Никита Тимофеев 53 лет».

Установив проживание Павлищевых весной 1828 года в приходе Владимирской церкви (на какой улице и в каком доме, пока нам не известно), нам посчастливилось найти в метрической книге того же прихода за 1828 год следующую запись: № 73 от 31 июля в части третьей, об умерших:

«5-го класса чиновника Сергея Пушкина крепостная женщина Ирина Родионова 76 старостию иерей Алексей Нарбеков. В Смоленской».

Идя далее в наших разысканиях, мы могли обнаружить и запись церкви «Смоленския Божия Матери, что на Васильевском острове при кладбище», того же 31 июля:

«Ирина Родионова дому 5-го клас<са> чиновника Пушкина служащая женщина: л<ет> 76 старость владимерской иерей Алексей Норбеков».

Арина Родионовна умерла, как и родилась, крепостной.

Возраст Арины Родионовны указан в записи неправильно, она родилась в 1758 году и умерла 70 лет от роду.

Следовательно, умерла Арина Родионовна не в конце июня 1828 года, а 31 июля этого же года, и не в доме Дмитриева в Большом Казачьем переулке, а в неизвестном нам пока доме в Придворных слободах, ныне район проспекта Нахимсона. Похоронена не на Больше-Охтенском, а на Смоленском кладбище.

Удивительно, что С. И. Опатович в своём «Описании Смоленского кладбища в СПбурге», опубликованном в 1873 году, не упоминает о захоронении няни Пушкина на этом кладбище[509]. Даже к тому времени не было известно, на каком кладбище она погребена.

Но ещё более удивительно, что о месте захоронения Арины Родионовны ничего не было известно сыну Ольги Сергеевны (умершей в 1868 году) — Льву Николаевичу Павлищеву (рожд<ения> 1834 года), к которому И. Щеглов в своё время обращался по этому поводу.

Установление даты смерти Арины Родионовны должно повести к другому чтению и пониманию приводившейся неоднократно разными авторами записи поэта в тетради № 2371, л. 16 об. Самую дату записи должно читать не 25 июня, а 25 июля. Крестик рядом со словом «Няня» надо понимать как отметку, что она умерла. Запись об опере «Elisa e Claudio» имеет в виду спектакль 27 июля.

Написанный в рукописи поэта в конце записи жирно слог «Ня» можно понимать как намерение поэта отметить смерть няни или как начало заглавия какого-то поэтического ей посвящения.

Возможно, что поэт записал первоначально необходимость посетить её больную, а после хотел отметить её смерть, но, не дописав, поставил крестик к прежней записи.

Не случайно запись поэта от 25 июля находится рядом с наброском «Волненьем жизни утомлённый». Они тематически и хронологически связаны между собою.

Лишь 28 июля 1828 года Николаем I было утверждено

заключение Государственного совета по делу о распространении Пушкиным в списках стихов из «Андрея Шенье», понятых как стихи о декабрьском восстании. По этому заключению утверждён был негласный полицейский надзор за поэтом и отобрана от него подписка, что до рассмотрения цензурой он обязуется своих произведений в рукописи никому не сообщать. Но уже к этому времени против поэта было возбуждено другое дело, о принадлежности ему «Гавриилиады».

Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне…
Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье,
Гордость юности моей?

(«Предчувствие», 1828 г.)

Такова была обстановка, в которой поэт переживал горечь утраты своей няни и друга.

Только указанными и продолжавшимися тревогами в жизни поэта и его последующими частыми и продолжительными отъездами из Петербурга можно объяснить, что могила няни оказалась забытой и уже через полтора года затерянной.

Жизнь Ольги Сергеевны была также не лишена треволнений: сначала из-за временного разлада с родителями, на почве выбора ею друга жизни и тайного от них венчания, а затем из-за начавшихся ссор с мужем, приведших уже в 1830 году к временному разрыву.

Следует отметить, что на кладбищах к могилам незнатных особ, тем более крепостных, не проявляли никакого внимания, и оставленная без присмотра могила няни оказалась вскоре затерянной.

Вместе с тем надо придти к выводу, что Ольга Сергеевна Павлищева поселилась в доме Дмитриева гораздо позже 1828 года — после того, как она в первый раз разъехалась с мужем (1830 г.), и если мы не встречаем в приходе Введенской церкви её дворовых в 1831 и 1832 годах, то лишь потому, вероятно, что в связи с отсутствием самого Павлищева дисциплина в доме Ольги Сергеевны сильно пала, а сами слуги — молодые Груша и Пётр — не были склонны ходить на исповедь в церковь.

Попутно укажем, что в том же Владимирском приходе проживали: Ганнибал (вероятно, Семён Исаакович, бывший одно

время частым гостем Ольги Сергеевны), Дельвиги, Дмитрий Максимович Княжевич (писатель и общественный деятель, товарищ А. Н. Вульфа по университету и знакомый Пушкиных). Проживанием Пушкиных (после весны 1828 года), Павлищевых, А. П. Керн, Дельвигов и Княжевича в одном приходе объясняются частые посещения их А. Н. Вульфом осенью 1828 года, в бытность его в Петербурге.

Разумеется, о нахождении могилы Арины Родионовны на Смоленском кладбище не может быть и речи. Только потеря могилы вскоре после погребения няни могла привести к тому, что не был воздвигнут ей памятник ещё при жизни поэта, а тем более в дальнейшем.

Когда мы писали эту главу, мы надеялись, что 12 августа 1938 года (31 июля-старого стиля), то есть к 110-летию со дня её смерти, на кладбище, где «улёгся изнуренный трудом и бременем годов» её дорогой для нас прах, с самыми тёплыми и трогательными воспоминаниями будет закреплена вечная о ней память. Но, увы! Этого не осуществилось.

II
Е. Поселянин
РУССКАЯ НЯНЯ [510]

«Ах, няня, няня, я тоскую,
Мне тошно, милая моя:
Я плакать, я рыдать готова!..»
— Дитя моё, ты нездорова;
Господь помилуй и спаси!
Дай окроплю святой водою,
Ты вся горишь… «Я не больна,
Я… знаешь, няня… влюблена».
— Дитя моё, Господь с тобою! —
И няня девушку с мольбой
Крестила дряхлою рукой.

Пушкин

I

Среди прилетевших из разных мест России вестей о том, как поминали 26 мая Пушкина, нельзя было не остановиться с сочувственною улыбкой и тёплою благодарностью на следующих словах телеграммы из Кронштадта: *В несть няни Пушкина дан обед городом старушкам богадельни.*

Трогательный, милый Кронштадт!

Как этим он сумел хорошо выразить и усердие к памяти поэта, и понимание его жизни, и признательность той силе — спокойной, могучей, тому Русскому народу, который бережно, не спуская с него глаз, стоял при Пушкине в его детстве, стоял при нём в годы завершавшегося его расцвета — годы *«Евгения Онегина»* и *«Годунова»,* и лишь тогда отошёл от него, когда Пушкин вырос в полную меру величайшего народного поэта России. Ведь Арина Родионовна была олицетворением и главною посредницей между душою Пушкина и Русским народом.

Вопрос этот настолько важен, что заслуживает обсуждения.

Значение Пушкина для России бесконечно, и чрез него громадное значение сообщается всему, что создавало его жизнь и что способствовало к выработке из него именно того человека, каким мы его знаем. А к числу важнейших слагающих сил типа Пушкина, несомненно, принадлежит его няня.

Сама судьба приставила эту коренную и выдающуюся, *даровитую художественную* (конечно, бессознательно) *русскую* натуру к колыбели Пушкина. Те сказки, которые знала она, неистощимо богатая и памятью, и даром рассказа, сыпавшая без меры пословицами, прибаутками, присказками, всеми сокровищами меткой, игривой, живой русской речи, — эти сказки Арины Родионовны были первым посвящением Пушкина в мир поэзии. Это он признал сам, говоря, что его муза, муза лицейских дней — уже являлась ему раньше в виде старушки. И в образе этой старушки всякий узнаёт Арину Родионовну, видоизменённую в волшебницу.

Наперсница волшебной старины,
Друг вымыслов игривых и печальных,
Тебя я знал во дни моей весны,
Во дни утех и снов первоначальных!
Я ждал тебя. В вечерней тишине
Являлась ты весёлою старушкой
И надо мной сидела в шушуне,
В больших очках и с резвою гремушкой.
Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный слух напевами пленила,
И меж пелён оставила свирель,

Которую сама заворожила.

Няня первая заронила в чуткого ребёнка те настроения, которые позволили ему воскликнуть о своём первом крупном произведении:

Там русский дух… там Русью пахнет!..

И своими бесхитростными письмами во время разлуки с питомцем няня поддерживала в нём эти настроения.

Она была его отрадой во время пребывания в Михайловском, чего он никогда не мог забыть:

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
……
……Добрая подружка
Бедной юности моей!

Она была в его одиночестве тою живою душой, которая воспринимала и впечатления его творчества. Ведь, если б она не понимала их, Пушкин ведь не стал бы их читать перед нею. А он прямо говорит:

…Я плоды своих мечтаний
И гармонических затей
Читаю только старой няне,
Подруге юности моей.

Но, кроме этого значения для Пушкина как для поэта, няня была бесценна для него как для человека. Она любила своего «любезного друга, ангела, батюшку Александра Сергеича» тою безграничною тёплою любовью, которая состоит в том, чтобы всё давать, ничего не требуя и не ожидая, и которая одна и есть настоящая любовь. В её бесстрастном сердце был для него всегда тёплый дом от всех внешних огорчений, как для его пытливого и смелого ума — отдых в беседе со старушкой, не имевшей безбрежных кругозоров, но имевшей крепкое, непоколебимое, продуманное, никогда ей не изменявшее миросозерцание умного русского человека из простонародья. Она просила его вести жизнь, достойную его души *(«поживи, дружочек, хорошенько,* —

самому слюбится»). Она, может быть, единственная из людей, неотступно молила за него Бога и, когда уж отошла от него, быть может, *там* вымолила ему покаяние и христианскую кончину.

Всё это заслуги — бессмертные, чрезвычайные!

«Француз, Француз!» — дразнили Пушкина в первое время товарищи в Лицее за его бойкую французскую речь, за что он сердился. Он чувствовал себя Русским, а Русским его сохранила няня Родионовна.

II

Не одной только Арине Родионовне многим обязана Россия. Она обязана вообще пред русскою няней.

Этим смиренным старым женщинам в течение XIX века, во дни оживлённой культурной борьбы русских народных начал и международных настроений Запада — пришлось сыграть крупную и выдающуюся роль.

Точно для сохранения в питомцах «русского духа», судьба оставила на Руси, среди общества, предававшегося с жадностью иноземным веяниям, — этих Савельичей и Родионовн, которые, сами того не сознавая, как того не сознавали и их господа, своим влиянием (о котором никогда не думали), вопреки всему строю, вопреки явным намерениям и планам воспитания барчат — сохраняли в них живую русскую душу, не допускали их до разрыва с народом.

Можно утверждать сколько угодно, будто как ни веди Русского человека, он всё будет Русский. Это утверждение безо всяких оснований является пустым звуком в воздухе. Человек со своим духовным содержанием не выскакивает из земли как гриб после дождя. *Он образуется натиском последовательных впечатлений,* и, чтобы вырасти Русским, нужны последовательные, от колыбели, впечатления русских веяний, русских характеров, русского уклада, нужна русская обстановка — внешняя и нравственная. И те, кто ничего такого не имеют, — вырастают интернациональными, бездомными отщепенцами.

Отэтой-то беды и ограждали во весь XIX век русских детей дядьки и няни.

Русская литература отметила эти старозаветные типы и выставила няню Татьяны (в *«Евгении Онегине»),* няню Лизы (в *«Дворянском гнезде»)* и Наталью Савишну (в *«Детстве и отрочестве»* графа Л. Толстого).

Ill

Не старая ли няня, с крестом и святою водой охранявшая детство девочки, вырастила в Татьяне, и по-русски-то плохо говорившей, ту нравственную крепость, которая делает её одною из лучших представительниц русских женщин? Только раз, в критический момент письма к Евгению, выводит Пушкин эту няню… Но всмотритесь в сосредоточенную красоту, в кроткую умилённость, которою дышат строки поставленной в эпиграфе строфы *«Онегина»:* какая обаятельная сила заботы и сочувствия!.. В этой одной строфе вполне отражено целое громадное явление русской жизни.

И если так покоряет эта картина, то потому, что не впервые автор *«Онегина»* с сердцем, бьющимся благодарностью, рисовал облик русской няни. Не привёл ли он сюда, к постели Тани, старушку, очень сродную с другою, знакомой ему, *дряхлой подружкой юности*? А тот мягкий, тихий, вызывающий слёзы свет, которым озарён этот образ няни, — тот же свет, которым сияет летописец Пимен: что-то слишком родное, кровно милое…

Ещё только раз упоминает Пушкин о няне, в ещё более важную минуту, в момент апофеоза Татьяны, где Татьяна выступает во всём своём нравственном величии, в её последнем ответе Онегину, когда она вспоминает и

> …Смиренное кладбище,
> Где ныне крест и тень ветвей
> Над бедной нянею моей.

Няни уже нет. Тихо исполнив своё великое дело, которое состояло в том, что «она сберегла огонь лампады», сохранила в человеке живую душу, смиренная старушка легла на кладбище среди таких же, как она, правдивых, веровавших, простых людей.

Но дело её налицо — *высокая правда Татьяны*, и бессознательным, быть может, но изумительным наитием вдохновение Пушкина вызывает тень старушки, сострадавшей любви своей Тани, в минуту нравственной победы Татьяны над этою любовью.

Если б и Евгений вырос не на руках француза, да ещё «убогого» и мыслями, и чувствами, и знаниями, и духом, а на руках преданного и имевшего свои взгляды на жизнь дядьки, вроде гринёвского Савельича, — кто знает, *с его прекрасными свойствами и богатыми задатками* (настаиваем на этом), не утраченными им бесследно и при таком вопиющем воспитании, не вышло ли бы из него что-нибудь не уступающее, быть может, Татьяне?..

Но ведь тогда бы не было и романа *«Евгений Онегин»* и

Татьяна была бы счастливейшею из женщин!

IV

Няня Агафья и воспитанная ею Лиза Калитина *(«Дворянское гнездо»)* принадлежат к числу тех явлений, к которым нельзя подходить иначе как с непокрытою головой.

Призвание русской няни — сохранять в детях культурного класса русский тип — с особою ясностью выражается в Агафье.

Действительно, Лизе не только сочувственно должна протянуть руку разделённая от неё тремя столетиями боярыня Морозова (из *«Князя Серебряного»),* но и склониться пред нею, как пред высшею. И это полное согласие со столь исторически дальним высоким воплощением Древней Руси основывается на том, что они обе — и Агафья, и Лиза — всецело выращены не изменяющеюся в веках, непреходящею в созданиях своего духа Церковью.

Если Татьяна представляется апофеозой русской мирской женщины, то образ Лизы стоит на пороге между жизнию такой хорошей женщины мира и *житием святой.*

В лице Лизы Тургенев довёл развитие литературного типа русской женщины до того предела, где прекращается отражение жизни человеческим искусством и начинается Божественная *тайна.*

Последняя глава *«Дворянского гнезда»,* где над полным молодости, уверенности в себе, земных надежд бытом калитинского дома, в котором когда-то развивалась другая, сокровенная жизнь, с иными, глубочайшими, чувствами, — теперь носится светлою тенью образ заживо ушедшей от мира к Богу Лизы — эта глава будет единственною в истории литературы.

Красотой же этого образа мы обязаны русской няне.

Вспомните тайные заутрени, тихие рассказы о мучениках и цветах, выраставших из их крови («Желтофиоли? — спрашивала девочка»), и будем надеяться, что не совсем всё это от нас ушло.

V

Наталья Савишна, няня maman из *«Детства и отрочества»,* сродна тем двум старушкам, о которых сейчас говорилось. Та же бескорыстная, свободная привязанность в крепостной женщине, но весь её образ граф Толстой обвеял ещё большею теплотой.

Наталья Савишна стоит по характеру своему между няней

Татьяны и няней Лизы. Она как-то кажется крепче духом Таниной няни, но не имеет в себе строгого аскетизма Агафьи. Кроме того, по размерам таланта Толстого, Наталья Савишна ярче, виднее нам, и из двух глав, где она описана (глава *XIII — «Наталья Савишна»* и глава *XXVIII — «Последние грустные воспоминания»),* выступает пред нами вся, с малейшими оттенками своих чувств.

Если по обаятельности своей maman *«Детства и отрочества»,* по силе любви, по какой-то грустной нежности должна быть названа первым, лучшим типом матери в нашей литературе, превосходя даже созданные тем же Толстым трогательные образы княгини Долли *(«Анна Каренина»)* и графини Марьи Ростовой (Болконской) *«Войны и мира»,* то и Наталье Савишне принадлежит первенство между нянями, изображёнными русскою литературой.

«С тех пор, как я себя помню, помню я и Наталью Савишну, её любовь и ласки; но теперь только умею ценить их, — тогда же мне и в голову не приходило, какое редкое, чудесное создание была эта старушка. Она не только никогда не говорила, но и не думала, кажется, о себе: вся жизнь её была любовь и самопожертвование. Я так привык к её бескорыстной, нежной любви к нам, что и не воображал, чтобы это могло быть иначе, нисколько не был благодарен ей и никогда не задавал себе вопросов, а что, счастлива ли она? довольна ли?

Бывало, прибежишь от урока в её комнату, усядешься и начинаешь мечтать вслух, нисколько не стесняясь её присутствием. Всегда она бывала чем-нибудь занята: или вязала чулок, или записывала бельё, и, слушая всякий вздор, который я говорил, как „Когда я буду генералом, я женюсь на чудесной красавице, куплю себе рыжую лошадь, построю стеклянный дом и выпишу родных Карла Иваныча из Саксонии“ и т. д., она приговаривала: „Да, мой батюшка, да“».

А вот изумительная картина — Наталья Савишна и Николенька говорят о только что умершей, но ещё не схороненной maman.

«Она сложила руки на груди и взглянула кверху; впалые влажные глаза её выражали великую, но спокойную печаль. Она твёрдо надеялась, что Бог ненадолго разлучил её с тою, на которой столько лет была сосредоточена вся сила её любви.

— Да, мой батюшка, давно ли, кажется, я её ещё нянчила, пеленала, и она меня Наташей называла. Бывало, прибежит ко мне, обхватит ручонками и начнёт целовать и приговаривать:

— Нашик мой, красавчик мой, индюшечка ты моя.

А я, бывало, пошучу — говорю:

— Неправда, матушка, вы меня не любите; вот дай только вырастите большие, выйдете замуж и Нашу свою забудете.

Она, бывало, задумается. Нет, говорит, я лучше замуж не пойду, если нельзя Нашу с собою взять; я Нашу никогда не покину. А вот покинула же и не дождалась. И любила же она меня, покойница. Да кого же она не любила, правду сказать! Да, батюшка, вашу маменьку вам забывать нельзя; это не человек был, а ангел небесный. Когда её душа будет в царствии небесном, она и там будет вас любить, и там будет на вас радоваться.

— Отчего же вы говорите, Наталья Савишна, когда *будет* в царствии небесном? — спросил я. — Ведь она, я думаю, и теперь уже там.

— Нет, батюшка, — сказала Наталья Савишна, понизив голос и усаживаясь ближе ко мне на постели, — теперь её душа здесь.

И она указывала вверх. Она говорила почти шёпотом и с таким чувством и убеждением, что я невольно поднял глаза кверху, смотрел на карнизы и искал чего-то.

Беседы с Натальей Савишной повторялись каждый день; её тихие слёзы и спокойные, набожные речи доставляли мне отраду и облегчение.

Но скоро нас разлучили, и я никогда больше не видал Натальи Савишны, которая имела *такое сильное и благое влияние на моё направление и развитие чувствительности».*

Описание последних дней Натальи Савишны, её приготовления к смерти, её распоряжения — как она сдаёт по описи сундуки и завещает четыре штуки жалованного ей давно господского платья молодым господам, описание её кончины — всё это сокровища поэзии…

Какое же впечатление оставила она по себе в человеке, которому было десять лет при её смерти?

Она совершила, — заканчивает гр<аф> Толстой свой рассказ о ней, — лучшее и величайшее дело в этой жизни — умерла без сожаления и страха.

«Её похоронили, по её желанию, недалеко от часовни, которая стоит на могиле матушки. Заросший крапивой и репейником бугорок, под которым она лежит, огорожен чёрною решёткой, и я никогда не забываю из часовни подойти к этой решётке и положить поклон.

Иногда я молча останавливаюсь между часовней и решёткой! Мне приходит мысль: неужели Провидение для того только соединило меня с этими двумя существами, чтобы вечно заставить сожалеть о них?..»

VI

Скажите теперь: люди, которым выпало на долю детство, согретое такими людьми, могут ли нравственно погибнуть в жизни?

Ведь человек образуется, главным образом, соответственно тому, сколько любви было на него излито в его детские годы.

Наталья Савишна, Савельич, Евсеич (дядька Багрова внука) лишь дополняли свою долю сердечного тепла к той силе любви, которою окружали детей их матери. А в таких домах, как Пушкины, как семья Лариных, где мы не видим нравственной близости Тани с её матерью, как семья Марьи Дмитриевны Калитиной, женщины сухосердечной, несмотря на её восторженность, деланной, — там няни и дядьки заменяли детям то, чего не хватало в родительских чувствах, понимая жизнь, подобно Наталье Савишне, лишь как одну беззаветную любовь.

И образовался тот обаятельный мир русской *детской,* который так тепло и нежно рисовал С. Т. Аксаков, воспевал Хомяков. В этом мире русские матери, русские дядьки и няни в длинные ночи вымаливали пред тёмными от времени семейными иконами, в сиянии лампады, счастье детей. Там набирались действительных сил и незаменимых впечатлений родины те птенцы старых дворянских гнёзд, которые, несмотря на то, что потом лучше, чем теперешние, узнавали Европу, её языки и книги, были прежде всего русскими людьми и больше всего тем дорожили.

И потому они служили своей земле действительной осязательною службою, с вдохновением творчества, как «орлы Екатерины», как Карамзины, Пушкины, Муравьёвы. Они могли служить земле в первых рядах народа и вести его так, чтобы народ и в мире дружно шёл за ними, и в бою лез за ними без страха, на смерть или победу на вдесятеро сильнейшего врага, потому что они знали этот народ *и сами были народ.* Были одних взглядов, одних чувств, одного настроения, одной безусловной с ним веры; и весь народ, вся земля единодушным, неуловимым голосом чувства, *со страстностью,* признавала их, как, например, Кутузова, своими и требовала их себе в вожди.

Всё это так было…

VII

Теперь чахнет — и не к нашему, увы, счастью — поэзия русских детских, среди равнодушных в вере родителей, равнодушных к детям приставников, быстро сменяющихся. Растут дети не в преданиях старины, непрерывною цепью подымающихся

к прошлым векам — векам святых, векам безбрежной веры и богатырских чувств, — а на юру, кое-как, готовясь умножить собою безотрадные ряды ничем не связанной с родиной, не понимающей свой народ и им не понимаемой, беспочвенной толпы.

Бледнеет русский тип в образованных людях.

Оторванным большею частью от деревни, то есть от земли и народа, развивающимся в городах, на руках обезличенных родителей, а то под надзором воспитателей или иностранцев, или «всечеловеков», — откуда детям образованных классов набраться русского духа?

Всё меньше таких людей, о которых можно бы сказать, что в них жизненно бьётся то, что всего лучше означить словами *«вечно русское»,* — и люди чисто русского склада должны аукаться между собою, как в дремучем лесу.

И если ещё чт***о*** может сохранить нас от утраты нами нашего русского «образа и подобия» — это жизнь в Церкви, воздействие выдающихся созданий русской литературы и соприкосновение с миром простых русских людей.

Вот эту-то живую народную силу, так долго спасавшую детей высших русских слоев, и следовало почтить в лице Арины Родионовны, самой живой представительницы «русских нянь»…

ЛЕТОПИСЬ ЖИЗНИ АРИНЫ РОДИОНОВНЫ ЯКОВЛЕВОЙ (МАТВЕЕВОЙ)

***1758**, 10 апреля. Мыза Суйда Копорского уезда Петербургской губерний.* Рождение «крестьянина Родиона Яковлева дочери Ирины», крепостной графа Ф. А. Апраксина.

Конец, 1758… начало 1759. Приобретение Суйды генерал-аншефом Абрамом Петровичем Ганнибалом.

***1760**, 27 февраля.* Рождение сестры Ирины, Евдокии Яковлевой.

1761. Появление на свет брата, Алексея Яковлева.

1763. Рождение ещё одной сестры, снова Евдокии.

***1766**, январь.* Массовое бегство крестьян из Суйды «в Польшу».

1767… 1768. Рождение брата, Филиппа Яковлева. Смерть отца Ирины, Родиона Яковлева.

1772. Кончина крестьянина Петра Полуектова, давнего благодетеля семьи Яковлевых.

***1775**, 21 апреля.* Рождение у Осипа Абрамовича и Марии Алексеевны Ганнибалов дочери Надежды, которая впоследствии будет госпожой Арины Родионовны.

***1776**, 13 июля.* А. П. Ганнибал составляет завещание, по которому мыза Суйда «со всеми ж ко оной мызе принадлежащими деревнями, что в них имеется мужеска и женска пола душ» после кончины генерала должна принадлежать Ивану Абрамовичу Ганнибалу.

***1781**, 5 февраля.* Венчание в суйдовском храме Воскресения Христова Ирины Яковлевой и «деревни Кобрина крестьянского сына отрока Фёдора Матфеева».

Февраль. Переселение Ирины Матвеевой к мужу, в Кобрино. *Февраль… март.* Смерть Х. М. Ганнибал, жены «арапа Петра Великого».

14 мая. Кончина от «главной» болезни генерала А. П. Ганнибала.

***1782**, 16 марта.* Рождение у Ирины Матвеевой сына Егора.

Лето. Раздел имущества покойного А. П. Ганнибала между его детьми. Деревня Кобрино и мыза Руново отходят к О. А. Ганнибалу.

1784. Высочайший указ о передаче мызы Руново и деревни Кобрино в собственность Надежды Осиповны Ганнибал и взятии

этих поместий под опеку. Попечительницей стала её мать, М. А. Ганнибал, в опекуны же назначены Михаил Алексеевич Пушкин и Пётр Абрамович Ганнибал.

1788. Рождение у Ирины Матвеевой дочери Надежды.

1789*, 1 апреля.* Рождение у крестьянки ещё одной дочери, Марьи.

1791*, 15 сентября. Суйда.* Венчание в храме Воскресения Христова М. А. Пушкина и А. А. Мишуковой.

1792*, 18 апреля.* Смерть М. А. Пушкина от «горячки».

Конец весны. Рождение у А. А. Пушкиной сына Алексея. Определение Ирины Матвеевой в дом А. А. Пушкиной в качестве няни младенца.

В «Летописи жизни Арины Родионовны…» соблюдена традиция пушкинских «Летописей жизни». В частности, поставленное между датами многоточие означает, что то или иное событие произошло в указанный промежуток времени, однако более точная датировка невозможна.

Первая половина 1790-х гг. Семейство Матвеевых обретает собственный дом в Кобрине.

1796*, 28 сентября. Суйда.* Венчание в храме Воскресения Христова Надежды Осиповны Ганнибал и Сергея Львовича Пушкина.

Конец 1796… начало 1797. Суйда. Кончина Лукерьи Яковлевой, матери Ирины.

1797*. Конец зимы… начало весны (до 5 апреля).* Ирина Матвеева исповедовалась и причастилась «во Святую Великую Четыредесятницу». *Весна… лето.* Посещение Суйды Василием Львовичем Пушкиным.

Лето… осень. Переселение Ирины (Арины) Матвеевой из Кобрина в Петербург, в семью Н. О. и С. Л. Пушкиных.

20 декабря. Петербург. Рождение у Н. О. и С. Л. Пушкиных дочери Ольги. Арина Матвеева становится кормилицей (?) и няней младенца («занавесной барыни»).

Конец 1797… начало 1798. Петербург. Рождение у крестьянки сына Стефана.

1798. Переезд Пушкиных в Москву. С ними приезжает и Арина Родионовна.

1799*, 26 мая (Вознесение Господне).* «Во дворе колежскаго регистратора Ивана Васильева Скварцова у жилца ево Моэора Сергия Львовича Пушкина родился сын Александр крещён июня 8 дня восприемник Граф Артемий Иванович Воронцов кума мать означен-наго Сергия Пушкина вдова Олга Васильевна Пушкина» (запись в метрической книге церкви Богоявления в Елохове; сделана после 8 июня). В няньки младенца определена Ульяна

Яковлева. *Осень.* Отъезд Пушкиных из Москвы в сельцо Михайловское Опочецкого уезда Псковской губернии, откуда они направились в Петербург. Арина Матвеева отпущена в Суйду и Кобрино. В исповедную ведомость суйдовского храма Воскресения Христова её записывают как бывшую на исповеди, но не причащавшуюся «за нерачением».

***1800**. Лето.* По преданию, Пушкины и М. А. Ганнибал посещают Руново и Кобрино.

Осень. Продажа М. А. Ганнибал этих владений. Семья Матвеевых «была исключена из списков запродажной» и осталась за М. А. Ганнибал.

Конец осени… начало зимы (до декабря). Возвращение семейства Пушкиных в Москву.

Последняя декада декабря. Приезд в Москву М. А. Ганнибал. Вероятно, с нею (или чуть раньше, с Пушкиными) в Первопрестольную прибыла и Арина Матвеева.

***1801**, 27 марта. Москва.* Рождение у С. Л. и Н. О. Пушкиных сына Николая.

Смерть мужа крестьянки, Фёдора Матвеева.

***1802**, 14 октября.* Землетрясение в Москве.

***1803**.* В исповедной росписи московского храма Святого Харитония Исповедника, что в Огородниках, Арина Родионовна, «вдова 45 лет», отмечена как исповедовавшаяся.

Вторая половина 1803–1804. Пребывание крестьянки в Кобрине, у детей и родственников. В исповедной росписи суйдовской церкви Воскресения Христова «Ирина Родионова, 43 лет» указана как бывшая у исповеди, однако не причащавшаяся «за нерачением». Возвращение её в Москву.

***1804**, 7 ноября.* М. А. Ганнибал приобретает сельцо Захарово (Захарьево), расположенное в Звенигородской округе, в 40 верстах от Москвы.

***1805**, 9 апреля. Москва.* Рождение Лёвушки Пушкина. Арина Родионовна определяется родителями и бабушкой в няни ребёнка.

***1805–1811**.* Арина Родионовна живёт под одной крышей с семейством Пушкиных и М. А. Ганнибал в московских квартирах: в доме графа Л. Ф. Санти в Большом Харитоньевском переулке; в усадьбе князя Ф. С. Одоевского в Огородной слободе; в доме «девицы Пелагеи Александровны Вельяминовой» на Арбате; в доме купца Н. М. Птицына на Мясницкой и других. Тёплое время года няня проводит с хозяевами и их детьми в сельце Захарове.

***1807**, 30 июля. Захарово.* Смерть Николая Пушкина.

***1809**, 9 января. Москва.* Рождение Софии Пушкиной.

***1810**, 16 июля. Москва.* Рождение Павла Пушкина.

12 сентября. Москва. Кончина Софии Пушкиной.

27 декабря. Москва. Смерть Павла Пушкина.

***1811**, Начало года. Захарово.* Замужество Марьи Фёдоровой, дочери Арины Родионовны.

Январь — февраль. М. А. Ганнибал продаёт сельцо Захарово. Дочь няни Марья переходит к новой владелице.

15 мая. Москва. Кончина в «доме священника» на Большой Молчановке Ульяны Яковлевой, няньки Александра Пушкина.

16… 20 июля. Александра Пушкина отправляют в Петербург, для поступления в открывающийся Императорский Царскосельский лицей.

28 октября. Москва. Рождение Михаила Пушкина (умер в младенчестве).

***1812**, ночь с 11 на 12 шюня.* Армии Наполеона Бонапарта форсировали Неман и вторглись в пределы Российской империи. Начало Отечественной войны.

Конец августа. Отъезд семейства Пушкиных из Москвы в Нижний Новгород. Вероятно, с ними отправилась в эвакуацию и Арина Родионовна.

Конец 1812— начало 1814. Точных сведений о местонахождении няни во время Отечественной войны и заграничных походов русской армии не имеется. Скорее всего, она странствовала вместе с М. А. Ганнибал, Надеждой Осиповной, Ольгой и Львом Пушкиными, а затем с ними же очутилась в Петербурге.

1813… 1815. Рождение у Егора Фёдорова дочери Екатерины — внучки Арины Родионовны.

***1814**, вторая половина года.* Предположительный отъезд Арины Родионовны в сельцо Михайловское, к детям.

Захарово. Рождение у Марьи Фёдоровой сына Михаила Алексеева (1814–1886) — внука Арины Родионовны.

1815**, 31 июля. Москва.* В «Российском музеуме» (№ 7. С. 3–15) напечатано пушкинское послание «Городок (К)», где среди персонажей фигурирует и «добренькая старушка», имеющая, как полагают некоторые исследователи, сходство с Ариной Родионовной.

***1816**,* Согласно ревизской сказке, крестьянка Иринья Матвеева числится по сельцу Михайловскому среди пушкинских дворовых. В том же документе записаны её сыновья Егор и Стефан Фёдоровы, а также жена Егора Аграфена и их дочь Катерина, внучка Арины Родионовны.

Апрель… декабрь. Лицеист первого курса Александр Пушкин пишет пьесу «Сон (Отрывок)», со стихами о «мамушке» («Ах! умолчу ль о мамушке моей…» и т. д.), образ которой «тяготеет к

няне» (В. С. Непомнящий).

Возвращение Арины Родионовны в Петербург.

***1817**, 9 июня.* Выпускной акт в Императорском Царскосельском лицее. Александр Пушкин получает свидетельство об окончании учебного заведения, чин коллежского секретаря и определяется на службу в Коллегию иностранных дел.

9 (?) июля. Отъезд Пушкиных с детьми Ольгой, Александром и Львом на отдых в сельцо Михайловское.

11 (?) июля — 19… 22 августа. Пребывание Пушкиных в Михайловском. Ежедневное общение Арины Родионовны с господами и «пушкинятами».

Осень. Поездка М. А. Ганнибал из Михайловского в Петербург. По версии А. И. Ульянского, старую барыню в путешествии могла сопровождать Арина Родионовна.

14 ноября. Петербург. Рождение у Н. О. и С. Л. Пушкиных сына Платона.

Захарово. Рождение у Марьи Фёдоровой сына Стефана Алексеева — внука Арины Родионовны (умер малолетним).

***1818–1820**.* Няня безвыездно (?) проживает в сельце Михайловском.

1818, 27 июня. Михайловское. Кончина Марии Алексеевны Ганнибал.

1819, 12… 13 июля. Приезд в Михайловское Александра Пушкина.

16 июля. Михайловское. Кончина Платона Пушкина.

11… 12 августа. Отъезд Александра Пушкина из деревни в Северную столицу.

Захарово. Рождение у Марьи Фёдоровой сына Михаила Алексеева (1819–1864) — внука Арины Родионовны.

***1820**, 4 мая. Петербург.* По указу императора Александра I коллежский секретарь Александр Пушкин, «наводнивший Россию возмутительными стихами», переводится по службе «в видах исправления» в полуденные земли империи, под начало главного попечителя колонистов южного края России генерал-лейтенанта И. Н. Инзова.

***1821** — начало лета 1824.* Арина Родионовна живёт на окраине Петербурга, в Коломне, вместе с Пушкиными: сперва в доме А. Ф. Кюкачёва, позднее — в доме иностранца Гронмана. По исповедным книгам храма у Покрова в Коломне, крестьянка значится как «бывшая на исповеди» дворовая «бригадира» и «статского советника» С. Л. Пушкина. Лето Н. О. и С. Л. Пушкины с детьми и няня проводят в сельце Михайловском.

***1821–1822**, зима.* Переезд Пушкиных из дома А. Ф. Клокачёва

в дом Гронмана, находившийся в Климовом переулке.

***1822**, конец февраля… начало марта.* Посещение квартиры Пушкиных подполковником И. П. Липранди, который приехал из Кишинёва и привёз письма и стихи Александра Пушкина. Общение Арины Родионовны с гостем; впоследствии И. П. Липранди вспоминал о старухе: «Расспросы об Александре Сергеевиче сопровождались слезами».

(?) Визит в дом Гронмана и встреча с няней коллежского советника А. Ю. Пушкина, двоюродного дяди поэта.

Кишинёв. Пушкин пишет стихотворение «Наперсница волшебной старины…», где, по утверждению В. Ф. Ходасевича, «старушка-няня и прелестная дева-Муза являются как два воплощения одного и того же лица» *(выделено В. Ф. Ходасевичем).*

Захарово. Рождение у Марьи Фёдоровой дочери Ирины Алексеевой — внучки Арины Родионовны.

***1823**, начало осени (?).* Визит в Климов переулок одесского чиновника Д. М. Шварца.

Конец года. Одесса. В черновиках второй главы романа Пушкина «Евгений Онегин» (в строфе XXIIб) появляется няня Ольги Лариной — Фадеевна, в образе которой угадываются черты Арины Родионовны.

***1824**, начало лета.* Приезд семейства Пушкиных вместе с Ариной Родионовной в Михайловское.

9 августа. Прибытие в сельцо Александра Пушкина, отправленного из Одессы в «северную ссылку».

Август — октябрь. Созданы черновой и беловой варианты стихотворения «Разговор книгопродавца с поэтом», где в одной из строк упоминается, по всей вероятности, няня («Старушки чудное преданье»; *II, 290).* Завершение Пушкиным третьей главы «Евгения Онегина»; в некоторых строфах песни фигурировала и Фадеевна (Филипьевна). На полях черновика этой главы романа поэт, возможно, нарисовал свою «мамушку».

29… 31 октября. Крупная ссора Пушкина с отцом.

3… 5 ноября. Отъезд Льва Пушкина из Михайловского в Петербург.

10 (?)… 12 (?) ноября. Из деревни в Северную столицу уезжает сестра поэта, Ольга Пушкина.

17… 18 ноября. Отъезд в Петербург С. Л. и Н. О. Пушкиных. Поэт остаётся в Михайловском наедине с няней.

17… 18 ноября — 3 сентября 1826. Пушкин и Арина Родионовна живут в деревне вдвоём, душа в душу. Вечерами они регулярно беседуют, няня рассказывает «ангелу» сказки, поёт песни. Поэт иногда читает Арине Родионовне свои стихи, трогательно заботится о ней, называет «мамой».

Ноябрь. Пушкин заносит в «третью масонскую» тетрадь (ПД № 836) семь сказок и четыре народные песни, услышанные им, по-видимому, от «мамушки».

4 декабря. Письмо Пушкина сестре: «Няня исполнила твою комисию, ездила в Св<ятые> горы и отправила панихиду (по тётке поэта А. Л. Пушкиной. — *М. Ф.)* или что было нужно. Она цалует тебя…» *(XIII, 127)*.

4… 8 декабря. Письмо Пушкина Д. М. Шварцу: «…Вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны; вы кажется раз её видели, она единственная моя подруга — и с нею только мне нескучно» *(XIII, 129)*.

***1825**, 11 января.* Посещение Михайловского И. И. Пущиным.

18 февраля. Москва. Письмо И. И. Пущина Пушкину: «Кланяйся няне» *(XIII, 144)*.

23 февраля. Письмо Пушкина брату Льву: «…Розу Григорьевну (домоправительницу или экономку. — *М. Ф.)* я принуждён был выгнать <…>. А то бы она уморила няню, которая начала от неё худеть» *(XIII, 146)*.

8… 18–24… 25 апреля. Пребывание в Михайловском барона А. А. Дельвига.

15 июня (?)… 19 июля (?). Четырёхдневное нахождение в сельце Михайловском офицера Лубенского гусарского полка А. П. Распопова с приятелями по полку.

19… 31 июля. Черновое письмо Пушкина Н. Н. Раевскому-младшему: «…У меня буквально нет другого общества, кроме старушки-няни и моей трагедии…» *(XIII, 197, 540–541; подлин. на фр.)*.

10… 15 августа. Письмо поэта сестре, О. С. Пушкиной: «Няня заочно у вас, Ольга Сергеевна, ручки цалует — голубушки моей» *(XIII, 209)*.

19 ноября. Таганрог. Кончина императора Александра I.

14 декабря. Петербург. Военный бунт и его подавление. Восшествие на престол императора Николая I.

Декабрь. В строфе XXXV четвёртой главы «Евгения Онегина» появляются строки о няне автора — его «подруге юности» (*VI, 88)*. Пушкин создаёт стихотворение «Зимний вечер» («Буря мглою небо кроет…»), посвящённое няне, его «доброй подружке».

В исповедной росписи Воскресенской церкви погоста Вороничи «вдова Ирина Родионова 71 г<ода>» отмечена среди «дворовых людей» сельца Михайловского, принадлежащих «помещице Надежде Осиповой, жене Пушкиной».

***1826**, 5 января.* Няня выступает в качестве свидетельницы («матери венчальной») при бракосочетании дворовых людей Тимофея Стефанова и Параскевы Фёдоровой.

16… 24 мая. Письмо Пушкина князю П. А. Вяземскому с упоминанием об Арине Родионовне: «Экой ты *неумчивый*, как говорит моя няня» *(XIII, 279; выделено Пушкиным)*.

15 июня (?)… 17 июля (?). Пребывание в Тригорском и Михайловском Н. М. Языкова. По преданию, Арина Родионовна, прощаясь с полюбившимся гостем, подарила ему дубовую шкатулку — «ларец».

31 июля. Ревель. В приписке к посланию князя П. А. Вяземского О. С. Пушкина просит брата Александра: «Поцелуй няню» *(XIII, 290)*.

Ночь с 3 на 4 сентября. Фельдъегерь, прибывший по высочайшему повелению из Москвы в Михайловское, увозит Пушкина в Первопрестольную. Прощаясь, поэт всячески утешает плачущую няню.

4 сентября. На рассвете Арина Родионовна спешит в Тригорское, дабы рассказать семейству Осиповых о случившемся накануне. По свидетельству М. И. Осиповой, «она прибежала вся запыхавшись; седые волосы её беспорядочными космами спадали на лицо и плечи; бедная няня плакала навзрыд».

15 сентября. Петербург. Письмо барона А. А. Дельвига Пушкину в Москву: «Душа моя, меня пугает положение твоей няни. Как она перенесла совсем неожиданную разлуку с тобою» *(XIII, 295)*.

9 ноября. Возвращение прощённого царём Николаем I Пушкина из Москвы в сельцо Михайловское. Поэт узнаёт, что за время его отсутствия няня «выучила наизусть новую молитву о умилении сердца владыки и укрощении духа его свирепости» *(XIII, 304; выделено Пушкиным)*. В тот же день по инициативе Арины Родионовны в доме совершён молебен по случаю счастливого избавления «ангела» от напастей.

19 ноября. Москва. Письмо князя П. А. Вяземского Пушкину: «Что няня?» *(XIII, 306)*.

15… 22 ноября (?). Поэт сочиняет послание <«Няне»> («Подруга дней моих суровых…»).

23 ноября. Отъезд Александра Пушкина из Михайловского в Москву.

Конец года. Арина Родионовна становится крестной матерью Варвары Тимофеевой — первенца обвенчанных в январе Т. Стефанова и П. Фёдоровой.

***1827**, январь.* Поездка Арины Родионовны из Михайловского в Петербург. Общение няни с семейством Пушкиных (Надеждой Осиповной, Сергеем Львовичем, Ольгой и Львом), а также с А. П. Керн и, вероятно, с П. А. Осиповой.

Конец января. Возвращение старушки в сельцо Михайловское.

28… 30 января (?). Петербург. Письмо барона А. А. Дельвига Пушкину в Москву: «Нынче буду обедать у ваших, провожать Льва. Увижу твою нянюшку…» *(XIII, 320)*.

30 января. Михайловское. Под диктовку Арины Родионовны кто-то из жителей сельца («писарь или дьячок») составляет письмо Пушкину — первое из двух дошедших до нас посланий няни «ангелу». Она сообщает поэту петербургские новости и уведомляет его об отправке в Москву пушкинских книг *(XIII, 318–319)*. Посылку, по распоряжению няни, повезли крепостной садовник Архип Курочкин и другие крестьяне.

Начало марта. Возвращение экспедиции из Москвы в Михайловское. Крестьяне вручают Арине Родионовне письмо и деньги, посланные ей Пушкиным.

6 марта. Тригорское. Анна Вульф записывает ответное письмо няни поэту в Москву («…Приезжай, мой ангел, к нам в Михайловское, всех лошадей на дорогу выставлю…» и т. д.; *XIII, 323)*. *17 мая. Дерпт.* Н. М. Языков создаёт стихотворение «К няне», где путает отчество Арины Родионовны («Васильевна, мой свет…»). В альманахе «Северные цветы на 1828 год» (1827) стихи, однако, были напечатаны уже в надлежащем виде («Свет Родионовна, забуду ли тебя?..»).

6 июня. Дерпт. Письмо Н. М. Языкова А. Н. Вульфу: «Мне очень жаль, что няня не Васильевна!..» и т. д.

29… 30 июля. Пушкин, посетивший после Москвы Петербург, вновь приезжает в Михайловское. Не исключено, что вместе с поэтом в сельцо прибыла некая «Лизанька».

31 июля. Письмо Пушкина барону А. А. Дельвигу в Ревель: «Что твоя жена? помогло ли ей море? Няня её цалует…» *(XIII, 335)*.

31 июля… 10 октября. Пушкин работает над романом <«Арап Петра Великого»>. По мнению исследователей, прототипом одного из персонажей этого произведения — карлицы Ласточки — отчасти была Арина Родионовна.

16 августа. Ревель. Письмо Н. О. Пушкиной А. П. Керн: «Александр пишет две строчки своей сестре. Он в *Михайловском*, подле нянюшки своей, как вы очень хорошо сказали» *(выделено в подлиннике)*.

24… 28 сентября (?). Возможно, в эти дни в сельце Михайловском находился С. А. Соболевский, приехавший к поэту из Петербурга.

12… 14 октября. Отъезд Пушкина из Михайловского в Петербург.

1828, начало февраля. Арина Родионовна приезжает из Михайловского в Северную столицу и становится

домоправительницей у Ольги Сергеевны (которая недавно вышла замуж за Н. И. Павлищева). Старушка поселяется вместе с молодожёнами «во Владимирской в доме Кувшинникова»; они занимают квартиру отбывшего из города по казённой надобности барона А. А. Дельвига.

Начало марта. Переезд семьи Павлищевых и няни на вновь снятую квартиру, расположенную в приходе той же Владимирской церкви: на Грязной улице, в доме Магдалины Мадатовой. *Март — июль (?).* Возможно, в эти сроки неизвестный художник сделал в квартире Павлищевых портрет Арины Родионовны. С данного оригинала (позднее утраченного) в 1840-е годы псковский резчик Я. П. Серяков изготовил горельеф на моржовой кости. *Июнь — июль.* Александр Пушкин записывает в тетради ПД № 838 первые четырнадцать стихов и программу продолжения «Сказки о царе Салтане» — поэтического переложения фольклорной повести «Некоторый Царь задумал жениться…», которую поэт слышал от Арины Родионовны.

26 июля. Пенза (или имение Мещерское). Письмо князя П. А. Вяземского Пушкину: «…Родионовне мой поклон в пояс» *(XIV, 25).*

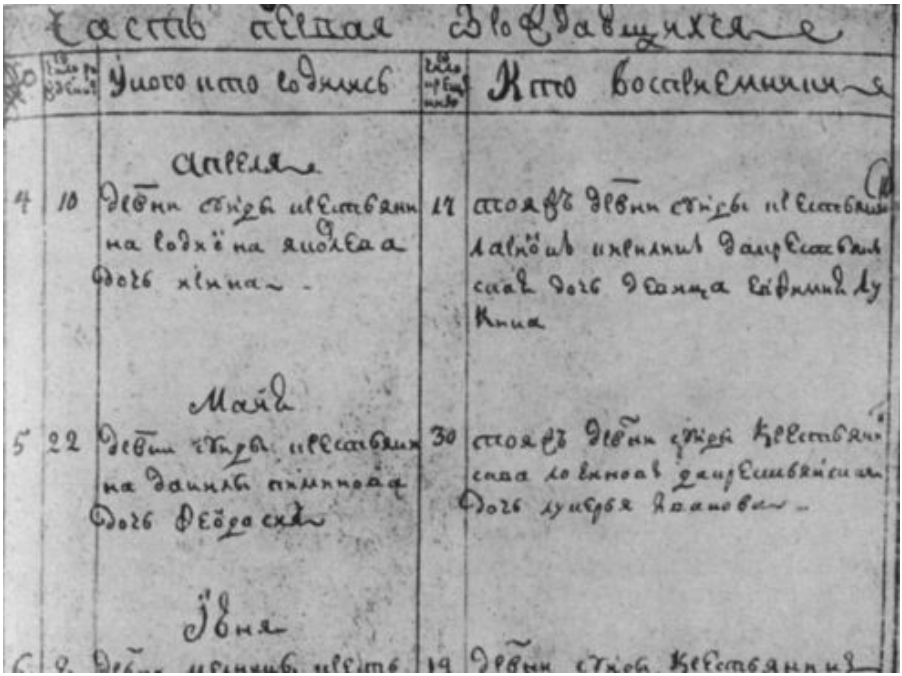
29 июля. Петербург. В доме на Грязной улице на 71-м году жизни умерла «старостию» Арина Родионовна.

31 июля. Отпевание «5-го класса чиновника Сергея Пушкина крепостной женщины Ирины Родионовой» в храме Владимирской Божией Матери в Придворных слободах. Погребение усопшей на Смоленском православном кладбище.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Церковь Воскресения Христова в Суйде. Фотография. 1907

Суйда. Каменная скамья А. П. Ганнибала. Фотография. 1990-е гг.

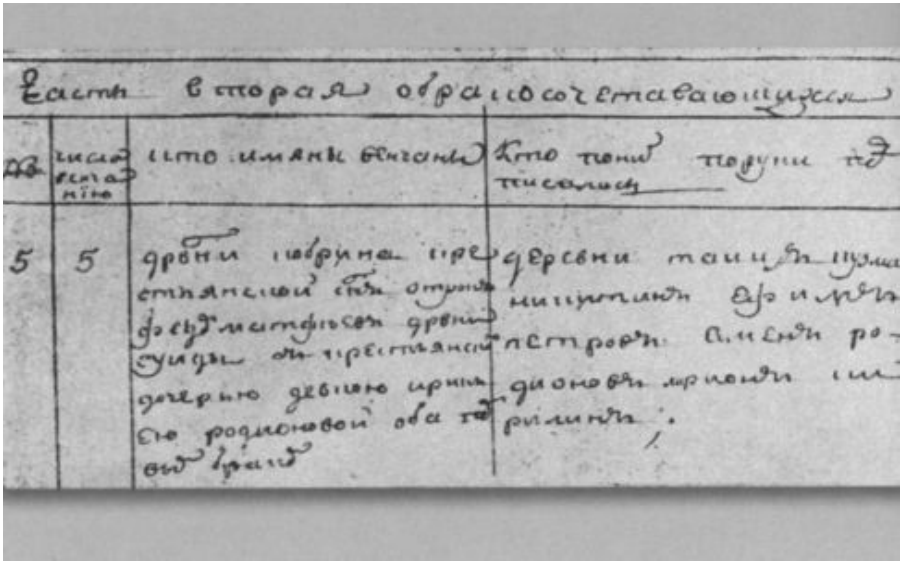


Часть вторая О родившихся

№	Месяц и число	О родившихся	Месяц и число крещения	Кто восприемники
		Апреля		
4	10	Девки суйды крестьянина Родиона Яковлева дочь Ирина.	17	Стояла девки суйды крестьянина Яковлева вычитал Дмитреевской дочь девица Евдокия Лукина
		Майя		
5	22	Девки суйды крестьянина Данилы Климова дочь Федосья	30	Стояла девки суйды крестьянина Яковлева Дмитреевская дочь девица Акилина Яковлева.
		Июня		
6	8	Девки [illegible] крестьянина	19	Девки суйды крестьянина

Запись в метрической книге суйдовской церкви Воскресения Христова о рождении 10 апреля 1758 года «деревни Суйды крестьянина Родиона Яковлева дочери Ирины»

Суйдовская мыза (с пристройками 1850 года). Фотография. 1938



Часть вторая обращосочетавающихся

№	Число венчания	Что имянь венчани	Кто имянь тогда
5	5	деревни Кобрина крестьянской сын отрок Федор Матфеевъ деревни Суйды от крестьянской дочерью девкою Ириньею Родионовой оба первым	деревни Тацинъ Тумы [illegible] Ефимъ [illegible]

Запись в метрической книге суйдовской церкви Воскресения Христова о бракосочетании 5 февраля 1781 года «деревни Кобрина крестьянского сына отрока Фёдора Матфеева, деревни Суйды с крестьянскою дочерью, девкою Ириньею Родионовой, оба первым браком»

Деревня Кобрино. Фотография. 1938

Восстановленный домик няни в Кобрине. Фотография Т. Л. Латыповой. 1999

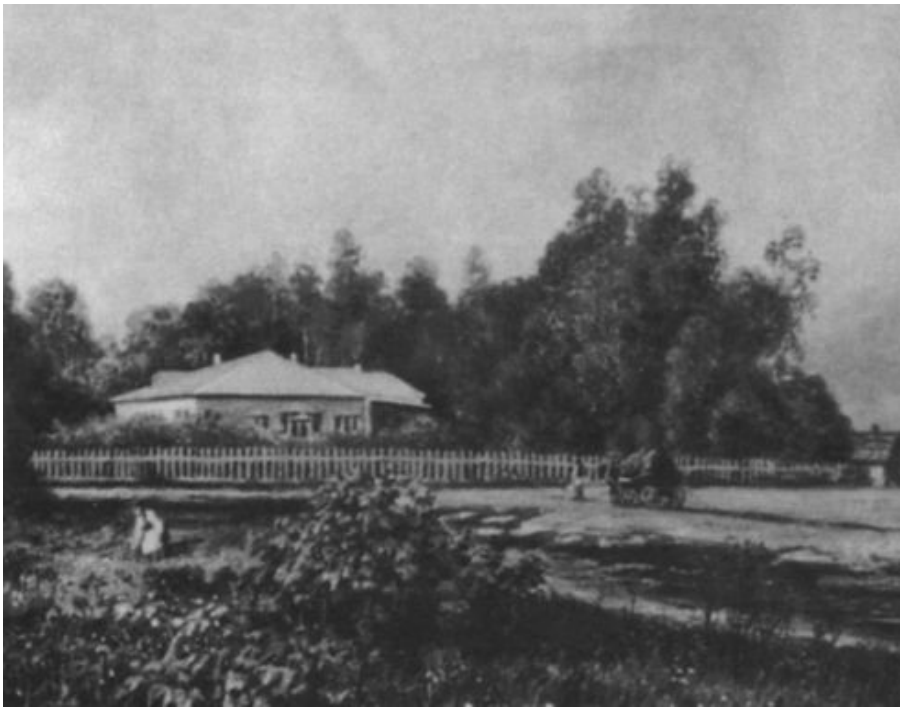
Надежда Осиповна Пушкина. К. де Местр. 1800-е гг.

Сергей Львович Пушкин. К. Гампельн. 1824

Москва. Г. Л. Лори, с оригинала Ж. Делабарта. 1799

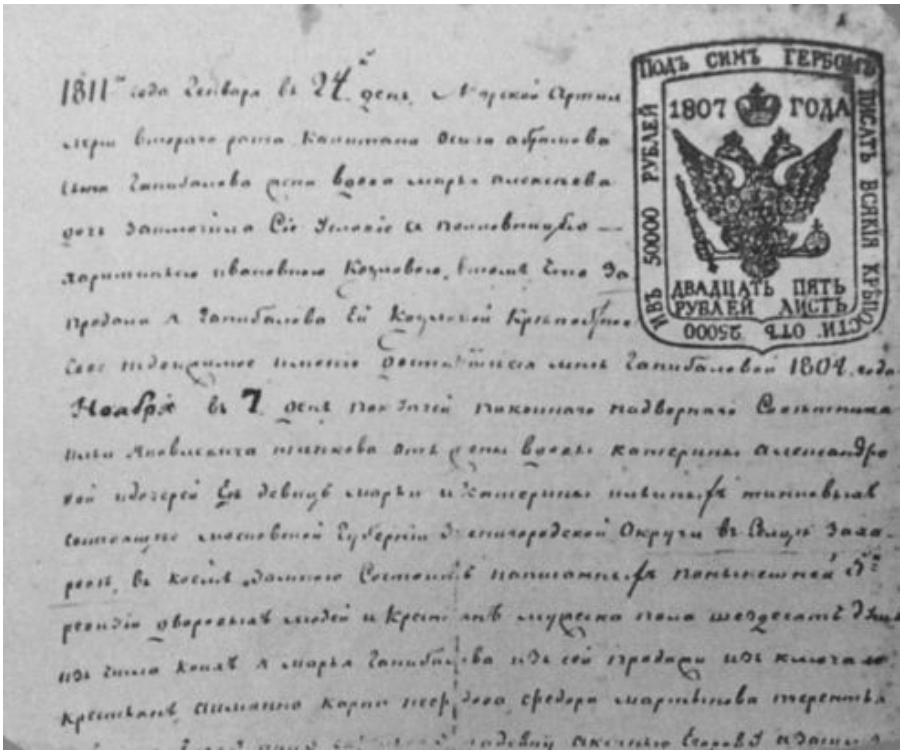
А. С. Пушкин в раннем детстве. Неизвестный художник. 1801–1802

Лев Сергеевич Пушкин. А. О. Орловский. 1820-е гг.



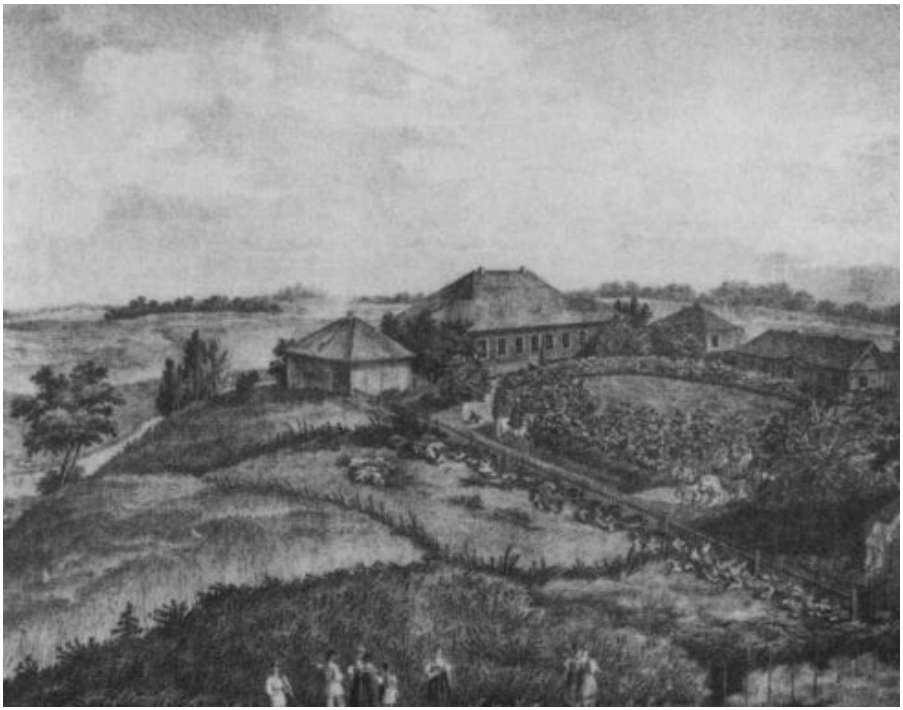
Сельцо Захарово. Неизвестный художник, с оригинала А. Киселёва. 1879

Домик няни в Михайловском. Л. Л. Шребер. 1903



Запродажная М. А. Ганнибал на сельцо Захарово. 1811

А. С. Пушкин. Гравюра Е. И. Гейтмана. 1822



Сельцо Михайловское. Вид на усадьбу. П. А. Александров, с оригинала И. С. Иванова. 1837

Иван Иванович Пущин. Ф. Верне. 1817

Николай Михайлович Языков. Е. Остеррейх. 1822

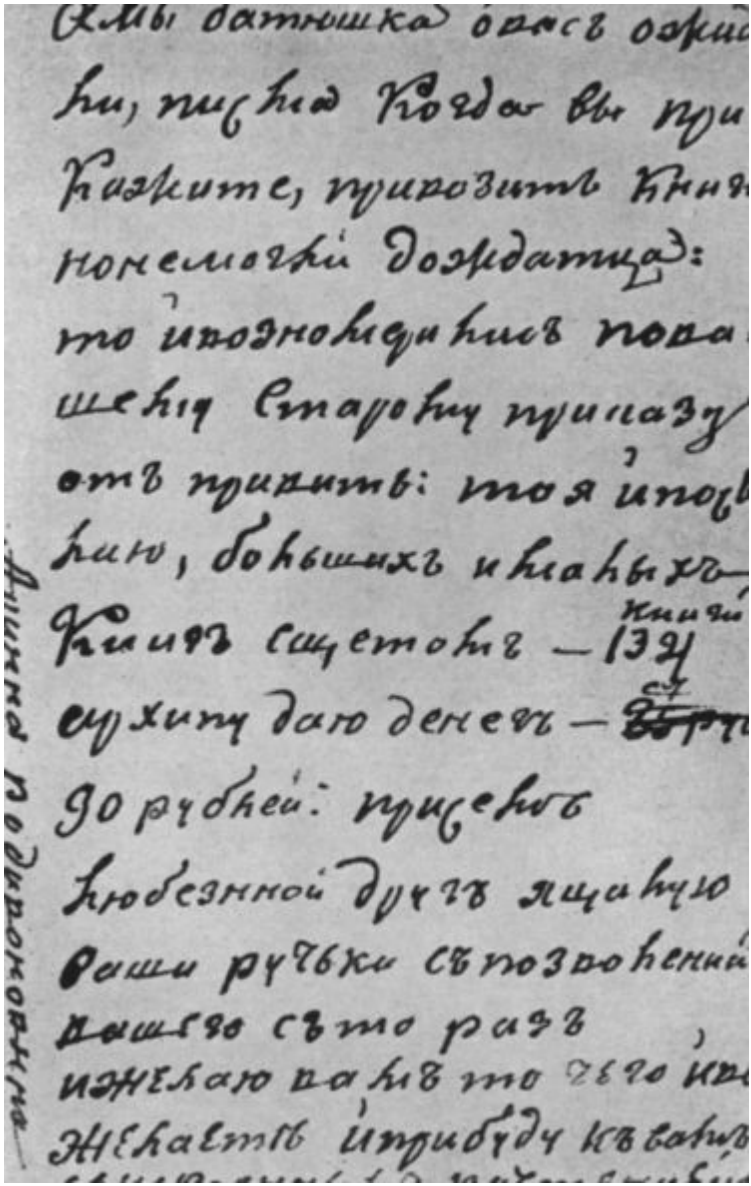
Прасковья Александровна Осипова. Литография. 1829

Алексей Николаевич Вульф. А. И. Григорьев. 1828

Барон Антон Антонович Дельвиг. К. Шлезингер. 1827

Сергей Александрович Соболевский. Литография с оригинала М. П. Полторацкой. 1844

Русская деревня. Д. Аткинсон. 1804



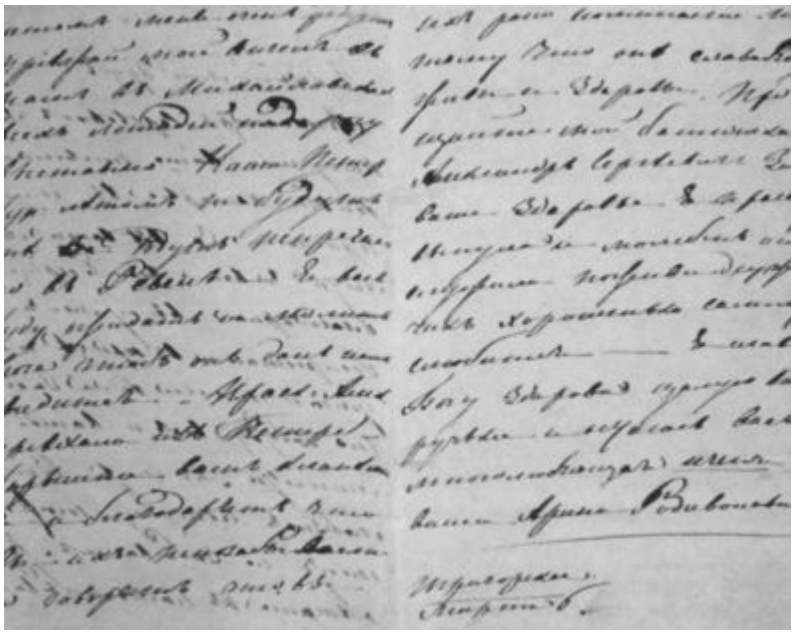
Арина Родионовна

Письмо Арины Родионовны А. С. Пушкину, начертанное «писарем или дьячком». Михайловское. 30 января 1827 г.

Арина Родионовна. В. М. Максимов. Конец XIX в.

Арина Родионовна (?). Неизвестный художник. 1820-е гг.

Тригорское (?). Рисунок А. С. Пушкина. 1835



Письмо Арины Родионовны А. С. Пушкину, записанное А. Н. Вульф. Тригорское. 6 марта 1827 г.

Анна Николаевна и Евпраксия Николаевна Вульф. Неизвестный художник. 1820-е гг.

Тригорское. Фотография. 1890-е гг.

Василии Львович Пушкин. Гравюра С. Ф. Галактионова с оригинала неизвестного художника. 1822

Окрестности Михайловского. Фотография. 1906

Анна Петровна Керн. Неизвестный художник. 1825

Иван Петрович Липранди. Г. С. Гед(?). 1810-е гг.

Александр Сергеевич Пушкин. О. А. Кипренский. 1827

Князь Пётр Андреевич Вяземский. П. Ф. Соколов. 1821

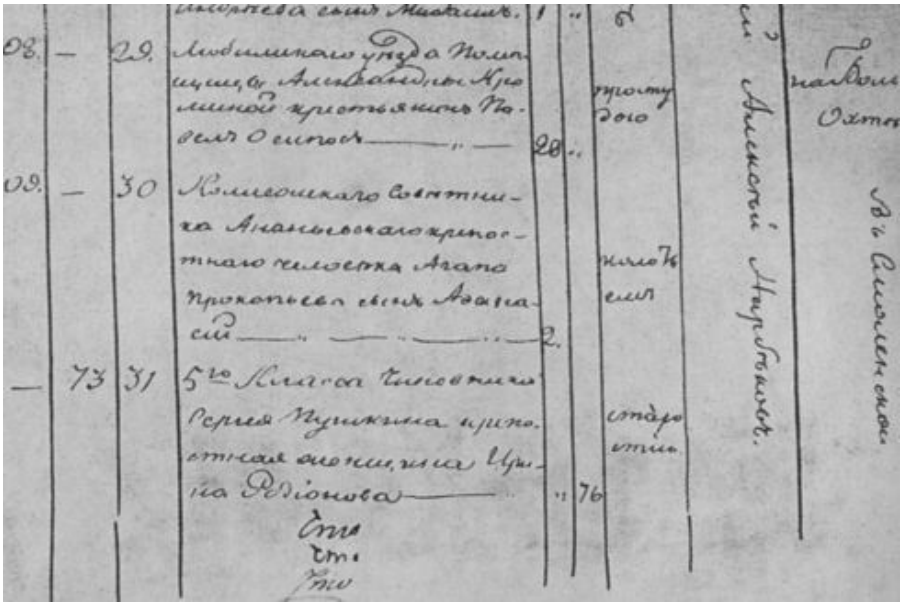
Александр Иванович Тургенев. К. П. Брюллов. 1836

Святогорский монастырь. П. А. Александров, с оригинала И. С. Иванова. 1837

Виньетка альманаха «Северные цветы на 1828 год», где было напечатано стихотворение Н. М. Языкова «К няне». И. В. Ческий, с оригинала В. П. Лангера. 1827

Ольга Сергеевна Павлищева (урождённая Пушкина).
Е. А. Плюшар.1830-е гг.

Николай Иванович Павлищев. А. Покровский. 1843



Запись в метрической книге церкви Владимирской Божией Матери в Придворных слободах о кончине, отпевании и погребении «5-го класса чиновника Сергея Пушкина крепостной женщины Ирины Родионовой»

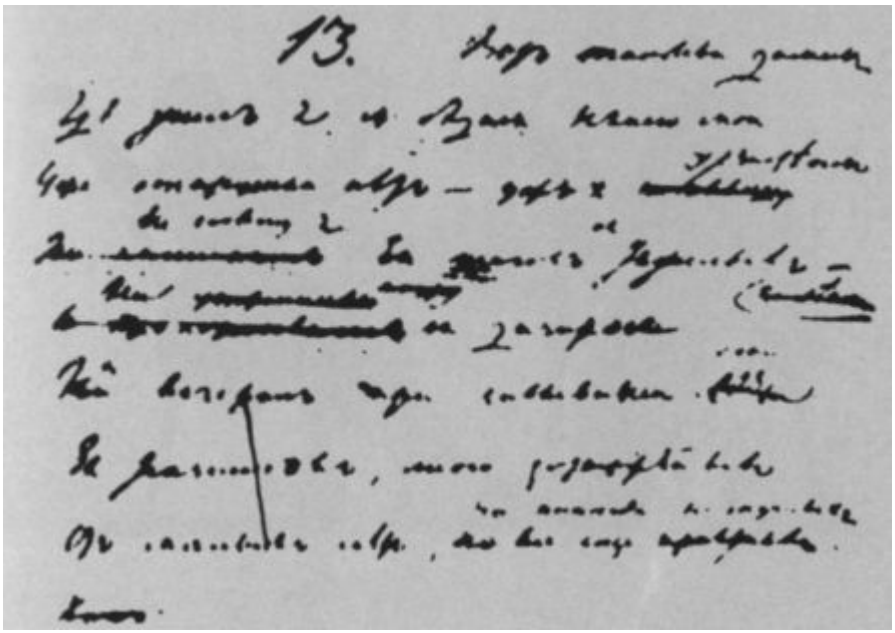
Петербург. Церковь Владимирской Божией Матери в

Придворных слободах. Литография с оригинала Ф. Перро. 1830-е гг.

Черновой автограф стихотворения А. С. Пушкина «Воспоминания в Царском Селе». В левом нижнем углу — два портрета Арины Родионовны. Конец июля — начало августа 1828 г.

Мемориальная доска, установленная на петербургском доме, в котором скончалась Арина Родионовна. Фотография автора. 2007

Дом на Грязной улице (ныне улица Марата, 25/12), в котором умерла Арина Родионовна. Фотография автора. 2007



Черновой автограф стихотворения А. С. Пушкина «…Вновь я посетил…» Стихи о няне. Сентябрь 1835 г.

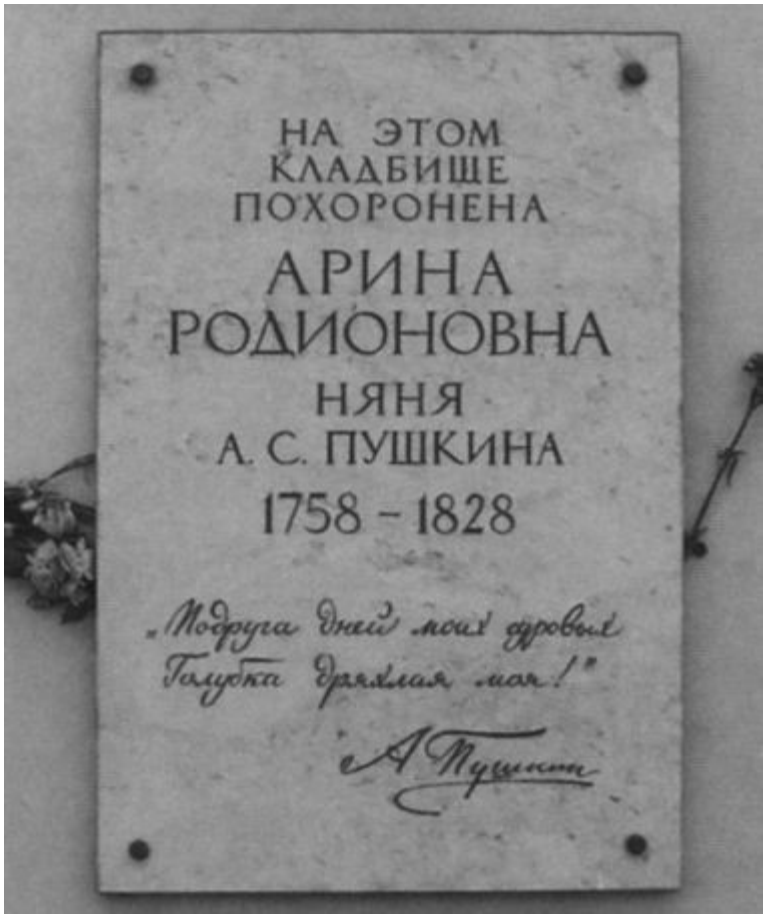
Восстановленный домик Арины Родионовны в Михайловском. Фотография Ю. Г. Белинского. 1980-е гг.

«Евгений Онегин». Поэт и его няня. В. В. Гельмерсен. 1910-е

Пушкин в Михайловском (Посещение И. И. Пущина). Н. Н. Ге. 1875

Пушкин и Арина Родионовна. Ю. В. Иванов. 1984

Пушкин и няня (Зимний вечер). Н. В. Ильин. 1949



Петербург. Мемориальная доска в арке при входе на Смоленское православное кладбище. Фотография Т. В. Покатова.2006

Памятник А. С. Пушкину и его няне в Пскове. Скульптор О. К. Комов, архитекторы М. П. Константинов и П. С. Бутенко. 1983

БИБЛИОГРАФИЯ

Пушкин. Поли. собр. соч.: В 17 т. (т. 17 — справочный). М.; Л.: АН СССР, 1937–1959 (по указ.).

Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты / Подг. к печ. и коммент. М. А. Цявловского, Л. Б. Модзалевского, Т. Г. Зенгер. М.; Л.: Academia, 1935 (по указ.).

А. С. Пушкин: Документы к биографии. 1799–1829 / Сост. В. П. Старк. СПб.: Искусство — СПб., 2007 (по указ.).

Азадовский М. К. Арина Родионовна и братья Гримм // Литературный Ленинград. 1934. 26 ноября.

Азадовский М. К. Сказки Арины Родионовны // *Азадовский М. К.* Литература и фольклор: Очерки и этюды. Л.: Художественная литература, 1938. С. 273–292.

Анненков П. В. Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина. СПб.: изд. П. В. Анненкова, 1855.

А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М.: Художественная литература, 1974 (2-е изд. — М.: Художественная литература, 1985; 3-е изд. — СПб.: Академический проект, 1998) (по указ.).

Балязин В. «…От Арины Родионовны» // Советский музей. 1987. № 2. С. 67–70.

Берг Н. В. Сельцо Захарово // Москвитянин. 1851. Ч. 3. № 9/10. С. 29–32.

Брагинская Н. С. Пушкин и его няня // Ракурс. Нью-Йорк, 1995. 6 июня.

Вересаев В. В. Арина Родионовна (1754–1828)// *Вересаев В. В.* Спутники Пушкина. М.: Советский спорт. 1993. Т. 1. С. 45–47.

Виноградов Л. А. Детские годы Александра Сергеевича Пушкина в Немецкой слободе и у Харитония в Огородниках // А. С. Пушкин в Москве. М., 1930. С. 32–33.

Гареев З. Х. Как мы спасли домик няни // Смена. 1936. № 9. С. 31.

Гейченко С.С. Домик няни. Псков: Псковское газ. — кн. изд-во. 1951. 32 с.

Гейченко С. С. Заветный ларец Арины Родионовны // *Гейченко С. С.* У Лукоморья: Рассказы хранителя Пушкинского заповедника. Л.: Лениздат, 1986. С. 276–279.

Гессен А. Няня Пушкина // Семья и школа. 1966. № 1. С. 26–27.

Грановская Н. И. Рисунок Пушкина: Портреты Арины Родионовны // Временник Пушкинской комиссии: 1971. Л.:

Наука, 1973. С. 27–30.

Грановская Н. И. Друг вымыслов // Стерх-Daru. Л., 1991. № 1. С. 36–38.

Дружников Ю. И. Няня Пушкина в венчике из роз // Новый журнал. Нью-Йорк, 1996. № 201. С. 226–256.

Елисеева В. А. К вопросу о датировке стихотворения Пушкина «<Няне>» («Подруга дней моих суровых…») // Временник Пушкинской комиссии. Вып. 24. Л.: Наука, 1991. С. 140–143.

Жуйкова Р. Г. Портретные рисунки Пушкина: Каталог атрибуций. СПб.: Дмитрий Буланин, 1996. С. 76.

<Комов О.К.> Как знатный комбайнер стала няней // Спасение. 1994. № 13. С. 7.

Кричевский Ал. Воспоминание о Пушкине и его няне // Жизнь и искусство. 1899. № 8. С. 4–5.

Кунин В. В. Арина Родионовна Яковлева (1758–1828) // Друзья Пушкина: Переписка. Воспоминания. Дневники: В 2 т. / Сост., биограф. очерки и примеч. В. В. Кунина. М.: Правда, 1984. Т. 1. С. 115–133.

Леонтий (Туркевич), епископ. А. С. Пушкин и его няня // Рассвет. Чикаго, 1937. № 13. 16 января. С. 3.

Лернер Н. О. Арина Родионовна и няня Дубровского // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Вып. VII. СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1908. С. 68–72.

Лернер Н. О. Няня Пушкина. Л.: Начатки знаний, 1924. 32 с.

Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. Л.: Просвещение, 1983. С. 216–218.

Майков В. В. «Сказка о рыбаке и рыбке» Пушкина и её источники // Журнал Министерства народного просвещения. 1892. № 5. С. 146–157.

Набоков В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» / Пер. с англ. СПб.: Искусство-СПб; Набоковский фонд, 1998. С. 310–311, 370–372, 686.

Непомнящий В. С. «Ах, умолчу ль о мамушке моей»: Литературный сценарий // Библиотекарь. 1983. № 5. С. 58–63.

Непомнящий В. С. «Мама» // *Непомнящий В. С.* Пушкин: Избранные работы 1960–1990-х гг.: В 2 т. М.: Жизнь и мысль; Московские учебники, 2001. Т. 1. С. 120–132.

Новиков И. А. Свидание с няней // Работница. 1939. № 16. С. 12–13.

Няня // Киевское слово. 1887. № 26. 29 января. С. 2.

Осетров Е. И. Шкатулка Арины Родионовны // *Осетров Е. И.* Записки старого книжника. М.: Книга, 1984. С. 37–46.

Павлищев Л. Из семейной хроники: Воспоминания об А. С. Пушкине. М.: Университетская тип., 1890. С. 4, 12, 379.

Павлова Е. Няня А. С. Пушкина // Дошкольное воспитание. 1975. № 3. С. 63–66.

Петрам. Новые слуги // Новое время. 1899. № 8470. 26 сентября (8 октября). С. 3.

Поселянин Е. <*Погожев Е. Н.* >. Русская няня // Московские ведомости. 1899. № 254. 10 сентября. С. 3–4.

Поселянин Е. Пушкин и его няня: К Пушкинской годовщине // Новое время. 1917. № 14 692. 29 января (И февраля). С. 6.

Пушкин А. Ю. Для биографии Пушкина // Москвитянин. 1852. Ч. 6. № 24. С. 21–25.

Пушкин и его няня // Задушевное слово. 1899. № 2. С. 30–32.

Пьянов А. Арина Родионовна // Вечерняя Москва. 1995. № 67. 13 апреля. С. 3.

Распопов А. П. Встреча с А. С. Пушкиным в Могилёве: 1824 г. // Русская старина. 1876. № 2. С. 464–467.

Смиречанский В. Д., прот<*оиерей*>. Дворовые и соседи А. С. Пушкина в Михайловском в 1825 году // Из Псковской старины. Т. 1. Псков: Тип. Губернского правления, 1916. С. 15–16.

Соколов В. Д. «Подруга дней моих суровых» (Яковлева А. Р.) // *Соколов В. Д.* Рядом с Пушкиным: Портреты кистью и пером. М.: Тверская, 13, 1998. Ч. 2. С. 569–572.

Старк В. П. Новые пушкинские адреса в Петербурге // Временник Пушкинской комиссии. Вып. 26. СПб.: Наука, 1995. С. 168–185.

Сумцов Н. Ф. А. С. Пушкин: Исследования. Харьков: Тип. Печатное дело, 1900. С. 107–129.

Тимофеев К. А. Могила Пушкина и село Михайловское // Журнал Министерства народного просвещения. 1859. Ч. 103. № 7/9. С. 143–150.

Ульянский А. И. Няня Пушкина. М.; Я.: АН СССР, 1940. 124 с.

Устимович П. Пушкин и его няня // Красная панорама. 1926. № 28. С. 4–5.

Филин М. Апология русской няни // Литературная газета. 2007. № 5. 7–13 февраля. С. 8.

Фучик Ю. Няня поэта // *Фучик Ю.* Избранные очерки и статьи. М.: Изд-во иностранной литературы, 1950. С. 226–227.

Ходасевич В. Ф. Арина Родионовна (Скончалась в конце 1828 года) // Возрождение. Париж, 1929. № 1315. 7 января.

Цявловский М. А. Арина Родионовна // Путеводитель по Пушкину. СПб.: Академический проект, 1997. С. 46.

Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л.: Наука, 1989. С. 524.

Шишко А. Няня Пушкина // Крестьянка. 1937. № 3. С. 23–25.

Штейн С. В., фон. Няня Пушкина // Слово. Рига, 1928. № 946.

Щеглов Ив. <*Леонтьев И. Л.* >. Дом, где скончалась няня Пушкина // Новое время. 1899. № 8425. 12 августа. С. 2.

Щёголев П. Е. Пушкин и мужики: По неизданным материалам. М.: Федерация, 1928. С. 13, 17, 48–50.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Автор выражает глубокую благодарность за помощь в подборе и подготовке изобразительных материалов для данной книги Т. Л. Латыповой и Т. В. Покатову

notes

Примечания

1

Цявловская Т. Г. Рисунки Пушкина. М., 1986. С. 205–208. См. также: *Жуйкова.* С. 83 (№ 126).

2

Цит. по: Летопись жизни и творчества Е. А. Боратынского / Сост. А. М. Песков. М., 1998. С. 213.

3

Баратынский Е. А. Полное собрание стихотворений. СПб., 2000. С. 200.

4

Здесь и далее ссылки на пушкинские произведения и письма (а также на эпистолярные послания к Пушкину) даются нами в тексте по так называемому Большому академическому собранию сочинений поэта в 17 томах (М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1959), причём римской цифрой обозначается номер тома, а арабской — страницы. Зачёркнутые слова и фразы Пушкина и его корреспондентов помещаются в квадратные скобки, а дописанные или добавленные по смыслу — в угловые.

Щёголев. С. 160.

РА. 1877. № 3. С. 311.

Селиванов В. В. Предания и воспоминания. СПб., 1881. С. 116.

8

Воспоминания Григория Ивановича Филипсона. М., 1885. С. 4–5.

9

В «физиологическом» очерке конца XIX столетия «новые слуги» характеризовались как «личности очень тёмные и сомнительные», как «существа, уже давно искалеченные нравственно». Среди нянек и бонн доминировали, по утверждению публициста, «девицы, которые по ночам надевают платье и пальто вашей дочери и неведомо куда исчезают!». Страдали от таких раскрепощённых «мамушек» преимущественно воспитанники: «Их детство грустно, потому что около колыбели их не стоит няня Родионовна, приветливая, умная старушка, с чудной русской речью; грустно и отрочество их, потому что за ними тогда не зрит неподкупно верный дядька Савельич. Чаще всего слышат они безобразную, ломаную речь чухонки и постоянно пред ними мелькает непрезентабельный калейдоскоп последовательно изгоняемых и вновь поступающих прислуг» (*Петрам.* Новые слуги // Новое время. 1899. № 8470. 26 сентября (8 октября). С. 3).

К месту скажем, что в наши дни институт нянь в России быстро возрождается (он, что называется, входит в моду), однако «новые русские слуги» XXI века (как и их дореволюционные предшественницы) пока вступают с состоятельными «работодателями» исключительно в *коммерческие* отношения. Можно прогнозировать, что указанная тенденция будет преобладать и в дальнейшем. Надеемся, это не исключает и появления отдельных нянь *по призванию*, напоминающих баснословных «мамушек».

10

Цит. по: Образ совершенства: Из наследия первой эмиграции / Сост., вступ. ст. и коммент. М. Д. Филина. М., 1999. С. 166. Впервые: *Былов Н.* А. С. Пушкин как основа контрреволюции. Буэнос-Айрес, 1953.

11

Поселянин Е. Пушкин и его няня: К Пушкинской годовщине // Новое время. 1917. № 14 692. 29 января (11 февраля). С. 6.

Керн А. П. Воспоминания. Л., 1929. С. 60.

13

Сказанное в какой-то мере относится и к барону А. А. Дельвигу, который, как будет показано, хорошо знал, искренно чтил Арину Родионовну и посему не мог остаться безучастным к случившемуся.

14

См. стихотворение Е. А. Боратынского «Дядьке-итальянцу» (1844).

15

Сумцов. С. 107.

16

Балязин В. «…От Арины Родионовны» // Советский музей. 1987. № 2. С. 67–70.

17

Бартенев. С. 52.

18

Там же. С. 56–57.

19

Там же. С. 304.

Анненков. С. 5.

Выделено П. В. Анненковым.

Анненков. С. 96.

23

Григорьев А. А. Искусство и нравственность. М., 1986. С. 93–94. Выделено А. А. Григорьевым.

Там же. С. 185.

Достоевский Ф. Искания и размышления. М., 1983. С. 153.

Устимович П. Пушкин и его няня // Красная панорама. 1926. № 28. С. 5. В 1899 году упомянутая драма была переведена на русский язык и издана (вместе с драмой «Александр Пушкин» другого итальянца, В. Карреры) в Санкт-Петербурге.

27

РА. 1874. № 10. С. 24.

28

Цит. по: Речи о Пушкине: 1880–1960-е годы / Сост., подг. текстов и коммент. В. С. Непомнящего и М. Д. Филина. М., 1999. С. 67. Выделено И. С. Аксаковым.

Майков В. «Сказка о рыбаке и рыбке» Пушкина и её источники // ЖМНП. 1892. № 5. С. 147.

30

См.: <*Аноним*>. Няня // Киевское слово. 1887. № 26. 29 января. С. 2; *Сементковский Р. И.* Что нового в литературе?: Критические очерки // Нива. 1896. № 8. Стлб. 804–805; *Кричевский Ал.* Воспоминание о Пушкине и его няне // Жизнь и искусство. 1899. № 8. С. 4–5; <*Аноним*>. Пушкин и его няня // Задушевное слово. 1899. № 2. С. 30–32; и др.

31

Щеглов Ив. Дом, где скончалась няня Пушкина // Новое время. 1899. № 8425. 12 августа. С. 2. Позднее этот очерк (в расширенном виде, с ошибочными выводами) вошёл в кн.: *Щеглов И.* Новое о Пушкине. СПб., 1902. С. 92–104.

32

См. Приложение II.

33

Московские ведомости. 1899. № 254. 10 сентября. С. 3–4. В том же году Московская университетская типография отпечатала «Русскую няню» Е. Поселянина отдельной брошюрой тиражом в 50 экземпляров.

34

Новое время. 1917. № 14 692. 29 января (11 февраля). С. 6.

35

См.: *Фучик Ю.* Избранные очерки и статьи. М., 1950. С. 226–227.

Левкович Я. Л. Кольчуга Дантеса // Легенды и мифы о Пушкине. СПб., 1995. С. 268.

Михайлова Н. И. «Шоколад русских поэтов — Пушкин» // Легенды и мифы о Пушкине. СПб., 1995. С. 291.

Майков В. «Сказка о рыбаке и рыбке» Пушкина и её источники // ЖМНП. 1892. № 5. С. 148.

39

Красноречивое (и, увы, вполне правдоподобное) описание навязанного сверху «чувства» есть, например, в «Заповеднике» (1983) Сергея Довлатова. В этой повести экскурсовод с пафосом декламирует есенинское «Ты жива ещё, моя старушка?..», нечаянно выдавая стихи за пушкинские, обращённые к Арине Родионовне, — и приехавшие в Михайловское туристы благоговейно, взволнованно внимают чтецу, а затем благодарят его за гимн няне.

Далее речь пойдёт только о *самых* примечательных трудах; расширенный же перечень работ, достойных внимания вообще, приведён нами в конце книги, в разделе «Библиография».

41

Лернер. С. 27.

Ульянский. С. 3.

43

Непомнящий В. Мамушка // Советская культура. 1981. 6 февраля. С. 6; *Он же.* Арина Родионовна, Наталья Николаевна // Юность. 1983. № 6. С. 98–105. Спустя несколько месяцев полный текст «Мамы» был напечатан в книге В. С. Непомнящего «Поэзия и судьба: Статьи и заметки о Пушкине» (М.: Советский писатель, 1983. С. 74–84). Впоследствии эта книга не раз переиздавалась.

44

Цит. по: *Непомнящий.* С. 127, 131. Выделено В. С. Непомнящим.

Франк С. Л. Этюды о Пушкине. Paris, 1987. С. 16.

46

Так названо стихотворение у М. И. Цветаевой.

47

Цветаева М. Мой Пушкин. СПб., 2001. С. 60–61. Выделено М. И. Цветаевой.

Возрождение. Париж, 1929. № 1315. 7 января.

Скатов Н. Н. Детство гения // Венок Пушкину: Статьи. М., 1987. С. 18.

То есть самый лучший, по выражению самого И. С. Тургенева — «центральный».

51

Осповат А. Л., Охотин Н. Г. Комментарий к Материалам для биографии А. С. Пушкина. М., 1985. С. 65–66.

Кошелев В. А. Эстетические и литературные воззрения русских славянофилов: 1840–1850-е годы. Л., 1984. С. 17.

53

Книга П. В. Анненкова была опубликована в 1873 году в Санкт-Петербурге под изменённым названием — «А. С. Пушкин: Материалы для его биографии и оценки произведений».

Анненков П. В. Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху: 1799–1826 гг. СПб., 1874. С. 300.

Павлищев. С. 4.

Устимович П. Пушкин и его няня // Красная панорама. 1926. № 28. С. 5.

Азадовский М. К. Литература и фольклор. Л., 1938. С. 291–292.

См. его стихотворение «Изгнанье» (первая публикация: Руль. Берлин, 1925. № 1376. 14 июня).

Набоков В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» / Пер. с англ. СПб., 1998. С. 311, 370.

Новый журнал. Нью-Йорк, 1996. № 201. С. 226–256.

Для сравнения сообщим читателям такой факт. Очерк В. Ф. Ходасевича «Арина Родионовна» долгое время вообще игнорировался российскими публикаторами, составителями его книг и даже собраний сочинений. Парижский очерк о няне был, по нашим данным, напечатан на родине лишь через *пятнадцать* лет после начала процесса «возвращения» эмигрантского наследия В. Ф. Ходасевича.

62

Санктпетербургский календарь на лето от Рождества Христова 1758, которое есть простое, содержащее в себе 365 дней, сочинённый на знатнейшие места Российской Империи. СПб.: при Императорской Академии Наук, 1757.

63

Санктпетербургские ведомости. 1758. № 29. 10 апреля. С. 1 об.

Там же. С. 1.

Там же. С. 4–4 об.

См.: *Кусов В. С.* Московское государство XVI — начала XVIII века: Сводный каталог русских географических чертежей. М., 2007.

Ульянский. С. 115. Известно также о существовании Четьих-Миней с автографом А. П. Ганнибала из архива суйдовской церкви Воскресения Христова; на одной из страниц данной книги есть надпись: «Боярину и сенатору Петру Матвеевичу Апраксину 1716 года» (Там же). Это косвенно говорит о том, что и в 1716 году Суйда значилась за П. М. Апраксиным. Заодно упомянем, что старый храм Воскресения Христова был разобран в 1855 году «по ветхости» и на его месте в Суйде возведён новый, точно такой же.

Такой парадокс наследования А. И. Ульянский объясняет следующим образом: «Камер-юнкер граф Алексей Петрович Апраксин за тайный переход в католичество был назначен императрицей Анной Иоанновной в придворные шуты. Опасаясь, видимо, столь распространённой тогда при наказаниях конфискации имущества, Апраксин перевёл унаследованное им от отца имение на имя жены» *(Ульянский. С.* 115).

Там же. С. 83.

Там же.

Там же. С. 6.

Как установил всё тот же А. И. Ульянский, Евдокию Родионовну впоследствии выдали замуж за крепостного крестьянина из Суйды Еремея Агафонова (между 1745 и 1748–1803), у них были дети: Семён, Николай (1781—?) и Осип; а брат Ирины Семион (или Семён) Родионович женился в 1780 году на некоей Настасье, с которой прижил Матвея (1781—?), Параскеву (1782—?) и Илью (1790—?).

Там же. С. 8, 75.

Ср. с фрагментом «Экономического календаря» С. В. Друковцева, изданного в 1780 году: «Законное положение для крестьян весьма порядочно сделано — женщине тринадцать лет, а мужчине пятнадцать к бракосочетанию положено, чрез что они по молодым своим летам, ввыкнув, во-первых, друг к другу, а во-вторых, к своим родителям, будут иметь прямую любовь со страхом и послушанием» (цит. по: *Лотман. С.* 219).

Телетова. С. 148.

Ульянский. С. 8.

Там же. С. 10.

Гнамманку Д. Абрам Ганнибал: Чёрный предок Пушкина. М., 1999 (серия «ЖЗЛ»). С. 154.

Телетова. С. 150.

Ульянский. С. 87.

Пушкин В. Стихи; Проза; Письма. М., 1989. С. 104–105.

Ульянский. С. 118.

Там же. С. 88.

84

Атрибутировавшая данный рисунок Н. И. Грановская пишет, что «выражение лица молодой женщины бойкое и задорное». Однако исследовательница настаивает, что на голове у Арины Родионовны «девичья повязка псковских крестьянок», не типичная для жительниц Суйды *(Грановская.* С. 29). Но большинство пушкинистов видят в головном уборе девушки на изображении 1828 года всё-таки широко распространённый кокошник; см., напр.: *Жуйкова.* С. 76 (№ 111). Для нас особенно важно, что кокошник носили и *незамужние* крестьянки.

85

Ср.: «Экой ты *неумчивый*, как говорит моя няня» (из послания Пушкина князю П. А. Вяземскому, написанного во второй половине мая 1826 года. — *XIII, 279; выделено Пушкиным).*

Чернышёв В. И. Пушкин и русские сказки. Записи // Сказки и легенды пушкинских мест. М.; Л., 1950. С. 279.

Анненков. С. 5.

88

Полный текст завещания А. П. Ганнибала был впервые напечатан в кн.: *Телетова.* С. 151–154. Мы пользуемся именно этой публикацией.

Телетова. С. 152.

90

Касательно даты смерти Х. М. Ганнибал имеется два непротиворечивых свидетельства её сыновей. Иван Ганнибал сообщил брату Осипу 25 марта 1781 года из Суйды: «Мать нашу мы похоронили…»; Пётр же Ганнибал утверждал впоследствии, что его мать скончалась «в феврале месяце» *(Телетова. С.* 155–156).

91

Н. К. Телетова и некоторые другие историки склонны верить позднему сообщению П. А. Ганнибала, который писал, что его отец в «1781-м году скончался в апреле 20-го числа» *(Телетова. С.* 156). Однако в метрической книге Санкт-Петербургской епархии Рождественского уезда церкви Воскресения Христова за 1781 год отмечено, что «отставны генерал аншев Абрам Петрович 98 лет» помер «в майе 14 числа». К этой записи (где возраст усопшего указан неверно) сделана (возможно, священником Сергием Андреевым) важная приписка: «Исповедан и причащён 9 майя ещё» *(Ульянский.* С. 89). Наличие такой приписки, на наш взгляд, придаёт майской датировке несколько большую убедительность, нежели апрельской. Отметим, что у А. К. Роткирха в «Немецкой биографии А. П. Ганнибала» датой кончины генерала также названо 14 мая 1781 года *(XVII, 48)*.

Ульянский. С. 76.

93

Там же. С. 90. Семён Родионов — старший брат Ирины Яковлевой; Ларион Кирилин (Кириллов) — её родной дядя (брат матери) и восприемник.

94

Ср. с оставшимся в черновике пушкинским примечанием к XVIII строфе третьей главы «Евгения Онегина»: «Кто-то спрашивал у старухи: по страсти ли, бабушка, вышла ты замуж. — По страсти, родимый, отвечала она. — Приказчик и староста обещались меня до полусмерти прибить. В старину свадьбы как суды обыкновенно были пристрастны» *(VI, 536)*.

Лотман. С. 220.

Ульянский. С. 12.

Там же. С. 90, 93.

Там же. С. 117.

Там же. С. 15.

Там же. С. 94–95.

101

Там же. С. 17.

102

Книга воспоминаний о Пушкине. С. 7.

103

Егор Фёдоров (1782–1834?) был впоследствии крепостным Пушкиных в Михайловском; скорее всего, именно о его («повара») кончине сообщила Н. О. Пушкина в письме к О. С. Павлищевой от 14 ноября 1834 года[511]. Надежда, родившаяся в 1788 году, позже жила у Пушкиных в Москве и Петербурге; её мужем стал Никита Тимофеев, лампочник. А Мария Фёдорова (1789–1858) вышла замуж за Алексея Никитина (1791–1841), крепостного подмосковного села Захарово.

Ульянский. С. 16.

105

Там же. С. 118.

106

Впоследствии Алексей Михайлович Пушкин (1792–1821) воспитывался в Пажеском корпусе, участвовал в Отечественной войне 1812 года и вышел в отставку штабс-капитаном. На излёте жизни он преподавал в Благородном пансионе при Петербургском университете, был профессором военных наук и членом Конференции Царскосельского лицея.

107

А. Ю. Пушкин описывал эту ситуацию так: «Когда дядя мой Михайло Алексеевич Пушкин в 1791 году женился на Анне Андреевне Мишуковой <…> и в 1792-м году родился у них сын Алексей <…>, то Марья Алексеевна Ганнибалова дала ему в кормилицы из Кобрина вышеписанную Ирину Родионовну; в течение этого времени Ирина овдовела и оставлена была у него в няньках до 1796-го года» (Книга воспоминаний о Пушкине. С. 17–18). Однако двоюродный дядя поэта заблуждался: муж Ирины в ту пору ещё здравствовал, да и Марья Матвеева (которую А. Ю. Пушкин счёл «молочной сестрой» Алексея Пушкина) родилась тремя годами ранее. Вместе с тем сообщение А. Ю. Пушкина о том, что Ирина Родионовна была какое-то время при ребёнке «в няньках», заслуживает, думается, внимания. К тому, что наша героиня «служила тогда нянькой в семье одного родственника Марии Апексеевны», склонялся и Н. О. Лернер *(Лернер.* С. 6). А. И. Ульянский был более гибок: он допускал, что Ирину Матвееву назначили или в няньки, или в прислугу (*Ульянский.* С. 17, 19).

108

На самом деле Марье Матвеевой незадолго перед тем исполнилось шесть лет.

109

Ульянский. С. 95.

Гнамманку Д. Абрам Ганнибал: Чёрный предок Пушкина. М., 1999. С. 167.

Ульянский. С. 17, 96.

Там же. С. 96.

113

Правильно — 39 лет.

Там же. С. 96–97.

115

Светлое Христово Воскресение в том году пришлось на 5 апреля.

116

Книга воспоминаний о Пушкине. С. 16.

117

Там же. С. 8.

Впоследствии Стефан Фёдоров был крепостным сельца Михайловского.

Ульянский. С. 23–24, 77.

120

ПВС-1. С. 43. Ср.: *XIII, 290*.

121

Павлищев. С. 12–13.

122

Книга воспоминаний о Пушкине. С. 18.

123

Письма Сергея Львовича и Надежды Осиповны Пушкиных к их дочери Ольге Сергеевне Павлищевой: 1828–1835. СПб., 1993. С. 261–262 (выделенные слова в подлиннике написаны по-русски). В мемуарах Л. Н. Павлищева есть схожий «фрагмент» из письма Надежды Осиповны, который мемуарист датировал 26, 28 или 30 декабря 1834 года: «Александр (Пушкин. — *М. Ф.)* советует тебе, когда кормят ребёнка, закрывать ему чем-нибудь глаза. Впрочем, я сама всегда точно так же поступала со всеми моими детьми, и покойная Ирина <…> Родионовна называла вас поэтому „занавесные Пушкенята *(sic! — М. Ф.)“» (Павлищев. С.* 379). В качестве комментария к этому эпистолярному «фрагменту» сошлёмся на слова публикатора переписки родителей Пушкина Л. Л. Слонимской, которая характеризовала археографические методы Л. Н. Павлищева так: «…Не преследуя научной цели, он строил свою книгу беллетристически; отсюда — свободное пользование материалом: произвольные датировки, монтаж цитат из разных писем, авторские добавления, переделка повествовательных отрывков из писем в форму диалога, приписывание перу Сергея Львовича строк Надежды Осиповны и обратно и другие приёмы» (Письма Сергея Львовича и Надежды Осиповны Пушкиных к их дочери Ольге Сергеевне Павлищевой: 1828–1835. СПб., 1993. С. 10).

См.: *Ульянский.* С. 20, 26, 27, 98.

125

Павлищев. С. 9.

Романюк С. К. К биографии родных Пушкина // ВПК. Вып. 23. Л., 1989. С. 12–13.

127

Там же. С. 13.

Запись воспроизводится по фотокопии, с сохранением орфографии и пунктуации подлинника.

129

Виноградов Л. А. Детские годы Александра Сергеевича Пушкина в Немецкой слободе и у Харитония в Огородниках // А. С. Пушкин в Москве. М., 1930. С. 31, 34, 40.

130

Романюк С. К. Пушкины в Москве в конце XVIII — начале XIX в.: По новым документальным данным // ВПК: 1979. Л., 1982. С. 13; *Он же.* В поисках пушкинской Москвы. М., 2001. С. 250.

131

Набоков В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» / Пер. с англ. СПб., 1998. С. 372.

132

Книга воспоминаний о Пушкине. С. 24–28. Следует отметить, что М. А. Цявловский счёл рассказ старушки «правдоподобным» (Там же. С. 24). Заодно скажем и о том, что некоторые увлекающиеся авторы записывают в «заштатные» няни Пушкина также Акулину Семёновну, крепостную П. Д. Еропкина, московского генерал-губернатора и сенатора: «Ей случалось нянчиться и ублажать нашего великого поэта Пушкина, когда семья Пушкиных бывала у её барина Еропкина». Позже Акулина охотно всем рассказывала, «как она и при каких обстоятельствах нянчила <…> великого поэта» (Семейная хроника Крестовниковых. Кн. 1. М., 1903. С. 51).

133

Курсив в цитатах из мемуаров О. С. Павлищевой всюду мой.

134

ПВС-1. С. 43.

135

Там же. С. 44.

136

Подразумевается усадебный сад князя Н. Б. Юсупова в Большом Харитоньевском переулке, где гулял маленький Александр. В одном из домов этой усадьбы Пушкины жили в 1801–1803 годах.

137

Достопамятное московское землетрясение произошло 14 октября 1802 года.

Виноградов Л. А. Указ. соч. С. 25, 28.

139

Книга воспоминаний о Пушкине. С. 17.

Ульянский. С. 119.

141

Там же. С. 24, 119.

Анненков П. В. Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху: 1799–1826 гг. СПб., 1874. С. 28.

143

Некоторые пушкинисты XIX–XX веков снисходительно отнесли описание происшествия, о котором мы расскажем далее, к категории «исторических анекдотов» или «семейных преданий». Но причисление источника к тому или иному «ненадёжному» жанру ещё не является доказательством того, что этот источник апокрифический. Подкрепить же свои сомнения какими-либо вескими аргументами скептики до сих пор так и не смогли.

Ульянский. С. 25.

145

Анненков П. В. Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху: 1799–1826 гг. СПб., 1874. С. 28. Здесь же пушкинист предположил, что знаменательная встреча с Павлом I имела место в московском Юсуповом саду. Однако П. В. Анненков ошибся: с весны 1799 года и до своей кончины император в Москву не приезжал.

Вестник Европы. 1878. № 3. С. 7–8.

147

Старк В. П. Новые пушкинские адреса в Петербурге // ВПК. Вып. 26. СПб., 1995. С. 168–171.

Зафиксировано 16 таких словоупотреблений; см.: Словарь языка Пушкина: В 4 т. Т. 2. М., 1957. С. 896.

149

Старк В. П. Указ. соч. С. 169.

Ульянский. С. 26.

151

Анненков. С. 4–5; ПВС-1. С. 43.

152

Николай Пушкин родился 27 марта 1801 года и прожил недолго: 30 июля 1807 года его не стало.

Романюк С. К. В поисках пушкинской Москвы. М., 2001. С. 61.

Ульянский. С. 119.

Романюк С. К. В поисках пушкинской Москвы. М., 2001. С. 61.

156

Виноградов Л. А. Детские годы Александра Сергеевича Пушкина в Немецкой слободе и у Харитония в Огородниках // А. С. Пушкин в Москве. М., 1930. С. 32. Напомним, что Надежда Осиповна с мужем и детьми жила тогда в каменном «среднем» доме усадьбы князя Н. Б. Юсупова в Большом Харитоньевском переулке.

Ульянский. С. 20, 25–26.

Крестьянке было тогда уже сорок пять лет.

159

Там же. С. 98. В росписи, следом за Ариной Родионовной, указаны и её дети: Надежда, Мария и Стефан — 16, 11 и 5 лет соответственно, а также сын Егор (22 лет) с женою Агриппиною Ивановой (21 года).

Азадовский М. К. Литература и фольклор. Л., 1938. С. 273–274, 287. Подробнее о «чудных преданьях» няни мы расскажем в главе «Подруга поэта».

Чернышёв В. И. Пушкин и русские сказки. Записи // Сказки и легенды пушкинских мест. М.; Л., 1950. С. 279.

Ульянский. С. 27.

163

Там же. С. 28, 120.

ПВС-1. С. 43 (из воспоминаний О. С. Павлищевой).

165

Романюк С. К. Пушкины в Москве в конце XVIII — начале XIX в.: По новым документальным данным // ВПК: 1979. Л., 1982. С. 12.

Павлищев. С. 8.

167

Рассказы бабушки: Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные её внуком Д. Благово. Л., 1989. С. 338.

Ходасевич.

169

В черновой редакции главы «Москва» <«Путешествия из Москвы в Петербург»> Пушкин вспоминал о своей первой встрече с царём Александром Павловичем в Первопрестольной: «Я стоял с народом на высоком крыльце Николы на Мясн<ицкой>. Народ, наполнявший все улицы, по которым должен он был проезжать, ожидал его нетерпеливо» *(XI, 239)*. Конечно, отрок не мог попасть на многолюдную и небезопасную манифестацию без сопровождающих лиц.

Цит. по: *Ульянский.* С. 28.

171

Бартенев. С. 58–59.

Юрьева И., Смирнов Л. «Детская» пушкинского Дома: Захарово // Наше наследие. 1988. № 2. С. 130–139.

173

Ульянский. С. 28.

ПВС-1. С. 44.

175

Анненков. С. 12.

ПВС-1. С. 58. Выделено Л. С. Пушкиным.

177

Лев Сергеевич Пушкин, добрый, беспечный и эгоистичный, рос и вырос всё-таки другим: он относился к Арине Родионовне как к *няньке,* более «традиционно».

178

По предположению Л. А. Виноградова, пушкинские величания няни восходят к французскому слову «maman» («мам***а***»): «„Мам***а***“ со столь необычным для русского уха ударением есть не что иное, как французское „maman“, в котором „n“ не слышится и которое всегда означало не только родную мать, но и вообще старшую женщину, наставницу; к такому словоупотреблению был приучен и поэт. Да и в московском говоре <…> мама было равнозначно с няней, независимо от того, была ли она кормилицей» *(Виноградов Л. А.* Детские годы Александра Сергеевича Пушкина в Немецкой слободе и у Харитония в Огородниках // А. С. Пушкин в Москве. М., 1930. С. 33).

Ульянский. С. 31, 109.

180

ПВС-1. С. 43–44.

181

Книга воспоминаний о Пушкине. С. 9.

Бартенев. С. 65.

183

Напомним ещё об одном, опять же печальном: 15 мая 1811 года в доме на Большой Молчановке скончалась Ульяна Яковлева, нянька Александра. Вообще эта арбатская квартира была для Пушкиных поистине роковой: ранее, 12 сентября 1810 года, тут угасла (не дожив и до двух лет) Софья Пушкина, а вслед за нею, 27 декабря 1810 года, умер и пятимесячный Павел.

184

Императорский лицей в Царском Селе был учебным заведением закрытого типа и отлучки оттуда (даже во время вакаций) позволялись воспитанникам лишь в исключительных случаях. Программа обучения лицеистов состояла из двух курсов, по три года каждый. См., напр.: *Руденская С. Д.* Царскосельский — Александровский лицей: 1811–1917. СПб., 1999. С. 27–28, 39–40.

Романюк С. К. К биографии родных Пушкина // ВПК. Вып. 23. Л., 1989. С. 14.

Там же. С. 15.

187

Там же. С. 17. До сих пор неясно, было ли тогда наложено на С. Л. Пушкина какое-либо взыскание. Известно, что Сергей Львович остался на службе в комиссариатском ведомстве, в Военном министерстве, и уволился «с чином 5-го класса» лишь в январе 1817 года *(Романюк С. К.* К биографии родных Пушкина // ВПК. Вып. 23. Л., 1989. С. 18).

188

М. А. Цявловский, употребив вопросительный знак, предположил, что Пушкины и М. А. Ганнибал прибыли в Петербург из *Москвы* (Летопись. С. 72). То же самое сообщается (причём уже утвердительно, но опять-таки бездоказательно) и в некоторых других научных исследованиях. Однако из позднейших писем С. Л. и Н. О. Пушкиных О. С. Павлищевой ясно только то, что Надежда Осиповна с детьми не поехала за Сергеем Львовичем в Варшаву (см.: Письма Сергея Львовича и Надежды Осиповны Пушкиных к их дочери Ольге Сергеевне Павлищевой: 1828–1835. СПб., 1993. С. 114–115, 154).

189

Это соседство оказалось недолгим: Лев Пушкин «убыл» из Благородного пансиона при Лицее в конце 1815-го — начале 1816 года. Впоследствии, в сентябре 1817 года, Лёвушка поступил в Благородный пансион при Главном педагогическом институте (у Калинкина моста в Петербурге), однако и там, как мы увидим, курса не окончил.

Ходасевич.

191

Ульянский. С. 34.

Анненков. С. 32.

193

Сурат И., Бочаров С. Пушкин: Краткий очерк жизни и творчества. М., 2002. С. 14.

Впрочем, каких-либо документов, подтверждающих эту датировку, до сих пор не обнаружено.

195

Ходасевич.

Сурат И., Бочаров С. Указ. соч. С. 15.

197

Здесь: новости, слухи.

Со спицами в руках или за веретеном запечатлена старушка и в позднейших пушкинских стихах. Можно, пожалуй, сказать, что вязание стало одной из её знаковых характеристик, поэтическим «шиболетом».

199

Сумцов. С. 109.

200

Кунин В. Я. Арина Родионовна Яковлева (1758–1828) // Друзья Пушкина: Переписка; Воспоминания; Дневники. Т. 1. М., 1984. С. 117.

201

Сурат И., Бочаров С. Указ. соч. С. 12.

Бартенев. С. 57.

203

Непомнящий. С. 124.

204

Помещики нередко отдавали своим «столбовым» крепостным вышедшие из употребления предметы туалета. Так, у няни Натальи Савишны из «Детства» Л. Н. Толстого накопился целый «сундук» старинного барского добра (глава XXVIII, «Последние грустные воспоминания»). Другой литературный пример ещё показательнее: Агафье Власьевне, нянюшке Лизы Калитиной из тургеневского «Дворянского гнезда», «барыня <…> с своей головы чепец подарила» (глава 35).

Здесь надобно возразить В. Ф. Ходасевичу, который заявил в 1929 году следующее: «Ранних писем Пушкина к родителям и к сестре мы не знаем. Но писем к брату Льву Сергеевичу, за время разлуки с Ариной Родионовной, имеем целых четырнадцать — и ни в одном нет ни слова о няне, ни вопроса о ней, ни привета — ничего. Вряд ли это случайно. Личную любовь к няне Пушкин приобрёл позже» (*Ходасевич*). Выводы пушкиниста, обычно столь проницательного, в данном случае неосновательны. В. Ф. Ходасевич не догадался, что поэт, зная о всегдашнем безразличии Лёвушки к няне, *просто не собирался беседовать с братом об Арине Родионовне*. В доказательство приведём хотя бы такие цифры: в сохранившихся письмах 1824–1827 годов Пушкин упомянул «мамушку» восемь раз *(XIII, 127, 129, 146, 197, 209, 279, 304, 335),* однако лишь однажды он сделал это в переписке со Львом *(XIII, 146)*. Весьма любопытно и то, что в письме О. С. и Л. С. Пушкиным от 4 декабря 1824 года поэт рассказал о старушке в той части послания, которая адресовалась *одной Ольге*; но ещё любопытнее, что там же, повествуя о няне, он написал: «Она цалует тебя…» *(XIII, 127)*. О Льве Сергеевиче, и «вряд ли это случайно», Александр Пушкин и Арина Родионовна как будто забыли.

ПВС-1. С. 48.

207

Платон Пушкин не прожил и двух лет: он скончался 16 июля 1819 года в Михайловском.

Ульянский. С. 35–36, 112, 120.

209

Летопись. С. 163–164.

Бартенев. С. 111.

211

Летопись. С. 183 (из письма В. Л. Пушкина к князю П. А. Вяземскому от 27 июля 1819 года).

212

ПВС-1. С. 103.

213

Остафьевский архив князей Вяземских. Т. II. СПб., 1899. С. 36 (письмо от 28 апреля 1820 года).

214

Летопись. С. 256 (из письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву от 25 января 1821 года).

215

Бартенев. С. 373.

Ульянский. С. 36.

217

Современники поговаривали о каком-то неудачном романе Ольги Сергеевны Пушкиной, имевшем место в Александровскую эпоху.

218

Остафьевский архив князей Вяземских. Т. II. СПб., 1899. С. 187 (из письма А. И. Тургенева к князю П. А. Вяземскому от 26 апреля 1821 года).

Ульянский. С. 35.

РА. 1866. № 10. С. 1481–1482.

221

ПВС-1. С. 504.

222

«Хам — прозвище лакеев, холопов или слуг; крепостной» (*В. И. Даль)*.

223

В воспоминаниях А. Ю. Пушкина «К биографии Пушкина» об Арине Родионовне, среди прочего, сказано следующее: «…Я помню, что видел её при Сергее Львовиче и Надежде Осиповне в Москве ещё в 1822 году, куда я тогда приезжал по своим делам» (Книга воспоминаний о Пушкине. С. 18). Мы допускаем, что память подвела мемуариста и он спутал две столицы.

В. В. Набоков предположил, что Дмитрий Максимович мог обратить внимание на Арину Родионовну «в Москве около 1810 г.», когда «маленький Шварц танцевал на детских праздниках с маленькой Ольгой Пушкиной» *(Набоков В.* Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» / Пер. с англ. СПб., 1998. С. 311). Научный редактор русского издания набоковского Комментария В. П. Старк заметил в этой связи: «Не исключён и другой, более правдоподобный вариант: Шварцы семейство петербургское, а потому вполне возможно, что их знакомство относится ещё к послелицейской юности поэта в столице. Однако у двух этих версий нет других доказательств, кроме <…> упоминания Пушкиным того, что Шварц видел Арину Родионовну. Петербургская встреча кажется более вероятной, чем московская» (Там же. С. 686).

Оба комментатора исходили из того, что Д. М. Шварц видел няню *в присутствии* поэта или тогда, когда Пушкин был где-то поблизости (в том же городе, в Петербурге или Москве). Но в поле их зрения, похоже, не попал источник, позволяющий предложить совсем иную версию встречи чиновника канцелярии новороссийского генерал-губернатора с Ариной Родионовной.

Имеется в виду письмо Ф. Ф. Вигеля Пушкину от 8 октября 1823 года, направленное из Кишинёва в Одессу *(XIII, 68)*. Из контекста этого письма вроде бы следует, что Филипп Филиппович незадолго перед тем получил послание от А. И. Тургенева из Петербурга и что тургеневская эпистолия была доставлена к Ф. Ф. Вигелю именно *Д. М. Шварцем* (последний, вручив письмо адресату, спешно отбыл в Одессу). Кстати, об отправленном письме Ф. Ф. Вигелю А. И. Тургенев сообщил 25 сентября князю П. А. Вяземскому (Остафьевский архив князей Вяземских. Т. II. СПб., 1899. С. 352). Значит, в *сентябре 1823 года* Д. М. Шварц находился на невских берегах — и, заглянув тогда к Пушкиным, он мог увидеть Арину Родионовну. Ясно, что по прибытии в Одессу Д. М. Шварц тотчас рассказал Александру Пушкину о своём визите на Фонтанку.

225

Цит. по: *Вересаев В.* Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1990. С. 215 (из письма В. Ф. Вяземской П. А. Вяземскому от 13 июня 1824 года из Одессы).

Щёголев П. Е. А. С. Пушкин и граф М. С. Воронцов // Красный архив. 1930. № 1 (38). С. 182.

227

ПВС-1. С. 118.

228

Цит. по: Летопись. С. 275 (из дневника П. Б. Козловского).

229

Там же. С. 365 (из дневника М. П. Погодина).

Анненков. С. 35.

И в последующие годы няне посвящались преимущественно *вечерние* и *ночные* стихи. А для досточтимой Марии Алексеевны Ганнибал, судя по имеющимся обрывочным сведениям, типичнее были всё же не напевы, а степенные рассказы, «семейные предания» (П. И. Бартенев), «драгой антик» (*I, 146)* и *дневное* общение с внуком Сашей, его обучение.

Ходасевич. Выделено автором очерка.

Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. М., 1997. С. 404.

234

Там же. С. 407. Уточним: В. Ф. Ходасевич исходил из того, что стихотворение «Наперсница волшебной старины…» не было Пушкиным завершено. Однако большинство пушкинистов убеждены, что это всё же *законченное* произведение.

235

Сливок общества *(фр.)*.

См., напр.: *Лотман.* С. 17.

Мимоходом отметим, что эта фамилия почти тождественна имени пушкинской няни (Ларина — Арина).

Набоков В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» / Пер. с англ. СПб., 1998. С. 253–254; *Дьяконов И. М.* Об истории замысла «Евгения Онегина» // ПИМ. Т. 10. Л., 1982. С. 84–88.

Фомичёв С. А. «Евгений Онегин»: Движение замысла. М., 2005. С. 45.

Набоков В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» / Пер. с англ. СПб., 1998. С. 253.

Более или менее развёрнутое обоснование этого воззрения дано в кн.: *Филин М.* Мария Волконская: «Утаённая любовь» Пушкина. М., 2006 (серия «ЖЗЛ»), С. 83–91.

242

В предыдущей главе был приведён вариант белового автографа данной строфы (*VI, 566)*.

Там же. С. 91–97.

Сумцов. С. 111.

Ходасевич.

Цит. по: Летопись. С. 415 (подлин. на фр.).

247

Там же. С. 430 (письмо князю П. А. Вяземскому от 23 июня 1824 года).

Там же. С. 434–435.

249

Анненков П. В. Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху: 1799–1826 гг. СПб., 1874. С. 262–263. Выделено в подлиннике.

250

Лернер Н. О. Из неизданных материалов для биографии Пушкина // РС. 1908. № 10. С. 111–112.

251

Имеется в виду графиня Елизавета Ксаверьевна Воронцова (1792–1880), супруга новороссийского генерал-губернатора и предмет пушкинского увлечения.

Летопись. С. 433 (письмо от 1 июля 1824 года).

253

РА. 1901. № 5. С. 74 (письмо К. Я. Булгакову от 31 июля 1824 года).

254

Летопись. С. 453 (письмо князю П. А. Вяземскому от 17 августа 1824 года).

Бартенев. С. 380.

А. Ф. Поэтический уголок Псковской губернии // Новое время. 1880. № 1598. Цит. по: *Вересаев В. В.* Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1990. С. 228.

В ту пору их в сельце Михайловском было 29 человек: 13 душ мужского и 16 женского пола.

Ульянский. С. 38.

259

Любовный быт пушкинской эпохи. Т. I. М., 1994. С. 268 (запись в дневнике А. Н. Вульфа от 16 сентября 1827 года).

260

В письме к княгине В. Ф. Вяземской, написанном по-французски в октябре 1824 года, Пушкин назвал П. А. Осипову «милой старушкой-соседкой» *(XIII, 114, 532)*.

261

Фомичёв С. А. Рабочая тетрадь Пушкина ПД № 835: Из текстологических наблюдений // ПИМ. Т. XI. Л., 1983. С. 54–55.

Там же. С. 36.

Кстати, по версии А. И. Ульянского, в основу рассказа Филипьевны (Фадеевны), которая пошла под венец в тринадцать лет, могло быть положено сообщение Арины Родионовны: «Неродная бабушка её со стороны отца, Настасья Филипповна, жена Петра Полуектова, благодетеля отца Арины Родионовны, вышла замуж 13 лет» (*Ульянский.* С. 42).

«Шушун — кофта, телогрея, душегрейка» *(В. И. Даль)*.

Такой запечатлена наша героиня и на горельефе Я. П. Серякова — единственном более или менее достоверном изображении Арины Родионовны (подробнее об этом горельефе будет рассказано дальше).

Ульянский. С. 78.

267

Цявловская Т. Г. Рисунки Пушкина. М., 1970. С. 66. См. также: *Жуйкова.* С. 76 (№ 110). Надлежит, правда, отметить, что во второе издание своей книги (М., 1980) Т. Г. Цявловская данное определение не включила.

См. главу 2 (письмо Пушкина к Д. М. Шварцу).

269

Цит. по: *Вересаев В. В.* Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1990. С. 227.

В августе или сентябре поэт был вызван в Псков, где, в присутствии губернатора, дал подписку «жить безотлучно в поместии родителя своего, вести себя благонравно, не заниматься никакими неприличными сочинениями и суждениями, предосудительными и вредными общественной жизни и не распространять оных никуда».

271

Лернер Н. О. Из неизданных материалов для биографии Пушкина // РС. 1908. № 10. С. 112–113.

Там же. С. 113–114.

273

Подразумевается Алексей Никитич Пещуров (1779–1849), отставной штабс-капитан, владелец села Лямоново, в ту пору опочецкий уездный предводитель дворянства.

274

С этим чудовищем, с этим выродком-сыном… *(фр.)*.

Вне закона *(фр.)*.

276

В ноябре этого года Л. С. Пушкин наконец-то поступил на службу — в Департамент духовных дел иностранных исповеданий.

277

Пушкин. Письма. Т. I: 1815–1825 / Под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского. М.; Л., 1926. С. 365 (из письма князя П. А. Вяземского О. С. Пушкиной, написанного в ноябре 1824 года).

Отметим, что С. Л. Пушкин, приехав в столицу, отказался от дальнейшего, столь обременительного, наблюдения за сыном. С декабря 1824 года эти обязанности стал отправлять упоминавшийся выше А. Н. Пещуров. Кроме того, поэт находился и под духовным надзором: его регулярно посещали монахи Святогорского монастыря.

Цит. по: *Вересаев В. В.* Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1990. С. 237.

РА. 1872. № 12. С. 2359–2361.

281

ПВС-1. С. 106 (из «Записок о Пушкине» И. И. Пущина).

Щёголев. С. 13.

283

«Слово, задушевнее и любовнее которого вообще нет в его (пушкинском. — *М. Ф.)* словаре» *(В. Ф. Ходасевич)*.

Непомнящий. С. 127.

285

Козмин В. Ю. Неонила — кухарка в Михайловском // Пушкин и его современники: Сборник научных трудов. Вып. 2 (41). СПб., 2000. С. 276–277.

286

Речь шла о панихиде по Анне Львовне Пушкиной, тётке поэта, которая скончалась в Москве 14 октября 1824 года.

287

Эту сказку, в иной редакции, Пушкин записал (возможно, чуть раньше или чуть позже) и во «второй кишинёвской» тетради (ПД № 832) *(XVII, 361)*.

288

Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты / Подг. к печ. и коммент. М. А. Цявловского, Л. Б. Модзалевского, Т. Г. Зенгер. М.; Л., 1935. С. 405–413.

289

Чернышёв В. И. Пушкин и русские сказки. Записи // Сказки и легенды пушкинских мест. М.; Л., 1950. С. 279–280. Ср.: *Иезуитова Р. В.* «Жених» // Стихотворения Пушкина 1820–1830-х годов: История создания и идейно-художественная проблематика. Л., 1974. С. 35–36.

Анненков. С. 389.

291

Далее мы цитируем (с указанием страниц в тексте) очерк М. К. Азадовского «Сказки Арины Родионовны» по изд.: *Азадовский М. К.* Литература и фольклор. Л., 1938. С. 273–292.

Сюда можно добавить, что сказка «Некоторый царь ехал на войну…» от Пушкина позже попала к В. А. Жуковскому и, по мнению ряда пушкинистов, стала (наряду со сказкой братьев Гримм о двух королевских детях — «Die beiden Königeskinder») источником для его «Сказки о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кащея бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, Кащеевой дочери», опубликованной в 1833 году. Если так, то Арина Родионовна обогатила творчество и другого выдающегося писателя.

293

Сказки Александра Сергеевича Пушкина: С приложением их главных источников, в том числе пушкинских записей народных сказок, рисунками поэта, ставшими иллюстрациями при содействии художника Георгия Юдина, а также пояснительным очерком Валентина Непомнящего. М., 1999. С. 189.

294

Существует, впрочем, гипотеза, что песня «Как за церковью, за немецкою…» сочинена *самим* Пушкиным. Об этом см., напр.: *Чернышёв В. И.* Стихотворения А. С. Пушкина, написанные в стиле русских народных песен // Slavia. Praha, 1929. Roč. 8. Seš. 3. S. 590–593; *Берестов В.* Ещё девять пушкинских строк?.. // Вопросы литературы. 1981. № 8. С. 163–190.

295

Ходасевич.

ПВС-1. С. 106, 109–110.

Щёголев. С. 50.

298

Там же. С. 48, 50. По каким-то причинам П. Е. Щёголев вообще относился к пушкинской няне с нескрываемым раздражением. Вот, к примеру, одна из его инвектив: «Она жила в таком близком общении со своим питомцем, что уж никак не могла не заметить, на кого направлены вожделеющие взоры её питомца. <…> Ох, эта Арина Родионовна! Сквозь обволакивающий её образ идеалистический туман видятся иные черты. Верноподданная не за страх, а за совесть своим господам, крепостная раба, мирволящая, потакающая барским прихотям, в закон себе поставившая их удовлетворение! Ни в чём не могла она отказать своему неуимчивому питомцу» (Там же. С. 48).

299

Вересаев В. В. Загадочный Пушкин. М., 1996. С. 305. Поддержал В. В. Вересаева и А. И. Ульянский: «Такое обвинение, брошенное (П. Е. Щёголевым. — *М. Ф.)* Арине Родионовне, не имеющее под собою никакой почвы, на основании одной лишь догадки, является по меньшей мере странным» (*Ульянский. С.* 41). Сам П. Е. Щёголев оценил вересаевское суждение следующим образом: «За няню обиделся на меня Вересаев. Защищая няню, он опустился до лицемерных аргументов, доносящих до нас крепостнические ароматы. <…> Но ведь он же пушкинист и должен знать, что „общему уважению семьи Пушкина“ цена — ломаный грош» *(Щёголев.* С. 50).

300

А. П. Распопов (1803–1882) был племянником директора Царскосельского лицея Е. А. Энгельгардта; кроме того, он встретился с Пушкиным 7 августа 1824 года на почтовой станции Могилёв. Впоследствии А. П. Распопов вышел в генерал-майоры. Хотя его воспоминание о Пушкине «совершенно недостоверно в подробностях» (Я. Л. Левкович), к «михайловским» страницам мемуаров А. П. Распопова учёные обычно относятся с определённым доверием.

301

Роспопов А. Встреча с А. С. Пушкиным в Могилёве: 1824 г. // РС. 1876. № 2. С. 466–467.

302

Возможно, данное послание так и не было отослано адресату.

Выделено мной.

Непомнящий. С. 127.

305

Санктпетербургские ведомости. 1866. № 163. 17 июня.

Языковский архив. Вып. 1: Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822–1829). СПб., 1913. С. 413.

307

Алексей Вульф.

Цит. по: *Языков Н. М.* Златоглавая, святая… / Сост., вступ. ст. и примеч. Е. Ю. Филькиной. М., 2003. С. 73–74.

309

Там же. С. 91–92.

См., напр.: Шкатулка Арины Родионовны // Литературная газета. 1950. № 43. 27 мая. С. 2; *Осетров Е.* Записки старого книжника. М., 1984. С. 37–46; и др.

Определённые предпосылки для недоверия у них, признаться, имеются: вспомним хотя бы про серебряную чайную ложечку с ситечком и надписью: «Дорогому Саши на добрую память от Арины Родионовны» (см. Предисловие).

Гейченко С. С. У Лукоморья: Рассказы хранителя Пушкинского заповедника. Л., 1986. С. 279.

313

Смиречанский В. Д… прот<оиерей>. Дворовые и соседи А. С. Пушкина в Михайловском в 1825 году // Из Псковской старины. Вып. 1. Псков, 1916. С. 15. Возраст нашей героини, как видим, вновь указан неверно.

314

Сельцо Петровское входило в состав михайловских владений и принадлежало двоюродному деду Пушкина П. А. Ганнибалу.

315

Новиков Н. С. Летопись сельца Михайловского и окрестностей, которую вели местные священнослужители // Христианская культура. Пушкинская эпоха: По материалам традиционных христианских пушкинских чтений. Вып. XII. СПб., 1996. С. 41. Выделено в подлиннике.

Новиков Н. С. Указ. соч.

317

ПВС-1. С. 426.

318

Напомним читателю, что Арина Родионовна кормилицей Александра Пушкина не была.

319

Там же. С. 429.

320

Северные цветы на 1830 год. СПб., 1829. С. 34–35; Стихотворения А. С. Пушкина. СПб., 1832. Ч. 3. С. 190–192.

321

Имеется в виду народная песня «За морем синичка не пышно жила…».

322

Подразумевается народная песня «По улице мостовой…».

323

Сумцов. С. 114.

Лернер. С. 15.

325

Ходасевич.

Лотман. С. 247.

327

Анненков. С. 96.

Фомичёв С. А. Рабочая тетрадь Пушкина ПД № 835: Из текстологических наблюдений // ПИМ. Т. XI. Л., 1983. С. 44.

Анненков. С. 141.

330

ПВС-1. С. 426. Друг поэта П. В. Нащокин рассказал редактору-издателю «Русского архива» П. И. Бартеневу эту историю иначе, с неточностями: «Послан был нарочный сперва к Псковскому Губернатору с приказом отпустить Пушкина. С письмом Губернатора этот нарочный прискакал к Пушкину. Он в это время сидел перед печкою, подбрасывал дров, грелся. Ему сказывают о приезде фельдъегеря. Встревоженный этим и никак не ожидавший чего-либо благоприятного, он тотчас схватил свои бумаги и бросил в печь: тут погибли его записки (см. XI т.) и некоторые стихотворные пиесы…» и т. д. (*Бартенев.* С. 350).

331

ПВС-1. С. 430.

Там же. С. 426.

333

Там же.

Анненков П. В. Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху: 1799–1826 гг. СПб., 1874. С. 324.

Как показало время, эта высочайшая милость не избавила Пушкина от всевозможных хлопот, в том числе в сношениях с обыкновенной цензурой.

336

Первое*, обнадёживающее*, письмо увозимый фельдъегерем в Москву Александр Пушкин успел отправить из Пскова 4 сентября *(XIII, 294, 558)*. Можно предположить, что содержание дорожной записки поэта П. А. Осипова пересказала Арине Родионовне.

337

Поимённый состав причта этой церкви приведён в очерке: *Новиков Н.* С. Летопись сельца Михайловского и окрестностей, которую вели местные священнослужители // Христианская культура. Пушкинская эпоха: По материалам традиционных христианских пушкинских чтений. Вып. XII. СПб., 1996. С. 42. См. также в кн.: Духовный труженик: А. С. Пушкин в контексте русской культуры. СПб., 1999. С. 205.

Сумцов. С. 115.

339

Цит. по: Летопись жизни и творчества Александра Пушкина: В 4 т. Т. 2: 1825–1828 / Сост. М. А. Цявловский, Н. А. Тархова. М., 1999. С. 202.

Ходасевич.

341

Это знаменитое стихотворение датируется по-разному: кто-то относит его к 1827 году (П. В. Анненков), другие же считают, что стихи были написаны в 1826 году, но ещё в Москве — «в конце сентября-октябре» (Т. Г. Цявловская) или «в конце октября» (Р. В. Иезуитова). Мы же склонны доверять датировке, предложенной В. А. Елисеевой; обоснование её дано в статье: *Елисеева В. А.* К вопросу о датировке стихотворения Пушкина «<Няне>» («Подруга дней моих суровых…») // ВПК. Вып. 24. Л., 1991. С. 140–143.

342

Ср.: «Стихотворение осталось как бы не законченным, и таковым считают его исследователи <…>. На мой взгляд, стихотворение закончено в художественном отношении. Эта кажущаяся незаконченность выражает незаконченность или, точнее, бесконечность любви» *(Сумцов.* С. 115).

343

Все знали, что Надежда Осиповна, пытаясь облегчить участь сына, неоднократно писала прошения на высочайшее имя. А барон А. А. Дельвиг уверял 15 сентября 1826 года получившего свободу Пушкина: «Как счастлива семья твоя, ты не можешь представить. Особливо мать, она на верьху блаженства. <…> Они доказали тебе любовь свою» *(XIII, 295)*.

Зажурило В. К., Кузьмина Л. И., Назарова Г. И. «Люблю тебя, Петра творенье…»: Пушкинские места Ленинграда. Л., 1989. С. 205.

345

Позднее А. А. Дельвиг, переправлявший к Пушкину данное письмо, охарактеризовал его следующим образом: «…Если <оно> не тронуло тебя, то ты не поэт, а камень» *(XIII, 318)*. Это коллективное женское послание не сохранилось.

Майков Л. Н. Пушкин: Биографические материалы и историко-литературные очерки. СПб., 1899. С. 37.

347

Этим полком тогда командовал близкий друг Александра Пушкина Н. Н. Раевский-младший. Из формулярного списка Л. С. Пушкина следует, что он «определился в полк» (то есть был туда зачислен) 14 марта 1827 года *(Майков Л. Н.* Указ. соч. С. 37).

348

В то время Россия вела войну с Персией.

349

Т. Г. Цявловская полагала, что письмо А. А. Дельвига (важное и для биографии Арины Родионовны) было написано между 24 и 27 февраля 1827 года (Материалы к Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина. 1826–1837: Картотеки М. А. и Т. Г. Цявловских. Т. 3. М., 1999. С. 90–91). Однако эта датировка вступает в противоречие со следующими фактами: 1) по дороге в Грузию Лев Пушкин заехал к брату Александру в Москву, и *8 февраля* они, видимо, присутствовали на маскараде в Российском Благородном собрании *(Шумихин С. В.* А. С. Пушкин в Российском Благородном собрании в Москве // ВПК. Вып. 22. Л., 1988. С. 57); 2) пушкинская няня уже *в конце января* обреталась в Михайловском *(XIII, 318);* 3) *31 января* 1827 года отъезжающий Лёвушка зашёл к чете Дельвигов и попрощался с ними *окончательно* (Полвека русской жизни: Воспоминания *А. И. Дельвига.* 1820–1870. Л., 1930. С. 74; *Модзалевский Б. Л.* Пушкин. Л., 1929. С. 203).

Лернер. С. 23–24.

351

По мнению Д. Д. Благого, эти цифры могут читаться и по-другому — как *35* и *30 (VI, 319)*.

Там же. С. 24.

Вересаев В. В. Загадочный Пушкин. М., 1996. С. 305.

Предполагаем, что суеверная А. Н. Вульф не решилась здесь зафиксировать произнесённое няней вслух слово «умру».

Выходит, Ольга Сергеевна Пушкина в конце зимы тоже отписала к няне или передала ей привет в письме к кому-либо из тригорских барышень.

Подразумевается П. А. Осипова.

357

Модзалевский Б. Л. Пушкин. Л., 1929. С. 207 (письмо А. Н. Семёновой; подлин. на фр.).

Там же. С. 208.

359

Не исключено, что в этой поездке поэта сопровождала некая Лиза, его «петербургская знакомая» (*Черейский Л. А.* Пушкин и его окружение. Л., 1989. С. 236). Н. М. Смирнов, мемуарист достаточно авторитетный, вспоминал: «Однажды он взял с собою любовницу. „Никогда более не возьму никого с собою, — говорил он мне после, — бедная Лизанька едва не умерла со скуки; я с нею почти там не виделся“» (РА. 1882. № 2. С. 232).

«Такой эпизод в биографии Пушкина неизвестен», — утверждает Я. Л. Левкович (ПВС-2. С. 458). Зато Г. И. Долдобанов, напротив, относится к сообщению о «Лизаньке» с полным доверием (*Долдобанов.* С. 199–200, 231). По мнению же Н. А. Тарховой, «это свидетельство Н. М. Смирнова нельзя считать безусловно достоверным, однако оно не может быть проигнорировано» (Летопись жизни и творчества Александра Пушкина: В 4 т. Т. 2: 1825–1828 / Сост. М. А. Цявловский, Н. А. Тархова. М., 1999. С. 471). Прибавим, что «вальмонический» Алексей Вульф (который всегда проявлял к подобным сюжетам повышенный интерес), посетив поэта в Михайловском 15 сентября 1827 года и подробно описав свой визит в дневнике, ни словом не обмолвился о какой-либо «метрессе» Пушкина, находившейся тогда в «ветхой хижине» (ПВС-1. С. 415–416).

Отсюда напрашивается вывод: подобного величания старушки в лексиконе самой Н. О. Пушкиной ранее не существовало. Видимо, и позднее Надежда Осиповна обходилась «нянькой» — так она назвала покойную Арину Родионовну в письме к дочери от 4 января 1835 года (см. главу 3).

361

Письма Сергея Львовича и Надежды Осиповны Пушкиных к их дочери Ольге Сергеевне Павлищевой: 1828–1835. СПб., 1993. С. 263. Выделено в подлиннике.

Выделено мной.

363

ПВС-1. С. 415–416.

Языковский архив. Вып. 1: Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822–1829). СПб., 1913. С. 337.

ИВ. 1886. № 3. С. 522.

366

Речь идёт о «Московском вестнике» (1827–1830), журнале «любомудров», которые хотели видеть в Пушкине постоянного автора и союзника. Однако поэт изначально претендовал на большее — на роль *хозяина*, идеолога издания (что не входило в планы членов кружка); да и к философической озабоченности москвичей Александр Пушкин относился скептически. Снять возникшие разногласия (включая финансовые) долгое время пытался С. А. Соболевский, равно близкий и к Пушкину, и к «либеральной шайке».

367

Медленно, осторожно *(ит.)*.

Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором. Л., 1925. С. 72.

369

Итинерарии — маршруты, путешествия (от *фр.* itinéraire).

370

Материалы к Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина. 1826–1837: Картотеки М. А. и Т. Г. Цявловских. Т. 1: Картотека итинерариев лиц ближайшего пушкинского окружения. М., 1998. С. 311.

371

Пушкин. Письма / Под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского. Т. II: 1826–1830. М.; Л., 1928. С. 264.

Байбак — «неповоротливый, мешкотный человек, лентяй и соня» *(В. И. Дань)*. *Калибан* — персонаж трагикомедии В. Шекспира «Буря» (1612); по определению Б. Л. Модзалевского, «человек чувственный, сластолюбец».

В литературе фигурируют и другие даты отъезда поэта из деревни: *12* октября (*Долдобанов.* С. 228) и *14* октября (*Иезуитова Р. В.* Рабочая тетрадь Пушкина ПД № 833: История заполнения // ПИМ. Т. XV. Л., 1995. С. 236).

Подобные документы обычно составлялись в начале *следующего* (в данном случае — 1828-го) года.

375

Новиков Н. С. Летопись сельца Михайловского и окрестностей, которую вели местные священнослужители // Христианская культура. Пушкинская эпоха: По материалам традиционных христианских пушкинских чтений. Вып. XII. СПб., 1996. С. 41; см. также в кн.: Духовный труженик: А. С. Пушкин в контексте русской культуры. СПб., 1999. С. 205.

Павлищев. С. 47–48.

377

Соответствующая запись в метрической книге храма опубликована; см.: *Ульянский.* С. 113.

Цит. по: *Вересаев В.* Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1990. С. 353.

Павлищев. С. 48.

Цит. по: *Долдобанов.* С. 301.

381

По всей видимости, барон и его жена уехали в Харьков 24 января. Помимо Харькова (там у Антона Антоновича были служебные дела — «дипломатические тернии», по выражению Пушкина; *XIV, 1, 384),* они посетили Москву и Чернский уезд Тульской губернии, где находилось имение родителей А. А. Дельвига, и вернулись в Петербург лишь в октябре 1828 года (Материалы к Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина. 1826–1837: Картотеки М. А. и Т. Г. Цявловских. Т. 1: Картотека итинерариев лиц ближайшего пушкинского окружения. М., 1998. С. 141).

382

Барон А. А. Дельвиг писал адрес снимаемой им квартиры так: «На Владимирской улице, в доме Кувшинникова» *(XIV, 4)*.

Павлищев. С. 13.

Ульянский. С. 47.

Старк В. П. Новые пушкинские адреса в Петербурге // ВПК. Вып. 26. СПб., 1995. С. 181–185.

Ульянский. С. 65.

Ромм М. Скульптор Яков Серяков // Нева. 1958. № 2. С. 188–191.

Грановская. С. 29. На «старинном почерке» исследовательница акцентирует внимание читателей и в более поздней своей работе; см.: *Грановская Н. И.* Всесоюзный музей А. С. Пушкина: Очерк-путеводитель. Л.,1985. С. 16.

389

На обороте горельефа А. М. Горький сделал такую запись: «Арина Родионовна, няня А. С. Пушкина. Приписывается Лаврентию Серякову, резано им в 40 г. во Пскове» *(Ульянский.* С. 54). Авторство Я. П. Серякова (который приходился именитому гравёру Л. А. Серякову двоюродным братом) было установлено позже.

Ульянский. С. 54.

391

В литературе о няне поэта встречается и другое, впрочем, не слишком распространённое, мнение.

С некоторых пор во Всероссийском музее А. С. Пушкина в Царском Селе находится портрет пожилой простолюдинки, выполненный маслом в первой трети XIX века неизвестным художником арзамасской школы Р. А. Ступина. Касательно данного холста Н. И. Грановская пишет: «Портрет этот, по преданию — изображающий Арину Родионовну, отыскался совсем недавно, в 1956 г., в коллекции Татьяны Александровны Крюковой, старшего научного сотрудника Музея этнографии народов СССР. До неё он принадлежал К. М. Корнилову, инспектору народных училищ г. Арзамаса. Портрет в семье Корниловых (коренных жителей Арзамаса) передавался из поколения в поколение как портрет няни Пушкина Арины Родионовны. <…> Имя няни Пушкина со второй половины 1820-х годов, после михайловской ссылки Пушкина, стало широко известным благодаря стихам Пушкина и Языкова. В это время могли быть написаны её портреты, которые до нас не дошли, затерялись или, как этот портрет, потеряли точную и несомненную атрибуцию…» (*Грановская.* С. 29).

Хотя доводы Н. И. Грановской и её сторонников лишены должной убедительности, мы всё же воспроизводим *предполагаемый* «арзамасский» портрет няни в нашей книге.

Ходасевич.

393

РС. 1874. № 2. С. 394. Заодно с Пушкиным «самым учтивым образом» отказали в причислении к действующей армии и князю П. А. Вяземскому.

Непомнящий В. С. Пушкин: Избранные работы 1960–1990-х гг. В 2 т. Т. 2: Пушкин. Русская картина мира. М., 2001. С. 187. Выделено В. С. Непомнящим.

395

ПВС-2. С. 62.

Пушкин. Письма / Под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского. Т. II: 1826–1830. М.; Л., 1928. С. 288.

Павлищев. С. 96.

Сандомирская В. Б. Рабочая тетрадь Пушкина 1828–1833 гг. (ПД № 838): История заполнения // ПИМ. Т. X. Л., 1982. С. 243.

Позже даже возникла легенда, будто Арина Родионовна не смогла ужиться с ним, возвратилась в сельцо Михайловское, где вскорости и умерла.

Цит. по: *Долдобанов.* С. 322.

401

Павлищев. С. 96.

402

Характеристика князя П. А. Вяземского; см. его письмо жене от 22 марта 1828 года (ЛН. Т. 58. М., 1952. С. 72).

403

ПВС-1. С. 44.

404

Месяцослов *(sic! — М. Ф.)* на лето от Рождества Христова 1828, которое есть високосное, содержащее в себе 366 дней, сочинённый на знатнейшие места Российской Империи. СПб., 1827. С. 28, 31.

405

Санктпетербургские ведомости. 1828. 31 июля. Первое прибавление. С. 868.

Анненков. С. 6.

Ульянский. С. 65.

Непомнящий. С. 129.

409

Первые публикаторы маргиналии В. Е. Якушкин, Н. О. Лернер и М. А. Цявловский полагали, что Пушкин написал иную дату, а именно — «25 июня». «Это делало правильность понимания записи поэта подозрительной», — резонно отметил А. И. Ульянский, который предложил иное прочтение пушкинской строки — «25 июля» *(Ульянский.* С. 61, 66).

Той же особе посвящено и стихотворение барона А. А. Дельвига «Фани» (1819).

411

Там же. С. 66.

На самом деле она скончалась на 71-м году жизни.

Этому же священнику выпало отпевать в январе 1831 года и барона А. А. Дельвига.

Ульянский. С. 64–65, 113.

415

Там же.

Там же. С. 65, 114.

Их реакция на известие о смерти «няньки» нам неизвестна. В сохранившемся письме родителей дочери Ольге Сергеевне от 5 сентября 1828 года из Михайловского нет ни слова об этом печальном событии. А в Петербург И. О. и С. Л. Пушкины возвратились лишь в октябре.

ЛН. Т. 16–18. М., 1934. С. 774.

Подробнее об этом рисунке рассказано в главе 2.

Грановская. С. 28–30.

Так датирует их, к примеру, авторитетный исследователь рисунков поэта; см.: *Жуйкова.* С. 76 (№ 111).

Старк В. П. Новые пушкинские адреса в Петербурге // ВПК. Вып. 26. СПб., 1995. С. 184.

423

См., напр.: *Долдобанов.* С. 400.

ЛН. Т. 58. М., 1952. С. 82.

425

В «Записках А. О. Смирновой», напечатанных её дочерью О. Н. Смирновой в «Северном вестнике» (1893–1894) и отдельным изданием (СПб., 1895), сообщается, будто император Николай Павлович также узнал о горе Александра Пушкина и говорил с ним «о его бедной Арине Родионовне. (Она тогда умерла, и поэт очень жалел её.)». В ходе этой беседы Пушкин по просьбе царя дважды прочёл стихи «о своей бабушке и старой няне» — и государь пришёл от них в восторг: «Какие восхитительные, мелодичные стихи!» (Записки А. О. Смирновой, урождённой Россет: С 1825 по 1845 гг. М., 1999. С. 68–69). «Записки А. О. Смирновой» издавна имеют в научном мире весьма сомнительную репутацию, однако некоторые учёные полагают, что если даже О. Н. Смирнова и взяла некогда грех на душу, то в основе сочинённого ею текста всё-таки лежат подлинные дневниковые записи матери, Александры Осиповны. Не углубляясь здесь в изучение крайне запутанного вопроса о *степени подлинности апокрифа*, отметим, что конкретный фрагмент мемуаров — о царе и пушкинской няне — выглядит неправдоподобно.

426

Прозвище, данное Н. М. Языкову родными и друзьями.

Цит. по: *Языков Н. М.* Златоглавая, святая… / Сост., вступ. ст. и примеч. Е. Ю. Филькиной. М., 2003. С. 90, 92.

428

См.: *Гордин А. М.* Из неизданной переписки Ольги Сергеевны Пушкиной (Павлищевой) с Анной Петровной Керн // Звезда. 1992. № 7. С. 180–184.

429

Кружевная душа *(фр.)*.

См. очерк А. И. Ульянского в Приложении I.

Напомним читателям, что памятник самому Пушкину (работы скульптора Е. Ф. Белашовой) был установлен в Михайловском (Пушкинских Горах) только в 1959 году.

Соколов В. Рядом с Пушкиным: Портреты костью и пером. Ч. 2. М., 1998. С. 572.

432

Весьма подробный обзор источников и литературы по данному предмету сделан, напр., в кн.: *Невелёв Г. А.* «Истина сильнее царя…»: А. С. Пушкин в работе над историей декабристов. М., 1985. С. 132–144, 191–194. Наши соображения касательно места захоронения заговорщиков изложены в статье: *Филин М.* Могила декабристов: миф и факты // Литературная Россия. 1989. № 16. 21 апреля.

433

Воскресный досуг. 1864. Т. 4. № 80. С. 79.

434

В дневнике историка М. П. Погодина зафиксирован схожий московский случай. 23 августа 1830 года, после похорон В. Л. Пушкина. Александр Пушкин отправился с М. П. Погодиным бродить по кладбищу Донского монастыря; в ходе этой прогулки собеседники разыскали давно забытую могилу знаменитого А. П. Сумарокова (ПВС-2. С. 21).

435

Пирожков Г. В., Кобак А. В., Пирютко Ю. М. Смоленское православное кладбище // Исторические кладбища Петербурга: Справочник-путеводитель. СПб., 1993. С. 238.

Фомичёв С. А. «Евгений Онегин»: Движение замысла. М., 2005. С. 114, 134.

Ходасевич.

Выделено мной.

439

От *греч.* pará — возле и onomázŏ — называю.

Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 268.

441

Ходасевич.

442

Письма Сергея Львовича и Надежды Осиповны Пушкиных к их дочери Ольге Сергеевне Павлищевой: 1828–1835. СПб., 1993. С. 75–76. Выделенное слово в подлиннике написано по-русски.

443

Книга воспоминаний о Пушкине. С. 9–10.

444

Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты. М.; Л., 1935. С. 329.

Книга воспоминаний о Пушкине. С. 10.

ПВС-2. С. 38.

Ариштейн Л. М. Сельцо Захарово в биографии и творчестве Пушкина // ПИМ. Т. XIV. Л., 1991. С. 182–184.

448

См., напр.: *Абрамович С.* Пушкин в 1833 году: Хроника. М., 1994. С. 307, 578–579; Летопись жизни и творчества Александра Пушкина: В 4 т. Т. 4: 1833–1837 / Сост. Н. А. Тархова. М., 1999. С. 76, 608. Однако Марья Фёдорова в беседе с Н. В. Бергом говорила о «трёх» встречах с Александром Сергеевичем и утверждала, что она дважды посещала «батюшку» в Москве, а тот приезжал в сельцо Захарово лишь *однажды.* причём сделал это Пушкин *накануне венчания* — «перед тем как вздумал жениться» (Книга воспоминаний о Пушкине. С. 9).

449

См. примеч. 52 к главе «Подруга поэта».

ЛН. Т. 58. М., 1952. С. 266.

См., напр.: *Лернер.* С. 27.

См.: *Петрунина Н. Н.* К творческой истории романа «Дубровский» // ВПК: 1976. Л., 1979. С. 17.

453

Лернер Н. О. Арина Родионовна и няня Дубровского // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Вып. VII. СПб., 1908. С. 68–72. Роман <«Дубровский»> стал широко известен ещё в 1841 году, а в 1855 году П. В. Анненков напечатал в «Материалах для биографии А. С. Пушкина» большую часть мартовского письма няни. «Сходство» между двумя эпистолиями было замечено только через полвека после публикации «первого пушкиниста».

Цитата из заметки Н. О. Лернера приведена нами в соответствие с текстами Большого академического собрания сочинений Пушкина (*VIII, 172–173; XIII, 323)*.

Лернер. С. 27.

Ходасевич.

Путеводитель по Пушкину. СПб., 1997. С. 46.

Сумцов. С. 116.

Непомнящий. С. 125.

Кунин В. В. Арина Родионовна Яковлева (1758–1828) // Друзья Пушкина: Переписка; Воспоминания; Дневники. Т. 1. М., 1984. С. 121.

461

Левкович Я. Л. «Вновь я посетил…» // Стихотворения Пушкина 1820–1830-х годов: История создания и идейно-художественная проблематика. Л., 1974. С. 307.

462

Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты. М.; Л., 1935. С. 285–286. Этот список был составлен после 14 августа 1836 года и до января 1837 года.

Левкович Я. Л. Указ. соч. С. 307.

464

См.: *Шляпкин И. А.* Из неизданных бумаг А. С. Пушкина. СПб., 1903. С. 41–42.

Левкович Я. Л. Указ. соч. С. 316.

Цит. по: *Будылин И.* Деревенский Пушкин: Пушкинские места Псковского края. М., 2006. С. 338.

Сурат И., Бочаров С. Пушкин: Краткий очерк жизни и творчества. М., 2002. С. 199.

См. примеч. 32.

469

Цит. по: *Щёголев П. Е.* Дуэль и смерть Пушкина: Исследование и материалы. М., 1987. С. 251. Выделено мемуаристом.

470

Ср. с письмом барона Б. А. Вревского отцу поэта, С. Л. Пушкину, от 21 марта 1837 года: «Кто бы сказал, что даже дворня (Тригорского. — *М. Ф.),* такая равнодушная по отношению к другим, плакала о нём! В Михайловском г. Тургенев был свидетелем такого же горя» (цит. по: *Вересаев В.* Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. М., 1990. С. 286).

471

Так охарактеризовал святогорскую почву сам Александр Пушкин в разговоре с В. А. Нащокиной весною 1836 года. См.: *Бартенев.* С. 364.

Бердяев Н. Судьба России. М., 1990. С. 12.

Ульянский. С. 60–61.

См.: Об установке мемориальной доски няне А. С. Пушкина Арине Родионовне: Распоряжение мэра Ленинграда от 9 августа 1991 года № 242-р // Бюллетень исполкома Ленсовета депутатов трудящихся. 1991. № 21.

Цявловский М., Цявловская Т. Вокруг Пушкина / Изд. подг. К. П. Богаевская и С. И. Панов. М., 2000. С. 151 (запись от 10 сентября 1924 года).

Гроссман Л. П. Вокруг Пушкина. М., 1928. С. 21.

477

Гейченко С. С. У Лукоморья: Рассказы хранителя Пушкинского заповедника. Л., 1986. С. 369.

Напомним читателям, что памятник самому Пушкину (работы скульптора Е. Ф. Белашовой) был установлен в Михайловском (Пушкинских Горах) только в 1959 году.

Непомнящий. С. 131.

Гдалин А. Д., Дровеников Г. А., Попелюхер И. Л. Памятники А. С. Пушкину: Материалы к аннотированному каталогу // ВПК. Вып. 25. СПб., 1993. С. 88. К этому можно добавить, что и в статьях солидных справочников, посвящённых творчеству О. К. Комова, псковское детище скульптора неизменно именуется «памятником А. С. Пушкину»; см., напр.: Советский энциклопедический словарь. М., 1989. С. 620.

481

Данный очерк был впервые опубликован в журнале «Звезда» (1938, № 1). Здесь печатается — по изд.: *Ульянский А. И.* Няня Пушкина. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. С. 57–67. Сохранены авторские особенности орфографии, стилистики, а также принципы цитирования источников и оформления библиографических ссылок.

482

А. Ю. Пушкин. Для биографии Пушкина («Москвитянин», 1852, № 2411, декабрь, кн. 2, отд. IV, стр. 21–25).

483

Д. П. Якубович. Пушкинские места. Л., 1936, стр. 152.

484

И. А. Шляпкин. Из неизданных бумаг А. С. Пушкина. СПб., 1903, стр. 125–126.

485

И. А. Шляпкин и *М. И. Семевский.* Прогулка в Тригорское *(А. Н. Вульф.* Дневники. Со статьёй М. И. Семевского). М., 1929, стр. 87–88.

«Северные Цветы» на 1828 год. СПб., стр. 43. Дозволено цензурою 3 декабря 1827 года, печатано в 1827 году.

«Летописи Гос. лит. музея». М., 1936, стр. 451.

П. В. Анненков. А. С. Пушкин. Материалы для его биографии. СПб., 1873.

489

Собр. соч. А. С. Пушкина. СПб., изд. т-ва «Просвещение», под ред. П. О. Морозова, II, стр. 381.

490

Л. Павлищев. Из семейной хроники. Воспоминания об А. С. Пушкине. М., 1890, стр. 13.

491

В. Е. Якушкин. Рукописи А. С. Пушкина, хранящиеся в Румянцевском музее. — «Русская Старина», 1884, VII, стр. 41.

492

Библиотека им. В. И. Ленина в Москве. Тетрадь А. С. Пушкина № 2371, л. 16 об.

493

Перевод (с итальянского): Элиза и Клавдий.

И. Щеглов. Новое о Пушкине. СПб., 1902. О доме Дмитриева и могиле няни Пушкина — стр. 96.

495

Н. О. Лернер. Заметки о Пушкине. — «Русская Старина», 1911, декабрь, стр. 654.

496

«Вечерняя Красная газета», 15 января 1925 года, «Где могила няни Пушкина?».

В. И. Чернышёв. Пушкинский уголок. — «Известия Русского географического общества», т. X, 1928, стр. 351.

«Ленинградская правда», 5 декабря 1928 года, № 299.

499

А. Яцевич. Пушкинский Петербург. Л., 1935, стр. 100–101.

500

Сборник «Рукою Пушкина». М., 1936, стр. 315–316.

501

К. Тимофеев. Могила Пушкина в с. Михайловском. — «Журнал Министерства народного просвещения», 1859; и *М. И. Семевский.* Прогулка в Тригорское.

«Северные Цветы». СПб., 1831.

503

Историко-статистические сведения С.-Петербургской епархии. СПб., 1883, вып. VII, стр. 252.

Петербургский Некрополь, под ред. В. И. Саитова. СПб., 1914.

505

П. Щёголев. Пушкин и мужики. М., 1928, стр. 264, 267 и 268.

А. П. Керн. Воспоминания. Л., 1929, стр. 274.

507

М. И. Семевский. Прогулка в Тригорское; *А. Н. Вульф.* Дневники. М., 1929, комментарии И. С. Зильберштейна, стр. 426.

П. Щёголев. Пушкин и мужики. М., 1928, стр. 264, 267 и 268.

509

С. *И. Опатович.* Описание Смоленского кладбища в СПбурге. — «Русская Старина», 1873, т. 8.

510

Очерк Е. Поселянина (Е. Н. Погожева), весьма важный для нашей темы, печатается по первой публикации: Московские ведомости. 1899. № 254. 10 сентября. С. 3–4. Сохранены авторские особенности орфографии, стилистики и цитирования. Выделения в текстах, сделанные Е. Поселянином, даются курсивом.

511

Письма Сергея Львовича и Надежды Осиповны Пушкиных к их дочери Ольге Сергеевне Павлищевой: 1828–1835. СПб., 1993. С. 252.